

[Polaris]



КЛУБ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СКЕЛЕТОВ

Фантастика Серебряного века

Том X

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCLXXX



Salamandra P.V.V.

КЛУБ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СКЕЛЕТОВ

Фантастика Серебряного века
Том X

Подготовка текстов, составление
и комментарии
М. ФОМЕНКО и А. ШЕРМАНА

Salamandra P.V.V.

Клуб благотворительных скелетов: Фантастика Серебряного века. Том X. Подг. текстов, сост. и комм. М. Фоменко и А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 338 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLXXX).

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается *terra incognita* — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее известных авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении.

Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел. Фантастическая литература эпохи представлена в ней во всей своей многогранности: здесь и редкие фантастические, мистические и оккультные рассказы и новеллы, и образцы «строгой» научной фантастики, хоррора, готики, сказок и легенд. Читатель найдет в антологии и раритетные произведения знаменитых писателей, и труды практически неведомых, но оттого не менее интересных литераторов. Значительная часть произведений переиздается впервые. Книга дополнена оригинальными иллюстрациями ведущих книжных графиков эпохи и снабжена подробными комментариями.

© Authors, estate, 2018

© M. Fomenko, A. Sherman, состав, коммент., 2018

© Salamandra P.V.V., оформление, 2018



КЛУБ



**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
СКЕЛЕТОВ**

Михаил Кузмин

**ИЗ ПИСЕМ ДЕВИЦЫ КЛАРЫ ВАЛЬМОН
К РОЗАЛИИ ТЮТЕЛЬ МАЙЕР**

27 июля 172...

Простите, дорогая тетушка, что так долго Вам не писала, но с этим переездом все совершенно потеряли голову; теперь все устраивается понемногу, и вчера уже повесили вывеску; папаша все хлопочет сам, сердится и бранится на нас и вчера дошел до того, что надел жилет задом наперед. Мамаша Вам очень кланяется; у меня отдельная комната от нее, но рядом, и двери на ночь я оставляю открытыми, продолжая быть все такой же трусихой. У папаши, кроме Жана и Пьера, еще только мальчик и потом еще недавно поступивший Жак Мобер, здешний, кажется, обыватель. И такой чудак — пришел наниматься совсем ночью, когда мы уже собирались спать; папаша чуть не прогнал его прямо без разговоров, но потом все обошлось. Работы, слава Богу, много, так что папаша довольно утомляется; но что же делать, надо же жить как-нибудь. Что Вам сказать о Лашез-Дье? Это совсем маленький городок со старым, вроде крепости, монастырем, вдали видны горы. Не знаю, не будет ли нам тут очень скучно, хотя мы и познакомились уже кое с кем. Покуда еще ничего делать некогда за устройством. Прощайте, милая тетя; простите, что мало пишу — ужасно некогда и к тому же такая жара, что у меня вся шея мокрая. Целую Вас и пр.

Любящая Вас племянница
Клара Вальмон.

15 сентября 172...

Благодарю Вас, милая тетушка, за присланную Вами шубку. Право, Вы слишком предусмотрительны, приславши Ваш

милый подарок теперь, когда мы все гуляем еще в одних платьях. Узнаю милую тетушку Розалию и в этой внимательности и в выборе материи! Где Вы отыскиали такой чудный штоф? Главное, с таким рисунком. Эти столь яркие розы с зелеными листьями на золотисто-желтом фоне — предмет удивления всех наших знакомых, которые специально заходят смотреть Ваш подарок, и я с нетерпением жду холодов, чтобы обновить это чудо. Мы все здоровы, хотя живем скромно и нигде не бываем. Дома нас очень забавляет Жак; это очень веселый, милый молодой человек, способный и работающий, так что папаша им не нахвалится. Матушке не нравится, что он не ходит в церковь и не любит благочестивых разговоров. Конечно, это дурно, но молодости можно простить этот недостаток, тем более, что Жак — юноша в общем очень скромный: не гуляка, не игрок, не пьяница. Еще раз благодарю Вас, милая тетя, за шубку, и остаюсь любящая Вас племянница

Клара Вальмон.

2 октября 172...

Дорогая тетушка, поздравляю Вас от души с днем Вашего рождения (ведь это в 69 год Вы вступаете!) и желаю встретить его в менее смутном, менее смешанном состоянии, чем нахожусь я. Ах, тетя, тетя. Я так привыкла Вам все писать, что признаться Вам мне гораздо легче, чем отцу Виталию, нашему духовнику, которого я знаю всего несколько месяцев. Как мне начать? с чего? Я трепещу, как девочка, и только воспоминания Вашего милого, доброго лица, сознание, что для тети Розалии я — все та же маленькая Клара, при-

дают мне смелость. Помните, я Вам писала о Жаке Мобере, ну, так вот, тетя, я его полюбила. Вспомните вашу юность, Регенсбург, молодого Генриха фон Моншейн и не будьте строги к Вашей бедной Кларочке, которая не устояла против очарования любви... Он обещает открыться отцу и жениться на мне после Рождества, но дома никто ничего не подозревает и вы, пожалуйста, меня не выдайте. Как мне стало легче после того, как я открылась вам. Я особенно люблю его глаза, которые так огромны во время поцелуев, и потом, у него есть манера тереться бровями о мои щеки, что очаровательно приятно. Простите меня, милая тетя, и не сердитесь на Вашу бедную

Клару Вальмон.

Кстати, Жак совсем не здешний и в Лашез-Дье никто его не знает, мы совершенно напрасно это вообразили. В сущности, не все ли это равно? Не правда ли?..

6 декабря 172...

Правда, что несчастья ходят всегда толпою! Мамаша вчера, заметив мою талию, стала расспрашивать, и я во всем созналась. Можете представить горе матушки, гнев папашки. Он ударил меня по лицу и сказал: «Никогда не думал иметь в дочери потаскушку», ушел, хлопнув дверью. Мамаша, плача, сама меня утешала, как могла. Как мне не хватало вас, милая тетя, Вашей ласки, Вашего совета. Теперь я никуда не выхожу и не придется мне обновить Вашей шубки. Но ужаснее всего, что Жак нас покинул. Я уверена, что он отправился в свой город просить благословения своих родителей; но как бы там ни было, его нет как нет, и моя скука,

моя тоска еще усиливаются его отсутствием. Мне кажется, что все знают о моем позоре, и я боюсь подойти к окнам; я шью не покладая рук, хотя теперь и трудно долго сидеть наклонившись. Да, тяжелое время настало для меня. Как в песне поется:

«Любви утечи длятся миг единый,
Любви страданья длятся долгий век».

Прощайте и пр. любящая Вас

Клара.

2 июня 172...

Вы, вероятно, думали, тетя, что я уже умерла, не получая от меня писем столько месяцев. К несчастью, я жива. Расскажу спокойно все, что произошло. Жака нет, пусть Бог простит ему его зло, как Он нас избавил от козней сатаны. 22 мая я разрешилась от бремени ребенком, мальчиком. Но, праведный Боже, что это был за ребенок: весь в шерсти, без глаз и с ясными рожками на голове. Боялись за мою жизнь, когда я увидела свое дитя. Свое дитя, какой ужас! Тем не менее, решили его окрестить по обряду святой католической церкви. Во время св. таинства вода, приготовленная для поливания, вдруг задымилась, поднялся страшный смрад и, когда, служащие могли открыть глаза после едкого пара, они увидели в купели вместо младенца большую черную редьку. Козни сатаны нас да не коснутся. Можете вы представить всю горечь, весь ужас и радость, что мы не до конца погублены. Когда мне рассказали все происшедшее в церкви, я сделалась как безумная. У нас отслужили молебен и каждый день кропят святой водой. Мне читали молитвы на изгнание злого духа. Отец Виталий советовал

очистить мой организм от злого семени
.

Вы бы меня не узнали, милая тетя, так я изменилась за это время. Не всякому на долю выпадает такое несчастье. Но Бог сохранит всех на Него уповающих. Прощайте и пр., любящая Вас

Клара Вальмон.

15 июня 172...

Пишу вам опять, милая тетя, думая, что Вы очень беспокоитесь нашими делами. После моего очищения жители стали искоренять и у себя остатки следов злого духа. Припомнили все работы, которые делал Жак Мобер (хотя лучше бы его звать чертом Вельзевулом): сапоги, полусапожки, туфли, ботфорты, и, сложивши все на площади у аббатства, сожгли их. Лишь старый часовщик Лимозиус отказался дать свои сапоги, говоря, что ему важнее прочные сапоги, чем глупое суеверие. Но, конечно, он был еврей и безбожник, не заботящийся о спасении бессмертной души. Прощайте, милая тетя, и пр.

Остаюсь любящая Вас

Клара Вальмон.

Михаил Кузмин

ТЕНЬ ФИЛЛИДЫ

(Египетская повесть)

I

Когда старый Нектанеб поднял глаза от закинутых сетей, привлеченный резким и одиноко разнесшимся в вечерней прохладе криком, он увидел небольшую лодку в столбе отраженного заходящего солнца и человека, делающего тщетные усилия выплыть. Подъехать, бросив сети, к месту, где виделся утопающий, броситься в воду и обратно в лодку, уже неся спасенного, — было делом немногих минут. Девушка была лишенной чувств и при сбежавшем с ее щек естественном румянце яснее выступала видимость искусственной окраски на ее худощавом длинноватом лице. Только когда старик положил ее бережно на циновки в своей лачуге, — ибо он был не более как бедный рыбак, — спасенная открыла глаза и вздохнула, будто пробужденная от глубокого сна, причем вместе с первыми признаками жизни вернулась и ее печаль, потому что обильные и неудержимые слезы потекли из ее светло-карих глаз и она начала метаться, как в горячке, громко и горько сетуя на свою участь. Из ее бессвязных слов и восклицаний Нектанеб узнал, что она богатая наследница, сирота, отвергнутая каким-то бессердечным юношей и пытавшаяся в припадке отчаянья схоронить в речных струях свое горе. Узнал он также, что зовут ее — Филлидой. Впрочем, он мог догадаться об этом и без ее слов, ибо дом ее родителей, теперь уже умерших, находился недалеко от берега реки, где стояли лодки для прогулок и других каких надобностей владельцев. Говоря, она плакала, обвивала его шею руками и прижималась к старому рыбаку, как младенец прижимается к своей кормилице, он же ее гладил по волосам, утешая как мог.

II

Утро и крепкий сон принесли успокоение, не приходившее с ласковыми словами. Более веселые мысли, более улыбки

чивые планы явились в голове нежной Филлиды. Она ясно рассказала Нектанебу, как пройти к дому жестокого Панкратия, как сочинить обманную повесть об ее будто бы состоявшейся уже смерти, наблюдая, чтоб передать ей, как изменится его прекрасное, всегда с налетом скуки, лицо, когда в доказательство своего рассказа он передаст записку, будто бы найденную в складках одежды утопленницы, и полосатое покрывало. Она хлопала в ладоши, написав прощальное письмо, и торопила старика, волнуясь и радуясь. Посланному пришлось пройти немало улиц раньше, чем он достиг небольшого, но благоустроенного загородного дома Панкратия. Молодой хозяин был занят игрою в мяч с высоким мальчиком в голубой легкой одежде, когда ввели к нему старого рыбака. Узнав, что письмо от Филлиды, чей сад спускается до реки, он спросил, не ломая печати и поправляя завитые темные локоны: «Сама госпожа тебя послала?»

— Нет, но ее желание было видеть это письмо в твоих руках.

— Рука — несомненно ее; посмотрим, что несет нам это милое послание.

Улыбка была еще на губах юноши, когда он начинал читать предсмертное письмо девушки, но постепенно лоб его хмурился, брови подымались, губы сжимались и голос его звучал тревожно и сурово, когда он спросил, спрятав письмо за одежду: «Это правда то, что написано в этом письме?»

— Я не знаю, что писала бедная госпожа, но вот что я видел собственными глазами, — и затем следовал искусно придуманный, наполовину, впрочем, правдивый рассказ о мнимой смерти Филлиды. Покрывало, известное Панкратию как несомненно принадлежавшее девушке, окончательно убедило его в верности печальной выдумки и, отпустив рыбака награжденным, он рассеянно принялся за игру в мяч с высоким мальчиком, которою он всегда занимался между ванной и обедом.

Филлида, притаившись за низкою дверью, долго ждала своего хозяина, смотря, как работали в огородах за рекой, пока солнце не начало склоняться и ласточки с криком носиться над землею, чуть не задевая крылом спокойной воды.

Наконец, она услышала звук камешков, катившихся из-под усталых ног старика, подымавшегося в гору.

III

Раз семь или восемь заставляла себе пересказывать от-вергнутая Филлида подробности свидания с Панкратием. Она хотела знать, и что он сказал вначале, и что он сказал потом, и как он был одет, и как он смотрел: был ли печален или равнодушен, бледен или цветущий видом, — и Нектанеб тщетно напрягал свою старую память, чтобы отвечать на торопливые и прерывистые расспросы девушки.

На следующее утро он сказал: «Что ты думаешь, госпожа? тебе нужно возвращаться в дом, раз ты в числе живых».

— Домой? да ни за что на свете! тогда все узнают, что я — жива; ты забываешь, что я — покойница.

И Филлида громко засмеялась, живостью глаз и щек делая еще более смешными шуточные выдумки.

— Я останусь у тебя: днем, пока ты будешь ходить в город, я буду лежать между гряд, и меня не заметят среди спелых дынь, а вечером ты мне будешь рассказывать о том, что видел днем.

Наконец, рыбак убедил молодую госпожу дать знать тайком старой кормилице, живущей на хуторе недалеко от Александрии, рассказать ей все откровенно и дожидаться там, что покажет время и судьба. Сам же он обещал ежедневно доносить о действиях Панкратия, имеющих какое-либо отношение к его возлюбленной.

— Как же я проеду туда?

— Я перевезу тебя сам в лодке.

— Через весь город? живою покойницею?

— Нет, ты будешь лежать на дне под тканью.

— Стражи примут тебя за вора и заберут.

— Сверху же я прикрою тебя рогожей.

Будучи круглой сиротой, Филлида могла легко скрывать свое исчезновение и мирно жить на хуторе у старой Манто,

с утра до вечера гадая по цветам, полюбит ли ее далекий юноша, то обрывая лепестки один за другим, то хлопая листьями, сердясь на неблагоприятные, обратным же детски радуясь ответам. Так как волнение любви не лишало ее аппетита и скромный обед хутора не удовлетворял ее капризный от безделья вкус, то скоро тайна ее жизни сделалась известной еще и домоправительнице в городе, ежедневно посылавшей со старым рыбаком то сладкое печенье с имбирем, то дичь, искусно зажаренную, то пирожки с петушиными гребешками, то вареную в нежном меду душистую дыню.

IV

С трудом поспевали старые ноги Нектанеба за быстрыми и молодыми шагами Панкратия и его спутника. Был уже вечер, с моря доносился запах соли и трав, в гостиницах зажигались большие фонари и слышалась музыка, матросы ходили по четверо и более, взявшись за руки, поперек улицы и наши путники все дальше и дальше углублялись в темные опустевшие кварталы. Наконец, отдернув тростниковую занавеску, они вошли в дом, имеющий вид притона или кабачка для портовой черни. Нектанеб повременил идти за ними, чтобы не обратить на себя их внимания, и ждал других посетителей, чтобы проникнуть внутрь незамеченным. Наконец, он заметил пятерых матросов, из которых самый младший говорил: «И она вложила ему губку вместо сердца; утром он стал пить, губка выпала — он и умер».

Рыбак, вошедши с ними, первые минуты ничего не мог разобрать, отученный своею бедностью и возрастом от посещения подобных мест. Шум, крики, стук глиняных кружек, пенье и звуки барабана раздирали удушливый густой воздух. Певицы сидели у занавески, утирая руками пот и потекшие румяна. На столе между сосудами с вином танцевала голая нубийская девочка лет десяти, приближая голову к пяткам в ловком извиге. Ученая собака возбуждала гром-

кий восторг, угадывая посредством грубо вырезанных из дерева цифр количество денег в кошельках посетителей. Панкратий сидел у выхода со своим спутником, еще более нахлобучив каракаллу себе на брови, отчего глаза его казались другими и блестящими. Он остановил проходившего старика, сказав: «Послушай, это ты приносил мне известие о смерти несчастной Филлиды? Я искал тебя, я — Панкратий-ритор, но тише... Приходи ко мне завтра после полудня; я имею сказать тебе нечто: умершая меня тревожит». Он говорил полупшепотом, был бледен, и глаза от капюшона казались другими и блестящими.

V

Филлида сидела на пороге дома, читая свитки, только что привезенные Нектанебом, где почерком переписчика было написано: «Элегии Филлиды, несчастной дочери Палемона». Она сидела наклонившись, не слыша, как проходили рабы с полными ушатами парного молока, как садовник подрезал цветы, как собачка лаяла, гоняясь за прыгающими лягушками, и вдалеке пели жнецы заунывную песню. Строки вились перед нею и воспоминание прошлых тревог туманило вновь ее беспечные глаза.

Родители, родители,
отец да мать,
много вы мне оставили
пестрых одежд,
белых лошадей,
витых браслет, —
но всего мне милей
алое покрывало
с поющими фениксами.

Родители, родители,
отец да мать,
много вы мне оставили

земель и скота:
крепконогих коз,
крепколобых овец,
круторогих коров,
мулов и волов, —
но всего мне милей
белый голубь с бурым пятнышком:
назвала его «Катамит».

Родители, родители,
отец да мать,
много вы мне оставили
верных слуг:
огородников, садовников,
ткачей и прядильщиков,
медоваров, хлебопекарей,
скоморохов и свирельщиков, —
но всего мне милей
старая старушка
моя нянюшка.
Мила мне и нянюшка,
мил голубок,
мило покрывало,
но милее сад.
Он спускается, спускается
к реке наш сад,
наверху по реке, наверху по реке
мой друг живет.
Не могу послать, не могу послать
я цветка к нему,
а пошлю поклон, пошлю поклон
с гребельщиками.

И еще было написано:

Утром нянюшка мне сказала:
— незачем скрываться от старой —
ты весь день по цветам гадаешь,
не отличаешь айвы от яблок,
не шьешь, не вышиваешь,

нежно голубя пестрого целуешь
и ночью шепчешь: «Панкратий».

И еще было написано:

Что мне выбрать, милые подруги:
Признаться ли еще раз жестокому другу?
или броситься в быструю речку?
равно трудны обе дороги,
но первый путь труднее —
так придется краснеть и запинаться.

И еще было написано:

Утром солнце румяное встанет,
ты пойдешь на свои занятия,
встречные тебя увидят,
подумают: «Гордый Панкратий», —
а бледной Филлиды уже не будет!

Ты будешь гулять по аллеям,
с друзьями читать Филона,
бросать диск и бегать в перегонки —
все скажут: «Прекрасный Панкратий» —
а бледной Филлиды уже не будет!
Ты вернешься в свой дом прохладный,
возьмешь душистую ванну,
с мальчиком в мяч поиграешь,
и уснешь до утра спокойно,
думая: «Счастливый Панкратий» —
а бледной Филлиды уже не будет!

И еще было написано много, так что до вечера прочитала
девушка, вздыхая и плача над своими собственными словами.

VI

Теперь Панкратий не играл с мальчиком в мяч, не читал,

не обедал, а ходил по небольшому внутреннему саду вдоль грядки левкоев, имея вид озабоченного тревогами человека. Тотчас после приветствия он начал: «Умершая девушка тревожит меня; я ее вижу во сне и она меня манит куда-то, улыбаясь бледным лицом».

Старик, зная Филлиду в живых, заметил:

— Есть обманчивые сны, господин, пусть они не тревожат тебя.

— Они не могут меня не тревожить; может быть, все-таки я — невинная причина ее гибели».

— Считай ее живою, если это вернет твой покой.

— Но она же умерла?

— Мертво то, что мы считаем мертвым, и считаемое нами живым — живет.

— Ты, кажется, подходишь к тому, о чем я хотел говорить с тобою. Обещай мне полную тайну.

— Ты ее имеешь.

— Не знаешь ли ты заклинателя, который бы вызвал мне тень Филлиды?

— Как тень Филлиды?

— Ну да, тень умершей Филлиды. Разве это тебе кажется странным?

Нектанеб, овладев собою, ответил: «Нет, это мне не кажется странным и я даже знаю нужного тебе человека, только веришь ли ты сам в силу магии?»

— Зачем же бы я тогда и спрашивал тебя? и при чем тут моя вера?

— Он живет недалеко от меня и я могу условиться, когда нам устроить свиданье.

— Прощу тебя. Ты мне много помог словами: мертво то, что мы считаем таковым и наоборот.

— Полно, господин, это пустые слова, не думая брошенные таким старым неученым рыбаком, как я.

— Ты сам не знаешь всего значения этих слов. Филлида для меня, как живая. Устрой скорее, что ты знаешь!

Юноша дал рыбаку денег и старик, идя долгою дорогою на хутор, был занят многими и различными мыслями, приведшими потом к одной более ясной и благоприятной,

так что не спавшая и отворившая сама ему калитку Филлида увидела его улыбающимся и как бы несущим вести счастья.

VII

План Нектанеба был встречен удивленными восклицаниями девушки.

— Ты думаешь? возможно ли это? это не будет святотатством? Подумай: магические заклęcia имеют силу вызывать душу умерших — как же я, живая, буду обманывать того, кого люблю? не накажет ли меня собачьеголовая богиня?

— Мы не делаем оскорбления обрядам; ты не мертвая и не была такою; мы воспользуемся внешностью заклęcia, чтобы успокоить мятущийся дух Панкратия.

— Он полюбил меня теперь и хочет видеть?

— Да.

— Мертвую! мертвую!

— А ты будешь живая.

— На меня наденут погребальные одежды, венчик усопшей! я буду говорить через дым от серы, который сделает мертвенным мой образ!

— Я не знаю, в каком виде придется тебе представлять духа. Если ты не желаешь, можно этого избежать.

— Как?

— Отказаться от вызывания.

— Не видеть его! нет, нет.

— Можно сказать, что заклинатель находит лунную четверть неблагоприятной.

— А потом?

— Потом Панкратий сам успокоится и забудет.

— Успокоится, говоришь? Когда придет Парразий, чтобы улаиваться и учить меня, что делать?

— Когда хочешь: завтра, послезавтра.

— Сегодня. Хорошо?

Оставшись одна, Филлида долго сидела недвижно, потом сорвала цветок и, получив «да» на свой постоянный вопрос, улыбнулась было, но тотчас опять побледнела, прошептала: «Не живой досталось тебе счастье любви, горькая Филлида!» Но утреннее солнце, но пение кузнечиков в росе, но тихая река, но краткий список прожитых годов, но мечты о любящем теперь Панкратии снова быстро вернули смех на алые губы веселой и верной Филлиды.

VIII

Когда в ответ на магические формулы тихо зазвучала арфа и неясная тень показалась на занавеске, Панкратий не узнал Филлиды; ее глаза были закрыты, щеки бледны, губы сжаты, сложенные на груди руки в повязках давали особенное сходство с покойницей. Когда, открыв глаза и подняв слабо связанные руки, она остановилась, Панкратий, спросив позволения у заклинателя, обратился к ней, став на колени, так: «Ты ли тень Филлиды?»

— Я — сама Филлида, — раздалось в ответ.

— Прощаешь ли ты меня?

— Мы все водимся судьбою; ты не мог иначе поступать, как ты поступал.

— Ты охотно вернулась на землю?

— Я не могла не повиноваться закланиям.

— Ты любишь меня?

— Я любила тебя.

— Ты видишь теперь мою любовь; я решился на страшное, может быть, преступное дело, вызывая тебя. Веришь ли ты мне, что я люблю тебя?

— Мертвую?

— Да. Можешь ли ты приблизиться ко мне? дать мне руку? отвечать на мои поцелуи? я согрею тебя и заставлю биться вновь твое сердце».

— Я могу подойти к тебе, дать руку, отвечать на твои поцелуи. Я пришла к тебе для этого.

Она сделала шаг к нему, бросившемуся навстречу; он не замечал, как ее руки были теплее его собственных, как билось ее сердце на почти замершем его сердце, как блестящи были глаза, смотрящие в его меркнувшие взоры. Филлида, отстранив его, сказала: «Я ревную тебя».

— К кому? — прошептал он, томясь.

— К живой Филлиде. Ее любил ты, терпишь меня.

— Ах, я не знаю, не спрашивай, одна ты, одна ты, тебя люблю!

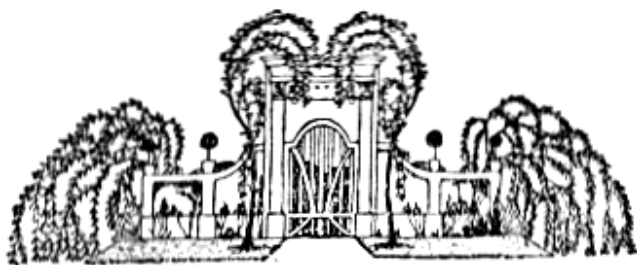
Ничего не говорила больше Филлида, не отвечая на поцелуи и отстраняясь; наконец, когда он в отчаянии бросился на пол, плача, как мальчик и говоря: «Ты не любишь меня», Филлида медленно произнесла: «Ты сам не знаешь еще, что я сделала», и, подошед к нему, крепко обняла и стала сама страстно и сладко целовать его в губы. Сам усиливая нежность, он не заметил, как слабела девушка, и вдруг, воскликнув: «Филлида, что с тобой?», он выпустил ее из объятий, и она бесшумно упала к его ногам. Его не удивило, что руки ее были холодны, что сердце ее не билось, но молчанье, вдруг воцарившееся в покое, поразило его необъяснимым страхом. Он громко вскричал, и вошедшие рабы и заклинатель при свете факелов увидели девушку мертвою в погребальных спутанных одеждах и отброшенные повязки и венчик из тонких золотых листочков. Панкратий снова громко воскликнул, видя безжизненной только что отвечавшую на его ласки, и, пятась к двери, в ужасе шептал: «Смотрите: трехнедельное тление на ее челе! о! о!»

Подошедший заклинатель сказал: «Срок, данный магией, прошел и снова смерть овладела на время возвращенной к жизни» — и дал знак рабам вынести труп бледной Филлиды, дочери Палемона.

Н. Марков

МИРТА И СЕРАПИОН

(Египетская легенда II века)



МИРТА и СЕРАПІОНЪ.

(Египетская легенда II вѣка).

Красавица Мирта жила одиноко в своем большом, богато убранном доме, окруженном целым лесом стройных пальм, кровавых амарантов и ярких олеандров... С террасы был виден бесконечный желтый Нил, Мемфис с его дворцами, храмами и множеством белых домов, как гнезда ласточек, лепившихся один около другого, дальше громадские пирамиды, отдыхающие около них караваны...

Отец и мать Мирты были христиане и умерли еще тогда, когда ей было всего два года.

Она их не помнила и любила, как мать, свою старуху-кормилицу — Кробиллу, у которой на руках она выросла.

Кробилла, которая тоже крестилась, о христианстве имела самое смутное понятие. Она знала о существовании Бога и искренне удивлялась, зачем Он послал на землю Своего Сына, Которого люди распяли на кресте за то, что Он проповедовал людям любовь и сострадание... Знала она, что Его звали Иисус.

Вот и все, чему научила старая Кробилла красавицу Мирту, которая с наслаждением слушала эти нехитрые рассказы.

Нередко по вечерам, сидя на террасе и любясь на пурпурный закат, она мечтала о Нем, горячо сожалея, что не родилась раньше, что не могла слушать Его учения и после-

довать за Ним.

Мирта росла и расцветала, как пышный южный цветок. Весь город говорил о ее красоте и богатстве.

Кробилла научила ее подводить брови, белить лицо, румянить щеки...

Научила носить драгоценности, душить маслами волосы, холить свое тело...

Однажды, возвращаясь с прогулки, она видела какого-то человека, лежавшего на дороге. Он едва дышал...

— Ради всего святого, — вдруг услышала она, — дай мне пить... Я умираю от жажды...

Мирта побежала к фонтану и принесла амфору ключевой холодной воды.

— Я из Александрии, — выпив воды, сказал он, — я ушел оттуда, чтобы бросить прежнюю жизнь...

— Куда же ты идешь?

— В Фивы... Там я буду вдали от друзей, от удовольствий... В одиночестве я буду каяться в своих старых грехах, просить у Бога Его милостей... Он милосерд, Он простит меня... Мне еще далеко до того оазиса, который я избрал, а я уже измучился, устал... Дорога так тяжела... Воздух раскален, как ночь, нечем дышать...

— У меня недалеко дом, — приветливо сказала ему Мирта, — иди ко мне... Ты будешь желанным гостем... Под моею кровлею ты отдохнешь, наберешься сил, а потом уже пойдешь туда, куда ты избрал...

Тихо поднялся измученный путник и пошел рядом с молодой девушкой.

Кробилла удивленно посмотрела на пришельца, потом по приказанию Мирты принесла ему есть...

Когда же зашло солнце, Мирта пошла со своим гостем на террасу.

— Здесь прохладнее, чем в комнатах, сказала она, — здесь тебе будет лучше спать...

Красота Мирты разбудила в нем заснувшие было чувства... Заговорила страсть, зажглись желания...

— Мирта, Мирта, — страстно шептал он, целуя ее вуали, трепетавшие при малейшем дуновении ветерка.

Она молчала. Он неожиданно обнял ее, прижался всем телом к ее пышной груди. Дрожь пробежала по телу Мирты. Беспомощно откинула она назад голову, крепко обвила его своими руками и вместе с ним упала на разостланные на полу ковры.

.

Взошло солнце.

Поднялся измученный путник, с грустью смотря на красавицу Мирту.

— Надо идти, — сказал он, — но я не могу покинуть тебя... Твои поцелуи спалили меня... Позволь остаться у тебя... Тебе я буду молиться... Тебе служить... Я буду твоим рабом... Жестоко гнать меня из этого рая в пустыню...

— Нет, иди, — отвечала она. — Бог послал меня тебе, чтобы ты мог отдохнуть на полдороге, но если я задержу тебя, это уж будет грех, за который мне придется ответить перед Ним. Повторяю: иди... иди... Только скажи мне твое имя.

— Лициас, — отвечал он, целуя край ее прозрачной одежды.

Тихой походкой тронулся он в далекий, неизвестный путь, думая о той, которую послал ему Бог, чтобы спасти жизнь.

Мирта стояла на террасе и провожала его долгим, печальным взглядом.

«Как хорошо делать добро, — думала она, — сколько радости доставила я бедному Лициасу!»

И она тотчас же решила снова пойти на ту дорогу, где вчера встретила Лициаса — там всегда ходили пилигримы, голодные и измученные, нуждавшиеся в приюте.

«Всем буду помогать, — думала она, — одних накормлю, других приласкаю... Бог наградит меня за это...»

С того дня дом Мирты стал убежищем для всех сирых и убогих. Ома выискивала бедных, несчастных, забитых судьбой и помогала им. Бежавшие от гнета рабы, больные, раненые, изгнанники встречали у нее радушный приют, и, желая угодить Богу, она ласкала их, стараясь, чтобы они

под чарами ее страсти забыли свое горе и болезни...

Целых семь лет она служила милосердию, стараясь заслужить любовь Христа.

О ее благотворительности и святой жизни говорил весь Египет, и имя Мирты было так же известно, как и фараона.

О ней услышал даже Серапион, долгие годы спасавшийся в пустыне около Фив. И вот однажды, отправляясь в Мемфис, он по пути решил посетить Мирту.

Когда он вошел в ее дом, Мирте показалось, что это сам Христос.

Обрадованная, счастливая, она бросилась ему навстречу, спеша принять его как можно лучше.

— Мир тебе, моя дочь, — сказал пришелец. — Я — Серапион... Я живу в пустыне, но слышал о тебе от тех, которых ты кормила и ютила во имя Христа.

Мирта села к его ногам и радостно слушала его речи.

— Ты святая женщина, — говорил ей Серапион, — и Всевышний озаряет тебя Своим светом... Тебе уготован рай, вечное блаженство...

Мирта не знала, что отвечать, и испытывала какое-то новое чувство. Впервые в жизни ей почему-то захотелось таких ласк, какими она дарила других, ей захотелось поцелуев, наслаждения страстью... Она посмотрела на него и грустно опустила голову.

«Этот не такой, — подумала она, — ему ничего не нужно, кроме приюта... Его не надо утешать...»

— Вот, на этот раз, — вкрадчиво сказала она Серапиону, — я не могу быть такой, как всегда...

— Почему?

— Ты совсем не похож на тех, которые бывали у меня, которым я помогала... Ты мудрый, святой... Тебе не нужно женских поцелуев, не нужно моих ласк...

Серапион изумленно смотрел на нее и ничего не понимал.

— Фигами, медом и глотком кипрского вина нельзя ослепить человека, — горячо продолжала Мирта. — Если бы я делала только это, поверь, Серапион, обо мне бы не гово-

рили столько, ты бы не услышал про меня, и я не заслуживала бы милости Божьей...

— Но что ты делала еще? — совсем уже смущенный, спросил Серапион.

Мирта подняла на него свои прекрасные, полные страсти глаза и обожгла его пылающим взглядом.

— Я отдавалась сама, — гордо сказала она, довольная своею жертвой.

— Ты отдавалась сама, — повторил Серапион, — кому же?

— Всем несчастным, — наивно отвечала она, — кому нравилась моя красота.

— Мирта, Мирта! — с гневом воскликнул Серапион, — что сделала ты!.. Какая ты грешница!.. Величайшая преступница!.. Проклятие на твоём доме!..

Мирта не поняла, почему так прогневался на нее гость и, обиженная, горько зарыдала...

Горе сделало ее еще обольстительней, и Серапион, убоявшись искушения, поспешил покинуть дом Мирты.

Всю ночь ходил он около ее сада, молился и плакал.

«Несчастливая Мирта... Заблудшая овца из стада Христова, — думал он, — да поможет ей Бог, да простит ее... Она ведь не понимает, что творит»... — и, благословив издали ее дом, он в раздумье пошел по пустынной, пыльной дороге...

Мирта, как и семь лет назад, стояла у себя на террасе и глазами, полными слез, следила за удалявшимся путником.

— Лициас и Серапион, — с грустью думала она, — оба стараются угодить Богу... Оба учат разному... Оба смущают душу... Но где же правда, где правда?..

И, горько рыдая, она упала на тот ковер, где когда-то задыхалась в сладострастном экстазе.

.

Париж. Музей Гиме. Полутемная, строгая зала. Отдел египетских мумий.

Что это?

Мирта, Серапион.

Быть не может!

Но это так.

Их мумии нашли в Египте и привезли в Париж.

И вот она, неподвижная, лежит, быть может, в тех самых розовых вуалях, в которых две тысячи лет назад отдавалась Лициасу.

Я смотрю, и мне кажется, что она повернула голову к своему соседу, Серапиону, и насмешливо говорит:

— Ну, что ж? Ты жил в пустыне, отказывал себе во всем, бежал от женских ласк... Ты проклинал меня, ты говорил, что я преступница, но я жила... Жила, как мне нравилось, упивалась ядом страсти... Теперь мы рядом... Две мумии, украшения музея... Кто же прав? Ты или я? Отвечай!..

Серапион, закованный в вериги, которыми он умерщвлял свою плоть, плотно завернутый полотном и надушенными тканями, неподвижно лежал в своем саркофаге и молчал.

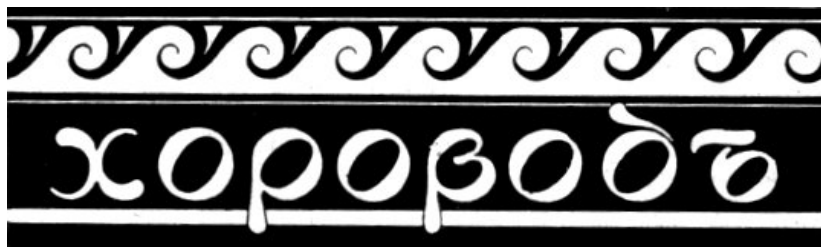
Рим.

Валериан Светлов

ХОРОВОД

Христианская легенда

Илл. С. Лодыгина



Утро застало отроковицу Музу в любимом ею храме. Сторож так привык к виду этой коленопреклоненной отроковицы, что перестал обращать на нее внимание, а на ночь запер собор, как будто ее там и не было.

Муза знала любимый храм лучше, чем свою комнату в доме родителей. Она любила его величественный вид, стрельчатые башенки, остроконечные арки, каменные кружева, цветные стекла, расстилавшие на плитный пол причудливые ковры с желтыми, синими, красными, зелеными и фиолетовыми узорами, вытканными на нем самим солнцем, входившим в храм через эти стекла. Любила Муза весь этот молитвенный порыв храма к тому беспредельному, к которому так рвалась и ее душа.

Муза любила храм с его оссарией, в которой складывались извлеченные из старых могил кости древних покойников, уступавших свои места на кладбище новым. Любила она и толстые плиты с надписями «*requiescat in pace*», под которыми были погребены духовные или почетные лица города. Любила отдельные алтари и капеллы с изображениями св. Чаши, распятий, с изваяниями св. Девы или любимого ученика Христова — Иоанна. И бассейн св. воды, в который она благоговейно опускала кончики тонких и прозрачных, как воск, пальцев. Любила она и орган с длинными и короткими, тонкими и толстыми блестящими дудками, издававшими под руками искусного органиста звуки, похожие на человеческие голоса или на перекликавшиеся хоры небесных сил, славивших Творца в его непостижимом величии.

Когда Муза попадала в храм, ей казалось, что земля оставалась внизу и далеко, а что она сама находится в близо-

сти к небу.

Ей казалось это, когда в молитвенном одушевлении стояла она перед статуей св. Девы, украшенной цветами и лентами, когда светлые и цветные голоса органа наполняли звуками все пространство храма от высоких сводов до каменного пола, на котором они смешивались с светлыми и цветными красками солнечного ковра.

В такие минуты Музе неудержимо хотелось плясать под эти тягучие ритмы, под эти светлые и цветные голоса молитвенных гимнов Божеству, которого она не знала, но к которому стремилась всем существом своим. Объятая радостным настроением радости бытия, ощущения жизни, Муза удерживалась от желания ритмично двигать ногами в такт божественной песне, еле удерживалась от желания претворить в пластику движений эти чудесные, вдохновенные звуки.

* * *

Муза была стройной девушкой. Густые волосы рыжеватого-бронзового цвета падали по плечам завивавшимися кольцами и обрамляли темной рамой ее бледное лицо. Главным украшением лица были глаза очаровательной формы и вдохновенного выражения. Будто кусочек неба, того далекого неба, с которого она спустилась на землю и к которому она стремилась с земли, навсегда остался в ее взоре. Два очарования было в этой отроковице: неземной взор, в котором странно уживалось выражение печали с выражением радости, и неземная улыбка, в которой светилось блаженство бытия. Улыбка не глаз и не губ, а улыбка всего лица, как у древних египтянок, улыбка, словно разлитая под кожей, словно изнутри озарявшая милое лицо отроковицы.

И походка ее была свободна и воздушна: казалось, будто девушка подчинялась внутреннему ритму, прислушиваясь к таинственной музыке неведомых сфер. Много прелести было в этой музыкальной походке.

Муза была прирожденной танцовщицей. Среди ее подруг были девушки, обладавшие хорошими голосами и искусно певшие духовные песни, которыми они славили Творца неба и земли, подобно птицам полей и лесов. Муза возносила хвалу Ему плясками, ибо природа ее наградила ее искусством танца. Всякий воздает Творцу хвалу в мере своих одарений.

Муза была от природы танцовщицей. Танцы были ее страстью, овладевшей всем ее существом. В свободное от домашних дел или молитвы время, Муза бежала за город и устраивала хороводы и пляски с детьми, которых там находила, с подругами, с юношами. А если никого не оказывалось, она плясала одна, под звуки неслышимой песни, звучащей в ее душе, в дуновении ветра, в ходе облаков, в струе звенящего по камням ручейка, в шелесте листьев. И под эти голоса природы она создавала пляской пластический гимн, и в нем была радость бытия, благоговейное чувство к мудрости Творца, создавшего звук и движение, такт и ритм, песню и пляску — на радость человеку.

И пляска сделалась единственным способом выражения ее душевных настроений.

* * *

Муза стояла в нежно-пестрых лучах перед образом св. Девы. Душа Музы в это весеннее утро была полна молитвенного настроения. Св. Дева смотрела на нее такими ласковыми, такими добрыми глазами! И такая она была красивая, св. Дева, в пестрых лентах, в свежих весенних цветах, обвеянная радужными лучами весеннего солнца, что Музе-отроковице захотелось молиться.

Но молиться готовыми словами, по молитвослову, она не умела.

А молиться безумно хотелось.

И бессознательно задвигались ее ноги, и перед алтарем св. Девы Муза плясала молитву, прекрасную и нежную пла-



стическую молитву. И каждое движение плясавшей девушки славilo Богоматерь:

«Дева Святая, Пречистая Дева! Вот люди приходят к Тебе, под своды этого храма, и славословят Тебя гимнами, составленными из сложнейших слов, и мелодиями органа, составленными из сложнейших звуков. Они украшают изображение Твое искусно вытканными лентами и еще искуснее сделанными цветами. Всякий воздаёт хвалу Тебе посвоему! Я не умею молиться словами; я не умею играть на органе: я не умею ткать ленты; я не умею делать цветы. Но я умею плясать и пляской выражать Тебе свою любовь. Разве красивая пляска хуже красивых слов? Разве движение не раньше создано, чем слово? И разве пляшущая девушка хуже неподвижных украшений, которыми Ты покрыта? Дозволь же мне, бедной, неученой отроковице, проплясать Тебе мою молитву и в пляске моей выразить Тебе мою сердечную любовь...»

Такой был пластический гимн Музы. Ни одного этого слова, конечно, не сказала она Богоматери, но мысли эти смутно волновали ее душу.

И с ласковым одобрением, с доброй улыбкой глядела на пляшущую девушку св. Дева с высоты своего разукрашенного престола.

И Муза продолжала гимн-пляску. Кончиками пальцев она слегка касалась пола и плясала стройными обнаженными ногами, как природа велит плясать людям. Все существо ее было в гармонии с этой пляской и не только ноги, но и руки, и тело, и лицо плясали с нею.

* * *

И вот видит она: идет ей навстречу человек с черной курчавой бородой, тронутый серебряными нитями. На голове его золотая корона и на плечах пурпуровая бархатная мантия. И удивилась, и обрадовалась ему Муза, узнавшая

его. Он стоял в нише на небольшом пьедестале позади св. Девы, в другом приделе, и вот теперь он сошел с своего каменного трона и с кимвалом в руках стал танцевать вместе с Музой гимн-пляску для услаждения Богоматери. Они танцевали вдвоем, и он поддерживал ее в трудных местах.

— Я узнала тебя, — проговорила Муза, прервав на мгновение пляску. — Не ты ли царь Давид?

— Да, именно я — царь Давид.

— Как хорошо ты пляшешь, царь Давид!

— Я давно выучился этому искусству. Я скакал изо всей силы перед Господом в льняном эфode, когда мы переносили ковчег Божий из дома Аведдара в мой город. И перед Господом играл и плясал я, и не видел в этом уничижения. Нынешние люди одели меня в бархатную мантию и увенчали главу мою короною. Но от того пляски мои не стали хуже и усердие мое не сделалось меньше.

Они продолжали священную пляску, и Муза не удивлялась уже больше ничему. Но когда они прекратили пляску, девушке сделалось страшно. «Как, сам царь Давид плясал с нею? Ведь он — царственный праотец св. Девы! Но не сама ли св. Дева направила его шаги к ней, к своей любимой танцовщице?».

И старец сказал ей:

— Ты любишь пляски, Муза?

— Я пляшу с детства, царь Давид. И пляшу я не от себя, а что-то пляшет во мне и двигает мои руки и ноги. И пляшу я, молясь, и молюсь я, танцуя, во славу любимой мною Девы Святой.

— Но скажи мне, отроковица — имеешь ли ты желание плясать вечно?

— О, да, царь Давид! — пылко ответила она.

— Плясать там, куда уйдешь ты с земли с ее скучными песнями и тяжелыми плясками? Плясать там, на лоне вечного блаженства?

— О да, царь Давид! Я не могу представить себе ничего радостнее.

— Я могу для тебя это сделать, но выслушай меня внимательно. Чтобы достичь этого, тебе нужно отказаться от

плясок земных.

Условие это показалось дев ушке ужасным.

— Как, я должна буду отказаться от плясок? Здесь, на земле, где так удобно плясать? Всю жизнь не плясать? Подумай, царь Давид, какой жертвы ты от меня требуешь? А что же я буду делать тогда?

Царь Давид успокоил ее благодушной улыбкой, в которой не было никакого осуждения.

— Ты должна будешь посвятить себя только покаянию и молитве. И решение твое должно быть бесповоротно и непоколебимо.

— Да правда ли, что на небе, куда я перейду после земной жизни, пляшут? А вдруг там это запрещено? И здесь-то, на земле, многие смотрят на это с осуждением, — робко проговорила девушка.

— Верь мне, — сказал царь Давид, — пляски не воспрещены блаженным.

Он замолк в ожидании.

— Ты говоришь, что там пляшут? — вновь с сомнением спросила Муза.

Царь Давид вместо ответа взмахнул кимвалом, и вдруг храм наполнился звуками мелодии, небесной мелодии, которой никогда еще в жизни не слыхала отроковица. Где-то, высоко под сводами храма, звучала «Пляска блаженных», неземная пляска, в которой было нечто необычайное, светло-радостное; на фоне неслыханной гармонии разрасталась дивная по красоте мелодия. Все запело в затрепетавшей душе Музы; ей хотелось броситься в этот мир светлых звуков; ей показалось, что ноги ее двигаются сами собой, что тело ее отделяется от земли, стремясь в высь к неведомой голубой дали, которую она видела сквозь раздававшиеся своды храма.

Но как только мысль захотела превратиться в действие, так сейчас же оказалось, что в теле отроковицы слишком много земного для такого небесного танца. Она не могла отделить ног от каменных плит пола, и казалось, что по жилам ее течет не кровь, а тяжелый свинец.

В изнеможении она беспомощно опустила руки и упала на пол пой тяжестью собственного тела.

О, для такой песни, для таких плясок стоит отрешиться от земных радостей.

Мелодия смолкла, своды сдвинулись. Царь Давид по-прежнему недвижимо и безмолвно стоял в нише, украшенный короной и мантией.

— Я сделаю, как ты сказал, — проговорила Муза.

И в глазах Богоматери она прочла одобрение.

Муза шла домой, понутив голову. В ее ушах раздавалась еще божественная мелодия, звучали тембры неизвестных инструментов, стоял необычайный ритм блаженной пляски.

Дома встретил отроковицу Пров, брат ее, и подивился происшедшей с ней перемене. Муза ничего не сказала ему, а села шить себе простое одеяние из грубой льняной ткани, а сшив его к вечеру, сняла нарядное платье, все украшения и ушла в глубину родительского сада.

Здесь к середине ночи она построила себе палаш из сучьев и накрыла его сухими ветвями. Усталая и измученная трудами рук своих, она в изнеможении легла на постель из сухих листьев и начала молиться. Она молилась о том, чтобы небо взяло ее скорее к себе небесной танцовщицей. О том, чтобы недолго длилось ее земное пребывание, лишённое песен и пляски. О том, чтобы ей дано было выдержать этот тяжелый земной искус. Ведь если он будет длиться долго, быть может, она не выдержит и снова запляшет... о том молилась она еще, чтобы музыка неба как можно долго звучала в ее ушах далеким очарованием и удержала бы ее от возможности вернуться к пляскам земли. До тех пор звучала бы, пока ей не придется переселиться в селения горные...

С такими мыслями она уснула.



Ночью, в сонном видении, явилась к ней св. Дева.

Богоматери сопутствовали многие отроковицы столь же юного возраста, как Муза. Одежды были на них светлые и прозрачные, лица их были веселые и радостные, движения их были мягкие и легкие, и от всех от них исходил свет золотисто-розовый, как первый блеск утренней зари на небе.

И св. Дева кротчайшим голосом, в котором Музе почудились звуки слышанной мелодии, спросила отроковицу:

— Не желаешь ли ты жить вместе с нами, Муза? И всегда следовать за Мною?

И Муза ответила Ей:

— Весьма желаю, Госпожа моя.

Св. Дева наклонилась к ней и простерла над нею руку.

— Воздержись же в таком случае от плясок, Муза. Ибо не пройдет и тридцати дней, когда ты вступишь в царство Мое, присоединишься к лику этих отроковиц и познаешь музыку небесных далей и пляску неземную.

И св. Дева исчезла.

Муза осталась одна.

Долго не могла придти в себя, а когда пришла, глубоко задумалась.

Она отправилась наутро в храм, но уже звуки земной музыки, даже густые, полные звуки дивного органа не удовлетворяли ее больше и казались ей грубыми. Ее слух утончился, ей хотелось услышать музыку небес, которую она представляла себе необычайно прекрасною. И, выйдя из храма и взглянув на танцующих в ограде его на зеленой лужайке девушек, своих подруг и сверстниц, она отвернулась, чтобы не видеть их хоровода. До того показались ей тяжелыми и неуклюжими земные пляски.

— Муза-плясунья! Что же ты не идешь к нам в хоровод? — кричали ей отроковицы.

Но девушка быстро закрыла голову и еще быстрее направилась к дому.

* * *

Увидя такую перемену в жизни дочери, родители Музы обеспокоились и весьма удивились.



Они спросили у нее о причине перемены, и девушка поведала им о своем сне, о посещений св. Девы и о своем обете.

При наступлении двадцать пятого дня после явления Богоматери отроковица впала в тяжелую болезнь. Голова ее пылала, как в огне, и она лежала в доме родителей своих в полном беспамятстве.

На тридцатый день услышала она в тревожном видении сладчайший голос:

— Муза, иди за Мною.

И Муза ответила тихим голосом:

— Иду, Госпожа моя, я готова.

И в день шестнадцатый весеннего месяца Мая Муза ушла с земли в небесные дали, в воздушные чертоги св. Девы.

* * *

И пока душа ее возносилась к чертогам неба, она вспоминала свою земную жизнь.

Вспомнила, как она сшила себе грубое одеяние, как построила в глубине родительского сада шалаш из ветвей, как бичевала себя и как заставляла себя днями лежать без движения, когда душа и ноги требовали плясок. И достаточно было запеть птице в ветвях дерева, как ноги Музы начинали двигаться и желание пляски, желание безумное, неудержимое, овладевало ею.

Тогда отроковица позвала брата своего и приказала ему сковать ее ноги.

И все окружающие удивлялись этой перемене, случившейся с нею, а родители гордились ее подвижничеством и святостью.

И слух о ней разнесся далеко по окрестностям, и стали приводить к ней девушек, страдавших ногами или неуклюжестью, и стали просить у нее помощи. И все, которых касалась она, приобретали исцеление, красивую и легкую походку, какой обладали городские танцовщицы.

Вспомнила она, как тридцать дней пролежала на сухих листьях без движения и с безумно-страстной тоской глядела сквозь ветви шалаша в синее небо и как казалось ей, что она видит там, за этим лазоревым пологом, походившим на мантию Богоматери, золотые подошвы блаженных дев, водящих надзвездные хороводы под чудесные звуки неведомых арф.

И еще вспомнился ей светлый майский день ее кончины.

Она сняла с себя грубую одежду и попросила облечь ее исхудавшее тело в серебристый брачный наряд. И все дивились ее худобе, прозрачности ее кожи, легкости ее тела.

Казалось, облачко лежало на ложе мха и листьев, облачко, спустившееся с неба; облачко, а не девушка.

И еще вспомнился ей последний час ее земной жизни. Благоуханный сад наполнился звуками. Таинственно и чудесно зашумели листья в саду, будто пели тайную песню ей одной, одной только ей. И ветви разукрасились цветами, и ярко зацвели мирты и гранаты, и весь дерн покрылся свежими, яркими цветами и по саду вместе с розовым светом разлилось благоухание, как будто все цветы безмолвными, благоухающими голосами запели хором священный гимн.

И в это мгновение порвалась цепь, которой скованы были ноги отроковицы, и серебряный звон разнесся по саду. И помнилось ей, что небо над головой ее разверзлось, и увидела она там, в голубой глубине, бесконечные хороводы пляшущих дев, освещенных лучами необычайного солнца.

И воспарила она к нему, легкая и прозрачная, как серебристое облачко, веселая и свободная, как птица.

И вот теперь вихрем несется она туда, в неведомую даль, освобожденная от тяжести тела, от всех земных пут. И уже бестелесные ноги ее, внимая ритму божественной песни, готовятся к пляске, и радуется душа ее, так долго лишенная пляски.

С днями земного лета совпадало на небе время больших торжеств. Хотя там, среди серебряного эфира и золотых облаков в сиянии ликующего солнца, не было времен года, а вечно царило весеннее благорастворение воздуха, но небесный праздник приурочивался к светлым дням св. Троицы.

С тех пор, как погибли старые античные боги, как рушился древний эллинский мир, с тех пор, как развалились храмы классической старины, с тех пор, как умер великий Пан и нимфы покинули ручьи, а фавны исчезли из лесов и с полей, с тех пор, как девять муз оставили землю, чтобы поселиться навеки в христианском аду: с тех самых пор прекратилось общение христианского мира с древним языческим.

Разваливались на земле капища и храмы, а населявшие их боги переходили в музеи или рушились в мраморные осколки. И на земле не стало больше ни веселых хоро-

водов вакханок, ни плясок элевзинских таинств, ни шумных игр козлоногих фавнов. И вместо всего этого языческого шума раздавались унылые звуки монастырских колоколов и торжественные церковные процессии с протяжным пением тяжелых хоралов. И вместе с пластикой паросского мрамора вымирала античная душа мира, которой владели девять муз.

Но один обычай — единственный, по свидетельству св. Григория Назианского, Богослова, — объединял еще новый христианский мир с старым языческим.

На небесных праздниках вошло в обычай приглашать на общее торжество девять муз, томившихся в аду. В эти дни допускали их в христианское небо, обращались с ними ласково, угощали их на славу, но, по окончании праздника, они должны были немедленно покидать небесные сферы и возвращаться в темную преисподнюю.

* * *

И вот, когда отроковица Муза вознеслась на небо, и возликовала радостно душа ее при созерцании еще невиданных ею хороводов и плясок, когда она затерялась, танцуя в толпе ликующих, светлых и блаженных духов, она увидела вдали каких-то женщин в тяжелых одеждах темного цвета.

Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, с робостью и смущением озирались по сторонам.

Девушка заинтересовалась ими и, выйдя из хоровода, уносившего ее вдаль, остановилась около женщин.

Но их увели куда-то, и отроковица с горестью подумала, что уже не увидит их больше.

И вот, кончились пляски, кончились хороводы, кончилось пение. Небесные Силы сзывали всех к трапезе.

Садились за длинные столы, покрытые мягкими серебристыми тканями, и на этих столах отроковица увидела яства и пития, которых никогда не видела в жизни. Ароматы неизреченной сладости курились на столах среди неве-

домых, чудесных по формам и краскам цветов. В уголку стола сидели девять женщин в тяжелых одеждах темного цвета. Они плотно прижались друг к дружке, как испуганное стадо. Из их темных глаз струились робкие и смущенные взоры; порой в глазах их вспыхивали затаенные огоньки гордости и власти. Но девять женщин быстро опускали вежды, как бы желая скрыть возможно глубже тайну их взора.

Они сидели особняком.

Только Марфа, и здесь оставшаяся хозяйственной женщиной, любовно хлопотала о забытых гостях и усердно угощала их какими-то сиявшими и светившимися плодами. Вскоре та же Марфа привела к музам св. Цецилию и новую отроковицу, св. Музу, и еще несколько женщин, прославившихся на земле своим искусством.

И когда они присоединились к обществу девяти, то за столом сделалось весело. Св. Цецилия села рядом с Полигимнией, музой гимнов, закутанной в тяжелый плащ. Она была когда-то представительницей богослужебного пения, имела серьезное, строгое лицо и управляла теми, кто славил гимнами ее отца, всемогущего вседержителя Зевса. Родственна была душа Полигимнии с душой ее новой подруги, ибо св. Цецилия была тоже музой духовной музыки христиан и покровительствовала тем, кто новыми гимнами славил Творца Вселенной. Полигимния и Цецилия быстро разговорились: Муза рассказывала ей о древних ладах богослужебных гимнов, ныне утраченных в музыке, а святая показывала ей свою лиру. И обе женщины с увлечением говорили о любимом искусстве.

Отроковицу Музу Марфа подвела к Терпсихоре и усадила ее рядом с нею.

Терпсихора казалась совсем молодой девушкой с милым, улыбающимся лицом; на голове у нее был венок, а лира ее лежала около нее на столе. Терпсихора стала рассказывать Музе, как она увеселяла плясками пирующих богов, как она жила в Пиерии, у подножия Олимпа, какие почести воздавали им люди и герои; рассказывала ей еще о плясках античной древности, о хороводах в долинах Геликона и Парнаса, на цветущих берегах светловодного и

звонкоструйного Кастальского источника, который был посвящен ей и ее сестрам-музам.

— Я слышала, тебя называют Музой, — сказала Терпсихора, печально улыбнувшись. — Так называли в древности нас, богинь, покровительниц искусств и наук. Разве ты тоже богиня?

Отроковица отрицательно покачала головой.

— Нет, я только святая, и Муза — мое христианское имя. Мы его взяли у вас... Но я любила на земле пляску больше всего в жизни. Я безумно любила ее и сама всю свою жизнь плясала.

Они оживленно разговаривали, и все музы разговорились. Прежнего смущения как не бывало.

К их веселому обществу подошел царь Давид. Он принес золотой кувшин с напитком благодатной радости и всех угощал из этого кувшина, и все пили и согревались благодатной радостью. У музы Эрато царь Давид заинтересовался кифарой и стал разглядывать ее, и сравнивать ее со своим кимвалом, на котором играл он перед ковчегом.

Но кифара Эрато была сделана искуснее.

— Правда ли, что ты умеешь плясать? — спросила его повеселевшая Терпсихора.

— Да, — ответил царь Давид, — я плясал изо всей силы перед Господом в льняном эфode и всегда плясать буду. И благословен Господь!

И он налил Терпсихоре питье благодати и перешел к Евтерпе, с которой говорила теперь Цецилия, заинтересовавшись ее двойной флейтой.

* * *

Ну вот к столу муз, языческих и христианских, подошла Женщина величественной красоты в лазоревом одеянии, вся в цветах и лентах. Она села с ними за один стол, между Уранией и Клио. Она сказала им несколько благостных слов,

потом, нагнувшись под звездный венец Урании и положив руку на свиток Клио, нежно сказала им:

— Музы милые! Я до тех пор не успокоюсь, пока мне не удастся всех вас, девять сестер, навсегда оставить на небе Искусством вашим жил древний мир. Боги и люди им жили...

И Она ушла дальше под розово-серебристые сени столпившихся облаков.

Все, сидевшие за столом, были обрадованы этой лаской и милостью. И музы поднялись от радости из-за трапезы, взяли за руки, образовали хоровод и запели гимн. Они разделились на две группы, в каждой по четыре голоса, а Терпсихора, радовавшаяся пляске, управляла ими.

И они запели гимн, славя новое Божество, низвергнувшее их старых богов. Сначала пели они робко и тихо, но потом все смелее и громче.

Но... сурово, печально и мрачно звучал в небе языческий гимн неведомому музам Богу. И в гимне было столько мучительной тоски, столько тяжелой жалобы! Удручающе-странно звучала их песня. Все смолкло и смутилось вокруг. Зловещее молчание воцарилось на этом благостном празднике. И пение и пляски девяти сестер возбудили в селениях неба всеобщее горе. Все вспомнили свои утраченные земные радости и те мирские горести, от которых они столько страдали.

Голоса давно покинутой земли, безвозвратно утерянной, звучали в гимне муз. И всех их вновь потянуло на землю, к ее цветущим долинам, к ее звонкоструйным ручьям, к ее скорбным трудовым дням и темным звездным ночам. И земное горе, пережитое ими, не казалось уже столь тяжким, и земные радости, испытанные ими, казались теперь вдвое светлее и слаще.

И пронесся сгон по небесным селениям, мучительный стон об утраченной земле. И раздался скорбный плач об утерянной жизни.

Пораженные ужасом, небесные Силы слетались со всех сторон.

Но музы в благом намерении не замечали впечатления, которое они произвели своими гимнами и хороводами. Теперь их было десять. Отроковица вошла в их хоровод и с прежним земным увлечением, с блестящими от упоения глазами, ритмически плясала с музами. И она вспомнила пляски земные в то тяжелое время, когда была лишена их. И опять вспомнился ей чудесный храм, любимый храм, и каменный пол с причудливыми коврами, вытканными лучами солнца, и ее гимн-танец перед статуей св. Девы.

И ей сделалось так грустно, так больно при мысли, что она лишилась всего этого, любимого, навсегда, что она залилась тяжелыми слезами.

И все вокруг плакали и стонали.

Блаженные были поражены ужасом от этих плясок и песен языческой земли. В беспредельном эфире неба, среди бесконечной лазури, среди серебристо-белых облаков, в красных лучах солнца мрачно звучали песни земли и тяжелыми, неуклюжими и ненужными казались античные хороводы. И это было так неожиданно ужасно, так безумно печально, и такая пропасть зияла между языческим искусством и новым небом, что всем стало жутко.

Оглянулись музы и сразу замолкли, увидев вокруг себя гневные и печальные лица святых и блаженных, и поняли они ошибку, сделанную ими. Как странно звучали их песни здесь, в серебристом эфире! Вся красота их античных ладов исчезла. И как ужасен был их хоровод с развевающимися туниками, обнажавшими их мускулистые ноги!

Взявшись за руки, они стали медленно переходить с облака на облако, опускаясь все ниже и ниже по облачным ступеням к той бездне, которая вела в преисподнюю.

* * *

И когда они исчезли с торжественного праздника, и когда отроковица Муза осталась одна, ей сделалось грустно. Печальным взором взглянула она вниз и не увидела больше



своих подруг. Ей стало жаль песен земли и плясок ее.

Царь Давид подошел к ней с кимвалом и сказал ей нежным голосом:

— Не плачь, Муза, отроковица. Хорошо здесь. Но земное еще владеет тобою. Когда все земное покинет тебя, ты поймешь песни неба и звуки их очаруют твой слух.

Она очнулась от горя, взглянула на него, но ничего не могла сказать. Голубое сияние окутало ее. Вблизи стояла св. Дева в лазоревой мантии и печально любящими глазами смотрела на нее.

И кроткий, обаятельный, как музыка, голос вещал ей:

— О, не грусти, блаженная отроковица! Настанет день, когда эллинское искусство достигнет христианского неба. В тот день музы станут моими любимыми дочерьми, и ты сделаешься их подругой. Но час их еще не настал. Пойдем за мною. Я поведу тебя в сад благоухающих лилий, ароматы которых звучат блаженными песнями. Под их небесную музыку ты пропляшешь мне гимн-молитву и скоро забудешь далекие песни земли. Верь же мне, дитя, настанет день, когда девять сестер тоже взойдут в этот тайный Сад...

И она повела за собой отроковицу.

Юрий Слезкин

**СКАЗКА О НАСЛАЖДЕНИИ
И ТИХОМ СЧАСТЬЕ**

Илл. С. Лодыгина



Наш парк террасами спускался к морю. Море у его берегов было вечно синее, как сини сапфиры, или фиолетовое, как фиолетовые аметисты, отороченные серебром. Ступени из розового мрамора с прозрачными жилками вели к пенным волнам моря, и по сторонам каждой ступени стояли бронзовые треножники, курящие пряные травы на раскаленных рубинах.

На самой верхней террасе возвышался храм Солнцу. Пол его был зеркальный, а в жертвеннике лежал дискообразный алмаз. И путем известной комбинации зеркал в нем во все часы дня отражались золотые лучи солнца, дробясь в гранях его семицветными искрами.

Яшмовые колонны звездообразно расходились от жертвенника и замыкались кругом. Вверху они соединялись бронзовыми шпалами.

За храмом тянулся парк.

У парка нашего не было ограды, но никто из решившихся войти в него уже не уходил обратно в прежнюю жизнь.

В нашем парке цвели все цветы садов и росли все деревья мира.

Кровавый глаз кактуса скрывался в жестких пальцах своих листьев рядом с белым наивным подснежником; томные азалии утопали в зарослях хмеля, а вокруг темных, углубленных кипарисов молодо шумели кружевом листьев и золотом сережек северные березы.

В темных, холодных гротах, где стояли всегда молчаливые, замерзшие озера, лениво двигались белые медведи, а над гротами, среди гвоздики и терновника, летали маленькие колибри в гигантские бабочки.

Здесь были апельсиновые рощи с веселой ватагой блудливых обезьян и мрачные хвойные леса со столетними кедррами. Тяжелые кисти винограда свисали с могучих ветвей дуба, а желтые хризантемы застыли в синем море васильков.

Но больше всего здесь было фиалок и роз — этих цветов триумфа и наслаждения. Ими украшали себя все женщины парка и ими венчали поэтов, певцов и красивейших, которые почитались у нас наряду с гениями.

Люди не знали здесь своего крова и спали там, где заставала их бархатная ночь. Души и тела их были нагими, потому что ничего не желали и не искали они здесь, кроме наслаждения и смерти.

И не было ничего такого в мире дающего наслаждение, что бы не находилось в нашем парке. Но только одно делало наш парк чудесным, жутко манящим, ужасным и сладостным, только одно придавало жгучую прелесть волшебной красоте парка — это смерть.

Она жила в цветах, в плодах; она покоилась на крыльях бабочек, смеялась в пении птиц, в ласке волн, жгла в устах женщин.

Все можно было в этом парке людям, живущим в нем; не было ничего недозволенного и запретного, каждый желающий удовлетворял свою душу и тело. Но, вдыхая аромат цветов, слушая птиц, вкушая сочные плоды, нежась на морских волнах, творя обряды в честь Солнца, отдаваясь



грезам и лаская женщину, — никто не мог знать, что он делает это не в последний раз.

На каждом дереве, на каждом кусте треть цветов и плодов была ядовита, треть живущего и растущего в парке была смертоносна для людей.

Каждый день подымали люди умерших в Храм Солнца и с радостным пением клали их на жертвенник, где сиял под лучами солнца алмаз, и мертвое тело мгновенно исчезало под палящими лучами солнца и легкой дымкой уносилось в бирюзовое небо. А оставшиеся в живых простирались на зеркальном полу и пристально смотрели на свои отражения, вопрошая себя, велика ли в них любовь к наслаждению, чтобы безбоязненно принять надежную смерть.

Я совсем юным вошел в этот парк, манимый прелестью его и теми сказочными ужасами, что рассказывались о нем людьми долин.

Жажда славы манила меня туда, где было столько великих, любовь к прекрасному звала меня туда, где было столько чарующих женщин и пьянящих цветов; смелость молодости влекла меня туда, где было столько таинственного и жуткого. Потому что жизнь долин была ровна и однообразна и на все налагала свой запрет, ставила свои границы, говорила о долге и возрождении.

Беспечным юношей вошел я в Храм Солнца с моими песнями и детским смехом, преследуя ту, которая сулила мне любовь. Долго искал я ее здесь, среди апельсиновых рощ и хвойных лесов, но не нашел и, утомленный и очарованный красотой парка, заснул на цветущем газоне фиалок. Я только хотел поймать мою возлюбленную и уйти обратно к себе в долины, но, проснувшись, почувствовал чью-то теплую ласку, ощутил сладкий запах фиалок и остался.

Со мной была другая женщина и, хотя она не казалась мне такой милой, как любимая моя, но глаза ее были так сини и губы так алы, что я невольно потянулся к ней.

Так прошел еще день.

Я бегал за рубиновыми бабочками, слушал серебряное пение колибри и гордый клекот орлов, спускался по розовым ступеням к сапфировому морю, внимал вдохновенному поэту, а к ночи, оплетенный виноградными лозами, целовал все новых и новых женщин и забывал о жизни долин, о своей возлюбленной.

Уже я не говорил себе, что нужно вернуться обратно, потому что полюбил вино наслаждения, но, боясь смерти, стал осторожнее и, желая обмануть смерть, обманывал самого себя.

Перед тем, как вкусить плод, я долго выбирал и разглядывал его; раньше, чем погрузить свои ноздри в венчик розы, я сдувал с лепестков ее пыль.

И смерть не шла ко мне и я радовался своей хитрости.

Я участвовал в похоронных процессиях и так же, как все, простирался на зеркальном полу, но, глядя себе в лицо, я видел только красоту его и смеялся. Душа же моя молчала...

Я полюбил наш парк.

Я любил его днем, когда он весь сиял под взором огненного солнца, темно-зеленый от листвы, овейный курением, с розово-мраморными ступеням, уходящими в море, с опрокинутой над ним чашей неба, весь трепещущий от жизни и смеха.

Я следил за белыми телами женщин, купающихся в сапфировых волнах; за грациозным полетом ибисов.

Я уходил в лимонные и гранатовые рощи и наблюдал за снежными какаду, зелеными неразлучниками и ловкими павианами. Я слушал шелест берез и ел горьковатую землянику или рвал фиалки и, осыпав ими голову, отдавался грезам.

Я любил парк ночью, когда небо походило на черный бархатный плащ, затканый алмазами, а бронзовые треножники с пылающими рубинами звали на ступени лестницы, где в знойном наслаждении и пляске люди славили уснувшее солнце.

Тогда тело мое вздрагивало жгучей дрожью страсти, глаза вспыхивали желанием и руки тянулись к ониксовому кубку с вином.

В одну из таких ночей я, наконец, нашел ее — мою возлюбленную.

Она сидела на самой вершине последней террасы, у подножия Храма Солнца, прислонившись к одной из яшмовых колонн, и печальными глазами смотрела на меня.



Золотые волосы ее были спущены по плечам и скромным кольцом обвивал голову ее венки из синих фиалок. Нежное девичье тело ее смутно белело на черном фоне колонны.

— Это ты? — спросил я неуверенно.

— Это ты? — повторила она мой вопрос.

И оба мы смолкли на время, почувствовав, что наконец нашли друг друга.

Потом я сел у ее ног и стал рассказывать о том, как прекрасно здесь в парке, сколько здесь красивых цветов и диких птиц; спрашивал — искала ли она меня и была ли счастлива.

— Да, искала, — ответила она, — искала...

И снова взглянула на меня своими печальными глазами.

— Я убегала от тебя, потому что боялась смерти и позора, но теперь пришла к тебе потому, что любовь моя выше смерти, потому, что только в ней мое счастье.

Она улыбнулась и положила на плечи свои белые длинные руки.

— Я пришла к избе взять от тебя мою любовь, — услышал я ее шепот.

Внизу, под нами, в рубиновых огнях двигались быстрые тени людей, опьяненных пляской; еще ниже колебалось море.

Кругом нас бредил уснувший парк.

Падали алмазные звезды.

Я прижался к ногам моей возлюбленной, и она обняла меня и потянула к себе.

Никогда так жгучи не были мои поцелуи и не билось так быстро мое сердце. В моей страсти, впервые, я почувствовал любовь, и любовью же, любовью, превышающей красотой своей всю красоту парка, отвечало мне другое сердце — сердце моей возлюбленной.

Уже опаловое утро приподнялось над гранью моря и взлетели к вершинам снежных гор вольные орлы. Перламутровые туманы поползли по ступеням к Храму Солнца, где я все еще держал в объятиях свою возлюбленную.

Я приник к золотым волосам ее и вдыхал запах увядших фиалок. Я шептал ей невнятные слова любви и верил в долгое счастье.

— Взгляни, уже искрятся зеркала Храма — скоро придет день и мы спустимся с тобой в лимонную рощу, где так тихо и так свежо пахнет, — шептал я ей, — мы будем с тобой, как два зеленых неразлучника, отдыхать в тени деревьев и пить алый сок гранатов...

Я приподнялся чтобы лучше разглядеть встающее из-за моря солнце, но возлюбленная моя осталась лежать неподвижной и холодной.

Тогда я вновь нагнулся над ней.

В это время одно из зеркал поймало первый луч встающего солнца и передало его алмазу на жертвенник.

Разом весь Храм загорелся ликующим сиянием и озарил лицо женщины.

Из него глядела на меня Смерть.

Поборов отчаяние и горе, я сам снес тело моей возлюбленной на жертвенник и смотрел, как жгучие луча Солнца унесли его с собою в царство вечного огня.

Потом лег на зеркальный пол Храма и застыл в немом ужасе.

Оттуда, снизу, из неведомой пустоты зеркала, глядело на меня бледное лицо, полное такой невыразимой муки и страха, какой я никогда еще не видал. Черные глаза безумно искали чего-то, а белый рот кривился в застывшую улыбку.

И я осознал, что мне нужно сделать.

Я тяжело поднялся и, шатаясь, побрел в глубь парка, туда, где начинается царство долин Покоя.

Точно потускнело все вокруг меня, точно серая туча нависла над парком, и в ужасе сторонился я от людей.

А когда пришел на границу парка, снова была ночь и сон спустился на долины.

Серый дождь падал с неба и ноги мои скользили. Холодный ветер нале пил на меня и шептал мне о моем преступлении.

Я увидел огонек и пошел к нему.

Он горел в бедной лачуге, но, усталый, я не думал о пышности и рад был свету.

Мне открыла молодая девушка в грубой одежде поселянки. Светлые глаза ее с участием остановились на мне и тихим голосом она просила следовать за собой.

У очага я увидел старца.

— Дедушка, — сказала моя спутница, — вот пришел к нам странник и просит крова.

— Пусть сядет, — отвечал тот.

И, обернувшись ко мне, покачал с сожалением головой.

Тогда я стал говорить, — мне нужно было открыть пред кем-нибудь свою душу.

— Я пришел к вам из Сада Наслаждения, где я убил свою возлюбленную, и нет теперь в мире ничего такого, что бы утешило мое горе, — начал я.

— Убейте меня, как преступника, но дайте мне раньше сказать все, что я знаю. Смерть мне будет отрадой, потому что ничего уже я не ищу в жизни и никакое наслаждение не вернет мне утраченное счастье. Я проклял то место, откуда пришел и страшны и неведомы те страны, что лежат предо мною. Какие поцелуи согреют уста мои, какие плоды утолят мой голод, какое вино убьет мое горе по умершей отрасти, какие цветы усадят потухшие взоры? Горе мне, вечное горе, если ты не убьешь меня.

Но старик тихо улыбался на слова мои, а потом положил мне на плечо свою руку и молвил:

— Друг мой, теперь ночь и буря и дождь. Я убью в тебе твоё прошлое, когда наступит время, а теперь сон пусть подготавливает нас к утру. Вот уже внучка моя постлала тебе постель и загасила светильник.

Наутро девушка взяла меня за руку и вывела в поле.

Солнце чуть поднялось над землею и золотило хлеба.

— Возьми серп и делай то, что буду делать я, — сказала девушка.

Я взял серп и стал собирать пшеницу. В молчании работали мы и так непривычно было мне это, что невольно следил я за взмахами серпа своего и не успевала печальная мысль овладевать мною. Когда же солнце поднялось высоко, мы далеко уже ушли от дома и усталость, голод и жажда один только владели мною.

Старик принес мне хлеба и воды и я пил и ел и никогда ни один плод в Садах Наслаждения не казался мне таким сладким.

Потом опять трудился я и снова упало солнце, но уже не впереди нас, а за нами, туда, где лежало сжатое поле.

Окончен был труд сегодняшнего дня и мог я предаваться своей печали.

Но, лежа в траве и глядя на уходящее солнце, я только тихо плакал слезами раскаяния и веры, и не находил в душе своей прежнего ропота.



Я плакал, а вокруг меня расцветали нежные белые цветы и кадили мне своим вечерним запахом. Скромные полевые лилии расцветали вокруг меня от слез моих, но казались они мне прекраснее всех пышных цветов моего прошлого. И от тихой радости теперь были мои слезы.

— О чем плачешь ты? — спрашивала меня кроткая спутница моя и, положив на голову мне руки, тихо разглаживала волосы, а потом, наклонясь, поцеловала в лоб.

И этот братский поцелуй согрел мое сердце и душу, как ни один поцелуй в Садах Наслаждения.

Тогда подошел ко мне старик и, подняв меня с земли, ласково сказал:

— Хочешь ли уйти отсюда и сильна ли скорбь твоя? Хочешь ли умереть сейчас от рук человека или будешь ждать положенное от Господа?

Я не дал старику продолжать и воскликнул:

— Нет, нет — я не уйду отсюда и не вернусь к прошлому! Там, где наслаждение, там смерть неожиданна и горе гнетет человека и ничто не приносит утешения. Но я пришел сюда и нашел вино, убивающее всякое горе, плоды, утоляющие голод лучше всех Плодов Наслаждения, поцелуи, согревающие не только уста, но и сердце, и душу; мои слезы взрастили белые цветы — полевые лилии, лучшие из цветов земли — и я не уйду отсюда и буду славить эту страну труда и веры до того часа, когда придет ко мне смерть не как тать, а тихое успокоение.

Юрий Слезкин

ПОЛУДНИЦА

Мы сидим у шалаша бахчаря, на жестком степном сене, а перед нами льется расплавленное золото песка и неба...

Далеко тянется известковая равнина, спускается с холма между цепких стеблей арбуза и ползет дальше во все стороны, как рассыпанное просо...

Беззвучно внизу и на небе, неслышно рябит воздух и упругой тяжестью ложится на мозг.

Долго мы шли под иглами солнца, — устали спины и ноги, потрескалась кожа, вспухли, полопались губы.

И пока взбирались на холм к шалашу -- не было мыслей и не хотелось смотреть вперед, обманывать себя кажущейся близостью.

Перед нами на корточках «дид» с рыжей редкой бородкой, в артиллерийской фуражке с офицерской кокардой. У ног его арбузы; он медленно берет их один за другим, крикает и пробует их ладонями — готовы ли.

Глаза его серьезные, и в них дрожит усмешка — он привык к зною, с детства дышал он жгучим дыханием степи.

— Та-ак... — тянет он часто и добродушно-насмешливо взглядывает на нас.

И я хочу улыбнуться ему в ответ, мне нравится его лукавая усмешка, но рот не складывается в улыбку, бессильно падают веки.

В шалаше, под боком, за камышовой стеной возятся, кудахчут куры, просовывают клювы между камышинок, бьются о них крыльями.

— Ишь, дуры лобатые, -- добродушно тянет «дид», но не поворачивает головы и сидит по-прежнему на корточках.

В стороне синий дымок вьется, под ним на тлеющем кизяке стоит черный от копоти чайник. Это для нас «дид» готовит чай.

— Так, та-ак... — бормочет он.

И хочется плотнее закрыть веки, забыть, что над тобой солнце, а под головой колющее сено, но плавно, как на волнах, начинают колебаться бессвязные мысли, и в испуге широко открываю глаза.

— Жарко у вас, — говорю я присохшим ртом, силясь собрать уходящую бодрость, интерес к новому. От моих движений так же быстро, как и я, открывает глаза товарищ. Полинялая студенческая фуражка съехала ему на правое ухо, лицо — точно придавленное какой-то остановившейся мыслью.

— До черта, — слышу вторит он мне.

А «дид» по-прежнему чуть видно улыбается одними глазами.

— С дороги... ничего, приобькнете...

Почему-то подмигивает левым глазом. Потом строго-внимательно водит глазами по нашим ружьям и ягдташам с крыльями убитых кречетов и неопределенно тянет:

— Да-а...

Я чувствую, что ему странны здесь, в степи, наши ружья, крылья убитых птиц, студенческие фуражки, но не стараюсь объяснить себе, почему это так.

— Пусть, — почти вслух говорю я.

Молчит полуденная степь с ярко-бирюзовым небом над ней, с далекими точками кречетов, ровной лентой железно-дорожного полотна. Замерли там, на горизонте, ветряные мельницы — точно высохшие пауки, припиленные булавами.

Но вот выбрал, наконец, «дид» арбуз, достал из-за шаровар нож, сочно вонзил его в мякоть, быстро повернул два раза, и в две стороны развалились две половины, мелькнув влажными, розовыми крутами.

— Как кровь, — убежденно кивает нам бахчарь и лезет в шалаш за ложками.

С громким кудахтаньем бросаются ему навстречу в открытую дверь куры. Радостно хлопают крыльями и разбегаются.

— А, черт, — доносится из шалаша, но «дид» не выходит, а долго копается там, бормоча что-то.

Сильно ноет левое плечо от жесткого сена, но нет сил перевалиться на другую сторону. Товарищ, не дожидаясь ложки, жадно схватился за одну половину арбуза и прильнул губами к розовой мякоти, точно хочет всосать ее всю в се-

бя. Нервно ширятся воспаленные ноздри, вдыхая влажность.

И когда «дид» вылезает из шалаша, мы оба уже покончили с арбузом.

Но он, кажется, забыл о нас и, поднявшись на свои крепкие ноги, ставит ладонь щитком над глазами и смотрит поверх шалаша на невидную нам часть бахчи.

— Так, так, — кивает он офицерской кокардой, — это Нюра... отто добро... Она загонит этих лобатых дьяволов...

Потом поворачивается к нам и поясняет:

— Внучка моя идет, Нюрка... она мне молоко с хутора носит... Вот запалим огоньку больше, сварим вам кашу...

И после паузы добавляет:

— Небось, есть хочется — вижу, что голодны...

За шалашом мы слышим движение, чьи-то быстрые шаги, чей-то молодой, звонкий голос:

— А кышь вы, кы-ишь...

— Так, это она, -- улыбается «дид».

Белый, с красными розами, платок, смуглое личико с черными глазами и та же, что у «дида», чуть уловимая улыбка в них.

— Здравствуй, дид, — кивает девушка, ставит наземь горшочек с топленным молоком и, мельком взглянув на нас, без тени удивления бросает:

— Здравствуйте и вам, казаки!

А «дид» смотрит на нее и смеется, и в рыжей бороденке его играют жгучие лучи солнца, но он привык к ним, они не слепят его.

— Откуда ты знаешь, что хлопцы эти — казаки?

И лукаво смотрит на нас.

— Дык, кто же тут есть боле? — полувопросом убежденно говорит она и не ждет возражений, а сейчас же бежит за разбредшимися курами.

— А кышь, шельмы, а кы-ишь...

Точно ниже спустилось накаленное небо. Точно в жутком молчании страстной полуденной ласки прильнуло на грудь золотистой степи и в жарком дыхании сливается с

ней, вздрагивает в судороге опьянения, вспыхивает бесчисленными огнями в каждой песчинке, в каждом камешке... Тонут вдаль пауки мельниц в мареве дрожащего света, и кажется, что там синие, глубокие озера — это небо целует землю.

И странные сны грезятся в эту пору сияющего дня, и хочется уйти от них, уползти куда-нибудь в темную щель, притаиться и ждать, и вздрагивать, прислушиваясь к молчанию света...

— Душно... — чуть слышно шепчут опаленные губы.

А дед опять сидит тут близко, что-то ковыряет заско-рузлыми пальцами, с чуть заметной иронией смотрит мне в слипающиеся глаза.

— Душно, — повторяет он, — а ты знаешь, почему «душно»? Нет, не знаешь!.. Теперь страшно ходить по степи, теперь всякому доброму человеку надо сидеть дома... да!..

Опять медленным взглядом проводит он по нашим ру-жьям и линялым, с синими околышами, фуражкам.

— Ночью и в полдень нельзя ходить по степи... Ночью просыпается она, кругом подходит к человеку, смотрит ему в очи и не дает пути... А в полдень, когда солнце на середине, — спит степь и плывут по ней ее сны... Так говорят старые люди, и я их видел...

Он задумался и молчит, и уже не видно в его глазах улыбки — они смотрят строго, молитвенно.

Я силюсь не поддаться чарам зноя, ширю веки, стараюсь двигать пальцами рук.

Товарищ сидит неподвижно, зарывшись в сено.

Где-то за стеной изредка кудахнет курица; шипит в котелке каша.

Нюра подходит к «диду» и, молчаливая, садится рядом, высунув из-под юбки кончик маленькой загорелой пятки.

— И когда идет человек, то плывут к нему сны, — точно и не прерывал речи, продолжает бахчарь, — и посреди них — наибольшая — тянет к нему длинные горячие руки, и давит голову, и тихонько смеется, и прыгает, и целует... — это и есть та самая, Полудница... Красными очами ворожит она человеку, и падает он лицом в жаркий песок, и засыпает...

И такому никогда не проснуться!..

Тихо, едва слышно замирает голос «дида», только долго еще ширится перед глазами белый платок Нюры с красными розами...

Плывет от меня в сторону шалаш и незаметно скользит из-под спины жесткое, хрустящее сено...

Все ярче передо мною белый платок с красными розами, ярче цветут они, раскрываются лепесток за лепестком и остро глядят в меня кровавыми пятнами...

Ниже, все ниже оседает холм и тянутся к небу жесткие стебли арбузов, — тонкие, гибкие, жгучие, — тянутся и давят тисками пустеющий череп...

Сыплется золотом степь во все стороны — крупные зерна спелого хлеба...

Пляшет неслышно и гибко мелкою рябью стусившийся воздух, тонкими иглами входит в тело, сдавливает его, и не знаешь, где кончается оно и начинается море жидкого огня.

Наклоняется кто-то близко бледным светящимся лбом, шуршит горячей сухой кожей и скалит зубы в изнемогающем поцелуе...

Опаленная, прильнула земля к небу...

В последнем напряжении уходящей воли я открываю глаза. Деда уже нет напротив. Он сидит спиной у котелка с кашей.

Белый платок Нюры маячит возле него.

Темно-красный шар солнца низко висит над степью...

Юрий Слезкин

ЛЕШИЙ

Я иду медленным шагом сквозь тесные ряды сомкнувшихся сосен, одной рукой цепко перехватив ружье, другой отклоняя от себя удары веток и напряженно вглядываясь вперед. Я слышу свое дыхание — глубокое, волнующееся, шорох сухих игл под ногами, вздохи августовской ночи.

Там, наверху — крупные, влажные лучатся звезды, но мне их не видно из-под шапки леса.

Гуще у стволов, реже в просветах тянет острым запахом грибов, сырого мха, рябчиками...

Иду медленно, потом замираю, прикладываю воронкой ладонь левой руки ко рту, протяжно вою:

— Гу-у-у, гу-у-у...

И жду.

Обостряется слух, раздуваются ноздри, глотая сырость леса; крепче стискиваю холодный затвор ружья.

И откуда-то издалека неверными, срывающимися звуками проползает ко мне ответное:

— Гу-у-у, гу-у-у...

Весь поворачиваюсь в ту сторону — мягко ложится на плечо чья-то шуршащая лапа, — это потревоженная ветка...

Час, два брожу так, впитываю в себя запахи леса, невнятные вздохи, трепет убегающих теней, переговариваюсь с волками...

Сначала жутко; точно незнакомое все, чужое, холодное. Точно по сторонам шушукуются подозрительно обо мне деревья, недовольны — и гуще сплачиваются тени, больно хлещут по лицу смолистые ветви.

И кажешься маленьким, затерянным, и шибко бьется сердце...

Тут — все сильное, понимающее, тайно живущее, широко вдыхающее влажный, лунный воздух, а я — человек с затаенным дыханием, как непривычный вор, в чужих комнатах.

Я один среди — грибов, шуршащих птиц, упрямых ветвей, лунных блесток...

Но уходит время, бледнеют воспоминания о другом, давно знакомом мире, выше подымается грудь, крепнут ноги, привыкают глаза к таинственному мельканию теней, острее

становится слух, и голос — раньше слабый, неуверенный — звучит теперь тверже, медленно повышаясь и быстро падая вниз, точь-в-точь так, как воют волки:

— Гу-у-у...

Пробуждается в груди что-то новое, то, что было когда-то давно, в детстве, что-то непосредственно яркое, радостно уверенное, и уже тянут за собой лунные блески, и понятна ворожба молчаливых теней.

Радостно вслушиваюсь в ответные выклики молодых волков, точно вижу их перед собой — серых, со стальными упругими ногами, двумя точками фосфорических глаз. Чувствую, как у меня вспыхивают глаза и ширятся, дико округляясь, а потом суживаясь, врезаясь в тьму леса.

Легко, слегка приседающим шагом, вхожу на полянку — всю росистую, бледно-зеленую, округлившуюся, точно дышащую. Тонкий пар плывет над ней -- низко-низко, бельмами смотрит туда, вверх, на небо с дымчатым кругом луны.

Березы, как свечи восковые, обступили вокруг, вытянулись — стройные, а из-за них выглядывает кто-то косматый и хихикающий...

Точно сказки слушают росистые травы, и ходят по сторонам неведомые звери, что были когда-то и остались в памяти неведомо откуда пришедшие.

— Гу-гу-у, гу... — протяжно вскрикиваю я, а может быть, не я, а кто-то другой во мне, и вдруг подымает меня что-то сильное, безумно-радостное, сжимает мускулы, я приседаю невольно и двумя прыжками — уже на другой стороне поляны.

Как у чуткой лошади, напрягаются нервы. Чувствую на себе немигающий, жесткий взгляд — оборачиваюсь.

Кто-то там, между черных кружев рябины, сильный — сторожит меня.

«Это волк», — мелькает догадка, и вслед за ней волной накатывает буйный порыв, руки приподымают ружье, привычный глаз наводит мушку, и неожиданный выстрел хлещет росистую траву, мелкие ветки, прыгает в сторону и сыплет по листьям...

Напрасно ходил я полночи в зарослях леса, вабил щенков, — мой выстрел распугал их, и они уйдут отсюда, нелзя будет устроить облавы.

Но нет сожалений, нет прошлого, нет будущего — я полон радостным сознанием зверя, я разбудил на время молчащее эхо, и меня поняли, меня боятся, — я человек, я — зверь.

Смеюсь, счастливый, слушаю, как бьется сердце — ровно, сильными толчками.

И опять иду дальше, но уже безрезныком, где просторнее и легче, где брызги-жемчужины мелькают на резьбе листьев, где чертят уверенно летучие мыши.

Я попираю землю — упругую и теплую, чувствую ее в гибкости пальцев, узлах мускулов — точно вырос, приобщившись к ее жизни, поняв ее.

Остановилось мелькание деревьев, рассыпался волхвующий изумрудный свет, упали на землю искры неба, и поплыла с холма на холм серебряной лентой равнина к другому лесу, другим шорохам и теням.

Здесь люди, огнистые под всполохами огня — широкие и низкие — двигаются, машут руками. За дымом костра неясные контуры — ласковые морды лошадей... Запах махорки, тулупов, тела и гари...

Это они — ночные люди — ночлежники.

И Настка с ними. Статная, с темными кругами глаз, в белом, теперь солнечном платке. Смеется и глядит прямо, не мигая, как там — серый и дышит полем.

И другие смеются. Уверенно, кругло.

— Охотник. Что ж присаживайся, у нас огонек...

Скалят белые зубы — эти люди, пахнущие землей, с понимающими глазами.

— А твой пришел, Настка, дождалась, — смеются девки и понимают, что так и должно быть.

— Мо-ой, — певуче тянет Настка и кладет мне на плечи руки.

И так мы сидим все в эту серебристо-зеленую ночь и дышим, и понимаем, и живем...

Мягко склоняются над нами теплые лошадиные морды, что-то говорят нам движениями чутких ушей и кивают знающими широкими лбами...

Белые — жмутся к ложбине березы, и живет и дышит вместе с нами лес.

Волнами колыхается свет таинственный, претворяющийся в тихую музыку, в образы неведомых существ, когда-то живших, в сказку земли и ночи...

Тухнут искры в небе, вьет седую дымку гаснущий костер, парами ложатся люди, ногами к золе, завертываются в пахнущие тулупы.

Отходим с Насткой медленно навстречу скользящей по горизонту луне — близко придвинувшись друг к другу, и нет ненужных мыслей о других, могущих увидеть, потому что все понятно здесь, у ног деревьев, в слиянии с ночью, в восторженном служении Богу Земли.

Я целую полные губы, смотрю в ясное, круглое лицо с одним лишь сознанием молодости, упругости мускулов, жаждой жизни. И знаю, что мне нужна женщина, и женщина эта — Настка.

Там, в темной глубине моей души, хохочет кто-то грубо и радостно, и хохотом откликаются мне темные впадины леса.

Это хохочет леший.

Иван Бунин

ЖЕЛЕЗНАЯ ШЕРСТЬ

— Нет, я не инок, ряса моя и скуфья означают лишь то, что я грешный раб божий, странник, сушею и водами ходящий вот уже шестой десяток лет. Родом же я дальний, северный. Там Россия глухая, древняя, леса да болоты с озерами, селения редкие. Зверя много, птицы несть числа, филинов ушастых видишь — сидит в черной ели, пучит янтарное око. Есть носатый лось, есть прекрасный олень — плачем и зовом звенит в бору к своей подруге... Зимы снежные, долгие, перехожий волк под самые окна подходит. Летом же качается, шатается по лесам медведь широколапый, в дебрях леший свищет, аукает, на дудках играет; в ночи утопленницы туманом на озерах белеют, нагими лежат на берегах, соблажняя человека на любодеяние, нена сыттый блуд; и есть немало несчастных, что токмо в сем блуде и упражняются, провождают с ними ночь, день же спят, в тресовицах пылают, оставя всякое иное житейское попечение... Несть ни единой силы в мире сильнее похоти — что у человека, что у гада, у зверя, у птицы, пуще же всего у медведя и у лешего!

Тот медведь у нас зовется Железная Шерсть, а леший — просто Лес. И женщин любят они, и тот и другой, до лютого лакомства. Пойдет женщина или даже невинная в бор за хворостом, за ягодой — глядишь, затяжелела: плачет и кается — меня, говорит, Лес осилил. А иная на медведя жалуется: повстречал-де Железная Шерсть и блуд со мной сотворил — могла ли от него спастись! Вижу, идет на меня, пала я ниц, а он надшел, обнюхал, — мол, не мертва ли? — завернул на мне свитку и исподнее, задавил меня... Только, правду сказать, нередко лукавят они: случается даже с отроковицами, что сами они прельщают его, падают наземь ничком и, падая, еще и обнажаются, как бы нечаянно. Да и то взять: трудно устоять женщине что перед медведем, что перед лешим, а что будет она оттого впоследствии времени кликуша, икотница, о том заране не думает. Медведь — он и зверь и не зверь, недаром верят у нас, что он может, да только не хочет говорить. Вот и поймешь, до чего женской душе прельстительно иметь такое страшное соитие! А про лешего и говорить нечего — тот еще страшней и сладост-

растнее. Я о нем ничего не могу утверждать, бог миловал видеть его, а которые видели, те говорят, будто он подобен по рубаше и портам и прочей наружности мужику-смолокуру, однако же кровь у него синяя, оттого и с лица темен, ногами мохнат и тени от себя не может иметь ни при солнце, ни при месяце; завидя на лесном пути прохожего, тот же час согнется весь и такого духу даст — векша не догонит! Не то при встрече с женщиной: он не токмо не боится ее, но, зная, что тут ее самое ужас и похоть берет, козлом пляшет к ней и берет ее с веселостью, с яростью: падет она наземь ничком, как и перед медведем, а он сбросит порты с лохматых ног, навалится с заду, щекочет обнаженную, го-гочет, хрюкает и до того воспаляет ее, что она уж без сознания млеет под ним, — иные сами рассказывали...

Все сие я к себе клоню. Пошел я на весь свой век сирым странником по причине того несказанного бедствия, что постигло меня на самой заре моей. Женили меня родители на прекрасной девице из богатого и старинного крестьянского двора, которая была еще млаже меня и дивной прелести: личико прозрачное, первого снега белей, глаза лазоревые, как у святых отроковиц... Но вот, в первой же брачной ночи нашей, кинулась она от моих объятий под образа в спальнй горнице, говоря мне: «Ужели дерзнешь взять мое тело под святой божницею и елейными лампадами? Я приняла венец с тобой не своей волею и не могу быть твоей супругою, зане должна удалиться в скит и монастырь, дабы принять другой венец, умереть для мира заживо, по жестоким грехам моим». Я отвечаю ей: видно, впала ты в безумие, какой же может быть жестокий грех на твоей душе в твоём невинном возрасте! Она же мне: «Про то одна мать божия ведаёт, ей же дала я, покайся, обет быть чистою». И тогда я — пуще всего от её сопротивления и подобных страшных слов, да ещё под святынями — озверел столь необузданной страстью, что упился ею как раз на том месте, на полу, сколь ни противилась она своей слабой силою и мольбами и рыданием, и вспомнил лишь после того, что имел я её невинности уже лишённую, не подумавши, однако, кем и как лишена она её. Будучи во хмелю, в сей

же час заснул крепким сном. Она же, в одном исподнем, убежала из спальной горницы в лес и там на своем брачном поясе повесилась. Когда же обрели ее там, то увидели: сидит на снегу у тонких босых ног ее, склонив голову, великий медведь. И, как тот олень, три дня и три ночи оглашал я потом леса окрест своим плачем и зовом, ее на земле уже не достигавшим.

Борис Садовской

ЛЕШИЙ

Сосен красно-синих, сосен золотых, изумрудных елок,
темно-голубых, хвойною трущобой длится синий строй.

Снизу — бор могучий дышит тишиной. В бурю чуть от
ветра слабо дрогнет он и посыплет иглы, издавая стон.

Янтарем закаплет желтая смола...

Прошуршат гиганты — снова тишь и мгла.

Сверху — вещий ветер шепчет сны ветвям. Эти сны вер-
хушки шепчут облакам, — шепчут, застывая в синей выши-
не.

Облака проходят... тают...

Как во сне, тают и проходят...

Словно сотни лет ничего иного не было и нет.

На глухой поляне под шатром лесным светится болото
зеркалом стальным, непроглядной чашей сплошь окруже-
но.

В сумерки ли, в полдень — здесь всегда темно.

Здесь владыки бора, Лешего, приют.

По ночам он дремлет в зыбкой тине тут. Старый, весь
мохнатый, мягкий, как паук. Вместо ног — деревья, сучья —
вместо рук.

Спать ему привольно. До сырой земли сосны-великаны
ветви заплели. Вместо изголовья молодая ель расстилает на
ночь пышную постель. Белые кувшинки сны его хранят.
Синие стрекозы сказки шелестят.

Но едва лишь солнца первый робкий взор золотом об-
рызнет заалевший бор, чуть зардеют елки, млея и горя, и за-
пишет томно сонная заря, — вскочит старый Леший, двинет-
ся в поход.

По заветным тройкам чащу обойдет. С встречным зверем,
с птицей водит разговор.

И владыке дружно отвечает бор. Клики, щебетанья, пес-
ни, голоса...

Мощно оживают синие леса.

К озеру выходит он в полдневный зной. В озере недвижим тех же елок строй, так же, отражаясь, дремлют тростники.

По песку крикливо бродят кулики. Шустрые касатки резвою семьей, взвизгивая, мчатся гладью водяной.

Вот прокаркал ворон на сухой сосне. Ястребок пестряный крикнул в вышине. Бултыхнулась рыба...

Тишина, простор, запах свежей тины, облака да бор. Только до опушки не доходит он. Там редее чаща.

Там со всех сторон неоглядной далью залегли луга. Там студеной речки выются берега.

В ней другой владыка — старец Водяной. В ней речные девы тешатся игрой. Днем шалют русалки. Любо им одно: водоросли путать, убежать на дно, мелкую плотину всплесками путать, пестрые ракушки в иле собирать.

А как ночь настанет, — чуть лишь над рекой задрожит, качаясь, месяц голубой, лишь забрезжат звезды, и едва в ночи заснут, как тени, легкие сычи, — водяные девы, встав из белых вод, над росистым лугом водят хоровод.

Комариным пеньем чуть звучит напев зеленоволосых, серебристых дев.

Сладко внемлют песне сонные луга. Белою росой плачут берега. Лунное сиянье в блеске голубом от реки до неба сыплется столбом. Шороху растущей млеющей травы вторит, замирая, оханье совы. И поют русалки, тянутся к луне.

Слушает их старец на глубоком дне.

С пеньем выются девы. Между них одна всех подруг прекрасней. Как туман бледна, простирает руки, жалобно зовет.

Чу! раздался топот у туманных вод.

Тихо едет витязь берегом ночным. Голубые тени тянутся за ним. Мнет седые травы конская нога.

Все луга да воды. Воды да луга.

Слез с коня, снял гусли. В синей тишине золотые звуки

попились к луне. Сладко плачут струны...

Вот из-за кустов светлая русалка на звенящий зов выплыла неслышно.

Руки заломив, залилась слезами...

Все нежней призыв, все нежней дрожанье трепетной струны, все светлей сиянье дремлющей луны. Витязь ждет недвижно. Млеют берега...

Все луга да воды. Воды да луга.

Вдруг из темной чащи в тишине ночной грянул дикий хохот, уханье и вой. Будит старый Леший всю лесную дичь.

И владыке гулко отвечает клич. Загудели сосны, оживает мгла..

С смехом тяжкий филин мчится из дупла. Внемля зычный посвист, плавно взвившись в высь, хохотом веселым совы залились. Реют, извиваясь, быстры и мягки.

У корней, сверкая, пляшут огоньки. Скалясь, волчьи пасты горестно поют. Им в глуши медведи голос подают. Гоготанье, клики, рев, рыдания, вой сотней отголосков мчатся за рекой.

Внемля гул тревожный, замер богатырь.

С писком над шеломом пролетел упырь. В ухо крикнул филин.

С диким храпом вдруг конь взвился. Помчался в чашу через луг.

Вот, взвевая гривой, в тростниках мелькнул. Вот в лесной опушке с ржаньем потонул.

Витязь вслед стремится. Конь в лесу заржал. Горе! нет дороги, — старый след пропал. Черное болото стонет в грозной тьме.

Гибнет смелый витязь в тинистой тюрьме.

Там, где пропадали речки берега, шли луга, озера и опять луга. Не окинет дали соколиный взор...

Море трав цветущих, речек да озер.

Над лугами выются, пляшут мотыльки, золотые пчелы, мошки и жуки.

По зарям с зеркальных светлых заводов серебром играют трубы лебедей. С сумерек до утра у седых ракич соловей бессонный стонет и звенит.

Вот садится солнце огненным щитом, и сияет небо заревым огнем, и курятся травы...

Из закатной мглы с клетотом несутся сизые орлы.

Вот шумят на отдых журавлей стада.

Все луга да травы. Травы да вода.

Сосен красно-синих, желтых, золотых, елок изумрудных, елок голубых вновь с зарей зарделся бесконечный строй.

Что ж качает Леший хмурой головой? Что не шлет он дятлов ясный бор будить, не зовет кукушек по весне грустить?

Сгублен им соперник, витязь молодой. Но печален Леший. Пасмурный, больной, голову повесив, нехотя идет в топь и глушь лесную, в гущину болот. Не на радость старцу утренний дозор...

С вечера в трущобе все стучит топор.

Нижний Новгород
Май 1906

Борис Садовской

ЛАМИЯ

С месяц назад, сидя один за вечерним чаем, я дописывал новую статью. Давно уже я не писал ничего. Мне нездоровилось. В тот день я с утра чувствовал в голове неприятную, холодную тяжесть; сердце ныло; жизнь казалась скучной и ненужной. Все надоедливее и злее давил меня томительный туман вечерней хандры, и я уже собирался ложиться спать, чтобы тяжелым забытием прогнать до утра головную боль, — как вдруг мозг мой неожиданно в один миг вернулся к прежней остроте. Я почувствовал себя свежим и здоровым. Лихорадочная тоска исчезла; мутная мгла в голове, подобная метели в ночном поле, озарилась ровным лунным сиянием. Казалось, никогда еще мой разум не достигал таких ясных серебряных вершин.

Тогда вдруг наступила полная тишина, и я замер с приподнятым пером. Легкая дрожь сладко и болезненно рассыпалась по спине, — мне показалось, что в мою одинокую квартиру кто-то вошел. Несколько мгновений я пытался различить колебавшиеся ночные звуки, и не знал — шаги ли это, или мерное падение капель из умывальника. Не то это грызлась мышь за шкапом, не то мой Джек, возясь в передней, лязгал ошейником о ковер. Наконец, дверь в столовую тихо скрипнула два раза, и уже нельзя было сомневаться, что кто-то, стоя у порога темной гостиной, неуверенно топчется на месте, не решаясь войти. Дрожь ударила меня крепче, но я не двигался и ждал, устремив глаза на двери.

Она показалась на пороге.

То же серое гимназическое платье с форменным передником; в черной косе та же алая измятая лента. Руки, по привычке, опущены беспомощно вдале бедер. На свежих щеках Зины таял легкий румянец; она улыбалась. С обычной лукавой ласковостью смотрели на меня милые глаза.

Я был не столько взволнован, сколько изумлен. Молча глядели мы друг на друга.

Джек звякнул ошейником; легко стуча когтями, вбежал в столовую и уткнулся мне в колени. Я все еще вытягивал голову, засматривая в черную пасть гостиной, но в разверстых ее дверях уже не было никого. После Зины в воздухе

остался лишь едва уловимый аромат любимых ею фиалок. Молча сидел я, лаская Джека, и не чувствовал никакой тревоги. Только прежняя мутная усталость мгновенно вернулась ко мне и разрешилась, наконец, удручающей слабостью и сном.

Следующий день я провел в беспечных прогулках. Долго скитался я по мерзлым улицам и снежным бульварам, с чувством неодолимой скуки присаживаясь на занесенные снегом скамьи и слушая морозное карканье ворон. Ночью мне не спалось. Мыши скреблись безудержно, капли надоедливо-ровно падали в умывальник, Джек возился на полу, поминутно шурша хвостом. Видя, что уснуть не удастся, я встал, зажег свечу и, одевшись, вышел на улицу.

Под матовым сиянием зимней луны снег отсвечивал голубоватым фарфором. Тротуары слабо искрились под лучами вздрагивавших фонарей, оцепенелые улицы пустынно дремали. Я шел, минуя один переулок за другим, и незаметно очутился на краю города. Дальше, за площадью, начинало угрюмо серебриться необозримое пустое поле.

Перед самой заставой я остановился. На далеком белом пространстве ничего не мог заметить пристальный взгляд. Впереди гигантским сугробом высился суровый берег Волги. Так уныло мертвен и неприветлив был этот вечности подобный, пустынный вид, что у меня сжалось сердце.

Я повернул вправо и близко подошел к монастырской ограде. Из-за медных решетчатых ворог мелькнула частая сеть крестов и могильных памятников. Мрачно посмотрели на меня старинные окна храма, и жутко припомнил я монахов, спящих теперь в гробоподобных кельях, в соседстве с мертвецами. Думает ли кто из них в эту ночь о смертном часе?

Прильнув липом к ледяной решетке, я издали ясно видел могилу Зины. Над ней белел большой мраморный крест. Мне припомнилась Зина в гробу, в кисейном платице, с белыми розами на груди. Синие пальчики сжимают образок.

Хорошо ль тебе, девица.
Так глубоко под землей?

Умиленный и усталый, ехал я домой на извозчике и мечтал, как хорошо заснуть теперь в теплой постели. Однако, едва я отпер дверь и вошел в темную переднюю, сердце опять сжалось и заныло. В комнатах меня прежде всего поразила необычайная жуткая тишина. Странно, что на улице этой тишины я не замечал. Было так тихо, что мне сделалось неловко. Тишина пронизывала воздух, звенела, кричала в уши. Снимая шубу, я громко раскашлялся и уронил трость, но и эти звуки не разогнали застывшего гробового безмолвия. Быстро прошел я в спальню и тотчас зажег свечи. Не позвать ли прислугу снизу? Но, подумав, я отказался от этой мысли: был уже третий час. Я взял тетрадь и стал перечитывать написанное вчера.

Одну свечу я еще давеча поставил на столик перед трюмо. Теперь, складывая тетрадь, я бросил нечаянный взгляд в зеркало: в стекле за мной отражалась темная фигура. Я сразу узнал Зину. Она неподвижно стояла позади, по-прежнему опустив руки, и с усмешкой глядела на меня. Лицо ее на этот раз было темное, как вылитое из чугуна; в глазах мрачно светилась ненависть, а в гримасе оскаленных зубов почудилось мне тайное злорадство. Всего страшнее было именно то, что взоры наши встретились в зеркале. Это было до того ужасно, что у меня затряслись колени, и я едва не лишился чувств. Судорожным усилием сбросил я свечу на пол и, кинувшись в постель, не раздеваясь, закутался с головой. Всю ночь я не мог уснуть от ужаса и изнывал в щемящей тоске, пока в комнате не засиял, наконец, белый зимний день.

Утром я распорядился вынести все зеркала из моей квартиры и до обеда не выходил совсем. За десертом выпил я вина и незаметно уснул в столовой на кушетке. Разбудила меня вчерашняя бездонная тишина. Я очнулся в сумерках, один, и трепетно огляделся. Никого не было. Я позвонил и велел приготовить чай. Джек вбежал, ласкаясь, и прилег у моих ног.

До полуночи сидеть я у самовара, читая «Гамлета», увлекшись любимым поэтом. Но вот постепенно и незаметно в сердце снова зашевелилась знакомая надоедливая тоска,

понемногу отвлекавшая меня от книги. Что-то мешало сосредоточиться, — я прислушался: мерно ударяли капли; прилежно грызлась мышь.

Дверь в гостиную заскрипела, слегка приотворилась и затворилась вновь. Я спрятал лицо в разогнутый том Шекспира; приятный залах печатных страниц как будто успокаивал меня, а в висках случало изо всей силы. Ощупью, не глядя, протянул я руку к звонку; никто не шел. Я позвонил раз, другой, — и вдруг почувствовал, что весь дрожу мелкой трепливой дрожью. Дверь опять заскрипела; на этот раз кто-то уверенно шел ко мне из гостиной: под тяжкими шагами трещал паркет. Смешиваясь с запахом книги, мало-помалу обоняние мое стал раздражать другой запах, очень мне знакомый, тяжелый и неприятный. Я ясно услышал, наконец, что тот, кто стоял за дверью, передвинулся в столовую; вот теперь он стоит у самой двери и, конечно, упорно смотрит на меня. Невыносимая тишина раздирала слух. Я бросил книгу на стол и открыл глаза.

Она стояла в дверях, широко расставив ноги, и медленно раскачивалась на месте, упираясь руками в косяки. Лицо было черно, как уголь. Губ не было совсем — одни ослепительные лошадиные зубы страшным блеском озаряли темные провалившиеся щеки. С усилием перешагнула она порог. Лилово-черные скрюченные руки бесшумно упали вдоль костлявых бедер; от полуистлевших одежд пахло сыростью и смертью.

Я хотел вскочить, звать на помощь, — и не мог. Смутно я видел, как, щетиня дыбом шерсть, с тихим визгом прополз под стол взъерошенный дрожащий Джек, но я не в силах был отвести взгляд от страшного мертвеца, медленно приближавшегося ко мне. Помню, протянулись костяные руки, и все исчезло.

Утром я проснулся в кресле веселый и спокойный. Страх и тоска навсегда покинули меня. Переодеваясь, я заметил на сорочке кровь: слева на груди была небольшая ранка.

И каждую ночь с тех пор ко мне приходила Зина. Сперва она являлась мертвая, страшная, как труп, но, постепенно оживая, она превратилась, наконец, в прежнюю цвету-

щую невесту. Как она была прекрасна в последний раз! Обнаженный лежал я на постели, — жадно охватив меня, с какой страстью припала она розовыми губами к истомленной моей груди! Я чуял запах фиалок от кудрявой ее головки; черная прядь сладостно щекотала мне плечо.

Но, уходя от меня, с какой грустью взглянула в глаза мне Зина! Алые губы, еще дышавшие жаркой кровью, кротко и нежно коснулись моих иссохших губ. В первый раз я услышал ее голос.

— Прощай, милый! — серебристо прозвучало в тишине.

Три ночи прошло с тех пор. Она не приходила и не придет. Теперь моя очередь идти к ней. Час встречи близок. Зина, я люблю тебя!

Декабрь 1906 г.
Нижний Новгород

Борис Садовской

ИЛЬИН ДЕНЬ

Всякую голову мучит свой дур.
Сковорода

Василий обедал у Владимира. Они были помещики, соседи; оба молодые и неженатые. Василий смуглый, в черных завитках, Владимир длинноволосый и белокурый. Домик его выстроен был недавно из свежих сосновых бревен.

Отобедав, приятели вышли на крыльцо. Василий не любил чаю. Долговязый слуга его налил барину чашку из кофейника. Хозяин присел у самовара.

— А у меня от кофею голова болит. Выпил бы ты чашку со мной, Василий.

Василий вынул колоду карт.

— Чет или нечет?

— Чет.

— Проиграл. Не везет тебе.

Василий прихлебнул.

— Как это ты, Владимир, за границей от чаю не отвык? Ведь немцы его совсем не пьют.

— Нет, пьют, да тамошний чай мне не по вкусу. А в Веймаре я больше пиво пил.

— Чет или нечет?

— Чет.

— Проиграл опять.

— Ладно. И какой городок хорошенький этот Веймар! Весь в садах. Там проживал тогда тайный советник Гёте, так у него в цветнике розанов бывала такая сила, что веришь, Вася, мимо пройти нельзя, так и захватит дух. Мы там в кегли играли. Немцы игру эту любят.

— И тайный советник с вами?

— Что ты, как можно: такой почтенный. Ведь ему лет восемьдесят было. Он и скончался при мне. Признаться, я хоть частенько видал его, а все как словно боялся: больно уж важный старик. Вот герр Эккерман был куда веселее.

— А что?

— Он нам, бывало, что тайный советник скажет, все растолкует, да так, что лучше не надо.

Василий зевнул.

— Экая невидаль твой Гёте. Я каждую ночь с ним в пикет играю.

Владимир выпучил глаза.

— Да ведь он помер.

— Ну так что?

— Как что? Нешто мертвые могут в пикет играть?

— Стало быть, могут. А ты вот слушай: твой Гёте высокого росту, видный, так?

— Так.

— Лицо чистое, нос грушей, малость красноват. Ходит в халате с меховой опушкой, тут звезда.

— Верно. Откуда ты знаешь?

— Понюхай-ка табачку: гишпанский.

— Нет, вправду, как это ты?

Василий протягивал Владимиру табакерку с черепом на крышке.

— Опять ты меня Костей потчуеть.

Слуга в дверях встрепенулся.

— Каким Костей, что ты городишь?

— Ах, и вправду, вот вышло смешно! Это нянюшка покойная все адамовой головой меня пугала: вот Костя съест. А ведь твой Костя в самом деле похож на череп: желтый, костлявый и зубы скалит. Батюшки, что это? Да он настоящий череп!

Василий погрозил Косте мизинцем. Тот вытянулся у косяка.

— За то ему и прозвище Череп. Что же, табачку?

Владимир чихнул. Он пробовал удержаться и не мог. Сквозь слезы видел он желтое лицо Кости: оно кривлялось и казалось опять настоящим черепом. Василий тасовал карты. Но зазвенел колокольчик, послышалось ржанье, голова, и Владимир очнулся.

Из крытого тарантаса вылез дородный барин. Взорвавшись на крыльцо, он обнял хозяина.

— Дядюшка! Вы ли это?

— Я сам. Хотя я тебе не то чтобы совсем дядюшка, пуля в лоб, однако не чужой, а потому и заехал.

— Дядюшка, чайку. Да какими судьбами... А это мой друг и сосед Вася...

— Погоди, братец, не спеши. Мы с господином поручиком друг друга довольно знаем.

— Здравствуйте, Елпифидор Сергеич.

— Здравствуй, пуля в лоб. Что же ты, в отставке?

— Мы оба в отставке, дядюшка. Только я как абшид получил, вышел и в Веймар уехал, а он до прошлого года все служил.

— Так. Ну, а в карточки, небось, поигрываешь, а?

— Играю. Не угодно ли?

— Спасибо, пуля в лоб. Да с кем же ты здесь играешь?

— А вот с Владимиром.

— Со мной он играет, дядюшка, каждый день. Сто тысяч я ему проиграл.

— Сто тысяч?

— Да ведь это мы, дядюшка, так, от скуки, на орехи.

Василий усмехнулся.

— Вы один, Елпифидор Сергеич?

— Нет, не один, а с дочкой.

— С Проичкой? — Владимир кинулся к тарантасу. — Кузина! Проичка! Пробудитесь!

В тарантасе зазвенел смех.

— Не спит она, а туалет поправляет. Проичка, ты готова?

— Готова, папенька. — Головка в соломенной шляпке показалась было из тарантаса.

Василий протянул руку, но Проичка оперлась на ладонь Владимира и вспорхнула весело на крыльцо.

Все чинно уселись за столом.

— Пифик, трубку! — крикнул Елпифидор Сергеич. Откуда-то из-под тарантаса выскочил запыленный казачок с дымящимся чубуком. — Главного-то ты еще не знаешь, пуля в лоб. Ведь мы Москву бросили недаром. Теперь твои соседи.

— Как так?

— Ты Анну Ивановну помнишь, покойницу бригадиршу? Нет? Ну так она моей Проичке доводилась крестной и Чулково свое по духовной ей отказала. Три тысячи душ, дом с парком.

— Поздравляю, дядюшка, поздравляю.

— Наследство хорошее, — заметил Василий и спрятал карты.

Проичка прилежно кушала землянику.

— Ну, нам пора, пуля в лоб. Прощайте, господа. Ждем вас к себе обоих.

Тарантас отвалил. Василий глядел в глаза Владимиру.

— Так на орехи?

— Что?

— На орехи играем, говорю? Вот же тебе орехи.

Он вытащил из кармана целую горсть и рассыпал на столе.

Владимир недоумевал: подскочивший Костя начал выкладывать новые пригоршни. Волоцкие, грецкие, кедровые, миндальные завалили стол. Наконец, Костя выхватил кокосовый орех, ткнул в него пальцем и, осклабясь, на ладони поднес Владимиру. Вместо ореха был череп.

Владимир обиделся.

— Однако, это...

Василий погрозил Косте. Слуга, повернувшись, вышел. Скоро у крыльца застучали дрожки, и Череп, посадив барина, растопырился за ним сзади.

— Владимир, прощай. А что табачку, не хочешь? Хорош табак, недурна и табакерка. Мне прошлой ночью ее Наполеон проиграл. Денег у него не было с собой; возьми, говорит, Вася, табакерку.

Владимир фыркнул: «А, чтоб тебя!» — и засмеялся вослед умчавшимся дрожкам.

Орехов на столе он не нашел и долго дивился фокусу.

Приятели часто начали наезжать в Чулково. Елпифидор Сергеич их развлекал обедами, а Проичка разговором. Она была девица веселая, ровного нрава, лишь из кокетст-

ва иногда жеманилась, как героиня романа. Этих романов начиталась она в Москве. Василий, навещающая бригадиршу, привозил цветы, конфеты и модные книжки.

Была уже середина лета, когда Владимир решил признаться Проичке в чувствах и просить руки. Тут явилась ему преграда в лице приятеля. Едва Владимир, уединившись с Проичкой, намеревался говорить, тотчас показывался Василий. Зачем он ездит в Чулково? Владимир ревновал.

Он придумал открыться Проичке после всенощной, накануне Ильина дня. Под визг и щебет стрижей над ветхой колокольней, задевая воздушным платьем могильные кресты, прошла Проичка с Владимиром вокруг церковной ограды.

— Знаете, кузен, мне сегодня утром это же самое сказал ваш приятель.

Владимир замер.

— Что же вы?

— Я просила его обождать до завтра. Уж подождите и вы. За ночь я все обдумаю и решу.

Владимир не находил слов.

— Но как же... тут нечего решать... Я ваш друг детства.

— А он друг юности.

Они вышли из церковных ворот. Коляска с Пификом на запятках понесла их к дому. Стрижи звенели над переливами спелой ржи.

В столовой Елпифидор Сергеич раскладывал гранд-пасьянс. Василий следил за его занятием. Кипел самовар.

— Пифик, трубку! Ну что, помолилась, Проичка?

— Помолилась, папенька.

— За бригадиршу Анну молилась ли?

— Я за всех молилась.

— Славная была старуха, пуля в лоб. Только уж не взыщи: другого разговору у ней не было, как про бригадира-покойника да про матушку-царицу. Бывало, зайдешь к ней, ну как, мол, Анна Ивановна, пуля в лоб, что новенького на свете? «Да что, — скажет, — ничего, батюшка, не слышать, окромя того, что мой Иван Савельич царице намерен представлялся». А уж его лет сорок как схоронили. И сейчас рас-

скажет, пуля в лоб, как ждал у царицы в приемной Иван Савельич. Ждал, ждал, и смерть ему курить захотелось. Не вытерпел бригадир, закурил трубку, ан царица-то и выходит. «Ничего, говорит, — кури, Иван Савельич, покурила бы и я с тобой, да вишь, больно дела много». Ну, уж тут всегда, бывало, всплакнет старушка.

После чаю Проичка спустилась в цветник. К ней подошел Василий.

— Жажду услышать мой приговор.

— Нет, — твердо сказала Проичка.

— Нет?

— Нет.

— А если бы не было его? — Василий кивнул на Владимира, стоявшего на балконе.

— Тогда... Не знаю... — Проичка вспомнила, что говорят в таких случаях героини, но Василия ей было жаль. Чтобы утешить его, она дала ему розу.

Владимир с балкона видел это.

Приятель выехали верхами, конь-о-конь. На душе у обоих было нехорошо.

— Да, бишь, забыл совсем, — сказал Василий, обрывая рассеянно свою розу. — Мне деньги нужны, так ты припаси сто тысяч, что проиграл намедни.

Владимир едва удержался на седле.

— Ты шутишь?

— Нет, не шучу.

— Откуда я возьму?

— А я почему знаю? Чай, ты не маленький, в гвардии служил и порядок помнишь.

Владимир готов был зарыдать. «Это ему на свадьбу», — мелькнуло в уме, и стало темно на сердце.

— Ну ладно, дам тебе отыгаться, так и быть. Поедем ко мне, у меня ночуешь, а завтра сядем.

Кони неслись галопом.

В сумерках приятели подъехали к усадьбе. Становилось совсем темно. В передней, мерцавшей розовым светом, их

встретил Костя. Он прыгал, вихлялся, скалил зубы. В припадке радости, подпрыгнув до потолка, зацепился за крюк и повис, кривляясь; одна нога отскочила со стуком. Владимир опешил, но Костя проворно сорвался, поднял ногу, поставил и бойко прошел в столовую.

— Вот не подумал бы, что у твоего Черепа деревянная нога.

— И не думай, — отозвался Василий кисло. — Пойдем, закусим.

Никогда еще Владимиру не случалось ужинать у Василия, и потому, должно быть, столовая приняла в глазах его небывалый вид. Разные тени на потолке и на стенах, метаясь, тянулись из углов, исчезали снова и выплывали опять. От их игры то рыцарь на картине высовывал язык, то у бронзовых львов из пасти валились маки, то выглядывал из отдушины карлик в алом колпаке.

Костя с салфеткой стоял за стулом Василия. Ключница, горбатая старушка с огромным носом, принесла блюдо раков. Она не шла, а точно неслась над полом и так же плавно вылетела в дверь. Красные раки, дымясь, ворочались и шуршали. Одни поползли на тарелку к Василию, другие, падая на пол, пробирались к Косте, и тот их глотал целиком.

Владимир хотел взять одного, покрупнее, но рак больно ущипнул его за палец. Тут Костя, заплывавши от восторга, выморгнул оба глаза на ладонь, подбросил, поймал и вставил опять на место.

— Череп, не дури, — строго сказал Василий.

— Напоследок можно, — проскрипел Костя таким голосом, что Владимир вздрогнул.

Совсем не по себе ему стало в диванной, где ждал его ночлег. В розовом сумраке, казалось, таяли стены. Владимир снял фрак, улегся и закрыл глаза. Внезапно послышались шаги. Он вскочил. Светлая полоса скользнула из-под порога. Вошел тайный советник Гёте в красном халате с меховой опушкой. Он нес осторожно колоду карт. За ним крался Эккерман со свечами. Гёте сел и стал раскладывать карты. Эккерман светил.

— Герр Эккерман! — вскричал Владимир.

Свечи упали, и свет погас. Эккерман съежился и шмыгнул под стол. Владимир кинулся к Гёте и наткнулся на книжный шкаф. Заглянул под стол, оттуда шмыгнул мышонок. В перепуге выскочил Владимир в столовую, к нему подплыла старуха. Он схватил ключницу за кофту: в руке остался пучок перьев, а в открытое окно вылетела ворона и плавно понеслась к заалевшим лесным вершинам. В дверях, загораживая дорогу, встал Костя. Владимир ударил его и вскрикнул: перед ним завертелся на палке безносый череп.

Не помня себя, очутился Владимир в коридоре. Он бросился бежать. С полчаса бежал, коридор все не кончался. В отчаянии выпрыгнул он из окна и увидел себя на дворе у парадной двери в сиянии разгоравшейся зари.

Тут руки и ноги его онемели, глаза затмились. Он превратился в камень.

Вышел Василий, потрогал камень, зевнул, посмотрел на солнце и, воротясь, заперся.

Проичка в тот же вечер все рассказала родителю. Елпифидор Сергеич подумал и затанулся.

— Я этого давно ждал. Чудно только, что оба сразу. Ну, что ж ты? Которого берешь?

— Я, папенька, выбрала Владимира.

— Умно сделала, пуля в лоб. Мне самому Василий не того. Худого ничего не скажешь, играет чисто, а не лежит душа. Ну, поздравляю, душенька, дай Бог вам счастья.

Елпифидор Сергеич обнял Проичку, отец и дочь прослезились.

В Ильин день ждали жениха с утра. Стол и буфет сверкали, из кухни тянуло пирогом. Владимир не ехал. Что бы могло задержать его?

Остывший пирог унесли, и шампанское потеплело. Подали обед.

Проичка с красными веками теребила салфетку. Елпифидор Сергеич молчал и после обеда тотчас ушел к себе.

Сидя на балконе в измятом платице, Проичка не знала, что придумать. Вдруг на дворе раздался стук копыт. Прие-

хал! Она вскочила и остановилась перед Василием.

— Вы помните ваше слово? Его нет больше.

— Как нет? Вы смеетесь надо мной. Где мой жених?

— Жених? Давно ли?

— Вчера у всенощной он мне признался, я его невеста.

Где он?

Василий принял надменный вид.

— Мое ли дело стеречь чужих женихов?

— Но вы сами сказали, его нет.

— Я пошутил.

— Неправда, вы его спрятали.

— Если угодно, прошу вас, сделайте честь осмотреть мой дом.

— Так и будет. Пифик, папенька спит?

— Почивают-с.

— Сейчас же оседлай мне Бедуина и, когда папенька встанет, скажи, чтоб приезжал за мной в ихнюю усадьбу.

Понял?

— Так точно, барышня.

Василий не узнавал жеманницу Проичку. Оттого это все произошло, что Проичка сама до последнего дня не подозревала, как любит она Владимира. Сжав губы, она взлетела на седло и понеслась; за нею Василий.

У крыльца Проичка спрыгнула и пробежала в дом. Василий покосился на камень, усмехнулся и привязал лошадей. Проичка летела по темноватым покоем. Она заглядывала в углы, отворяла шкапы и двери и очутилась, наконец, в высоком прохладном зале. Здесь висела картина, ей хорошо знакомая; в Москве на нее любовалась Проичка, бывая у бригадириши, — «Одиссей, привязанный к мачте, слушает сирен». Проичка вдруг задумалась, обессилев. Крылатые девы на полотне задышали, запели их голоса и лиры. Одиссей сходит с корабля и приближается к ней.

Проичка перекрестилась.

Грянул громовой удар. Картина свернулась с треском: вместо Одиссея стоял, шатаясь, обугленный Василий. Из вытекших глаз струился синий огонь; страшные зубы блестели. Рухнувшись, он рассыпался легким пеплом.

Вбежал Владимир, бледный, сияя от счастья. Он бросился к Проичке и обнял ее.

Вместе они подошли к коляске. Елпифидор Сергеич раскуривал трубку.

— Что же ты, жених, пуля в лоб, куда девался?

— Простите, дядюшка, дело было.

Отъехали. Пифик повернулся на запятках.

— Сударь, извольте поглядеть: за нами шибко горит.

Над усадьбой расплывалось облако тяжелого дыма.

Борис Садовской

ДВОЙНИК

И вот он глянул к нему вновь за ширмы.

Гоголь

Молодой беллетрист Озимовский и адвокат Мозоль сидели у мецената Ейбоженкова. В столовой млела уютная тишина. Декабрьский вечер гляделся в большие окна.

За шампанским поднялся спор. Мозоль уверял, что только в наше время начинается настоящая жизнь. Ейбоженков его поддерживал. Озимовский не соглашался.

— Не понимаю, какой тут возможен спор. В прошлом все было естественней и прекрасней.

— Это аберрация, — возразил Мозоль. — Вы вводите в заблуждение и себя и публику. Если взглянуть на Москву с птичьего полета, она определенно покажется игрушкой, но так ли на самом деле? Всегда было одно и то же, только теперь стало лучше, а лет через пятьдесят будет совсем хорошо.

— Правильно, — заметил Ейбоженков, прикусив сигару.

Озимовский презрительно отмахнулся и сшиб бокал. Все трое засмеялись. Расцеловавшись с хозяином, гости спустились на улицу.

— Пойдемте в кафе, — сказал Озимовский, поеживаясь: шуба была в закладе. — А?

— С наслаждением бы, но сегодня это меня не устраивает: надо работать.

Они расстались у памятника Пушкина. Мозоль вскочил в трамвай, Озимовский пустился по бульвару. Ему не сиделось дома. Бродить по улицам, заходить в рестораны, встречать приятелей вошло у него в привычку.

Кофейный павильон был пуст. Озимовский уселся в углу; ему подали чаю. Не успел он развернуть газету, как чья-то рука потянула к себе листок. Озимовский увидел румяную даму в шляпе с большими перьями.

Ему тотчас представилось, что это одна из его поклонниц, светская дама, графиня какая-нибудь, вообще аристократка. Все, что читал он в романах и наблюдал на сцене, возникло перед ним заманчивой интригой. Он уже видел

себя мужем богатой женщины. Вот издает он журнал и собрание сочинений, небрежно кланяется с Ейбоженковым и дает снисходительно займы Мозолю.

Но только хотел он заговорить, как, изумляясь, увидел, что незнакомка вдруг изменилась. За столиком моргала выцветшими глазами старушка в чепце и с зонтиком. В павильоне стало светло и жарко; запел оркестр. Деревья на бульваре распустились; на клумбах рдеют цветы, и пестрые дети гоняют обручи по дорожкам. Непрерывно менялась обстановка. Вот заливается вальс; разряженные лакеи подносят сласти красавице в пудренных буклях. Вот на свирелях высвистывают негры; их слушает девушка с браслетами на ногах. Вот горбоносые певцы воют протяжным хором перед царицей в коралловой диадеме. Весны и зимы чередовались. То темнело и сыпался снег, то разбежался ветер, то солнце жгло, то грохотала гроза.

— Что это значит?

— Ты счастливец, — ответила женщина с алмазным пером на черных косах. — Я Время. Пользуйся минутой. Я могу унести тебя на сутки в былую жизнь.

— Что же мне надо сделать?

— Назови любой год, какой пожелаешь, и завтра весь день пробудешь в этом году. Только помни: за час, проведенный в прошлом, ты заплатишь двумя годами жизни.

Это говорила старуха в зеленом хитоне.

— Перенеси меня в старую Москву.

— Станный выбор: одна ли Москва на свете? Подумай, ты можешь взять средние века, Египет, Рим, Византию, можешь стать современником Гомера.

Но Озимовский мало читал, за границей не был, языков не знал. Он подумал и вывел на карточке: 1851.

Девочка в соломенной шляпке улыбнулась. На эстраде полосатые карлики грянули польку. Озимовский лишился чувств.

Очнулся он в незнакомой комнате за перегородкой. Плечо чесалось, и в сумерках видно было, как по подушке бежал торопливо клоп. Озимовский поискал выключателя и не мог

найти. Понемногу начал он привыкать к рассвету и на столике увидел сальную свечу. Спичек не было. Он хотел позвонить; звонка не оказалось.

— Где же это я и что со мной? — Озимовский перебирал вчерашнее. Вдруг молния ударила ему в голову: он вспомнил незнакомку и кафе.

Нетерпеливо соскочил он с постели. Все иное, все чуждое для него. Крашеный пол, деревянная кровать с клопами, отсутствие электричества. Выглянув в дверь, он увидел слугу с медным подносом под мышкой.

— Дайте умыться, пожалуйста.

Слуга изумленно покосился бритым лицом.

— Слушаю, сударь, сею минутою.

Исчезнув, он появился опять, уже с кувшином, держа полотенце на плече.

И полотенце и кувшин были простые, обыкновенные.

Озимовский боялся заговорить. Он чувствовал себя неопытным самозванцем.

Усевшись за чай, он заметил, что мягкий калач необычайно душист и вкусен.

— От Филиппова?

Слуга не понял.

— У Филиппова взято? — Озимовский все не мог решиться на «ты».

— Никак нет-с, это здешний, в гостинице пекут-с.

Озимовскому сделалось неловко. Он думал встретить невиданное что-то, блестящее, как стилизованная страница, а вместо того все было скучно и серо. Он торопливо оделся.

Теперь на нем был не жакет, а сюртук с расходившимися полами и широкие панталоны над голенищами мягких сапогов. Слуга подал шубу и шапку.

Озимовский проворно спустился по деревянной лестнице; в сенях пахло дымом и капустой.

Погода стояла превосходная. На пустых перекрестках курился под ветром веселый снежок. Дома как будто осели и стали меньше. Озимовский узнал Страстную площадь и розовый монастырь. Налево, извиваясь, ползла Тверская, vystупал дом Елисеева. С площади видно было, что это не ма-

газин, а хоромы; из парадных дверей выглядывал швейцар. Вот он сделал кому-то знак; подъехала карета. Выездной лакей подсадил господ и ловко вскочил на козлы. Карета прошуршала мимо Озимовского, и он мельком увидел полную барыню и краснощекого генерала.

Ударил благовест, и загудели колокола.

«Должно быть, сегодня воскресенье. Времени много, успею высмотреть все».

Вот и Тверской бульвар, вот это самое место, где вчера Озимовский расстался с адвокатом. Бульвар почти тот же, но памятника нет: точно его украли за ночь.

Озимовскому сделалось весело, как от вина. Думать он не хотел и мотал головой, отгоняя мысли. Время шло. Стали встречаться прохожие. Идет мужик с бородой, в полушубке: мужик как мужик. Студент в треуголке и в шинели. Озимовский хотел с ним заговорить, но не решился и долго глядел на удалявшийся затылок. Там, где было вчера кафе, торчала будка. У Никитских ворот снова пустынная площадь: ни кондитерских, ни угловых подъездов, и опять разбегаются по сторонам, точно обрезанные, дома. Поравнявшись с особняком, где скончался Гоголь, Озимовский вспомнил, что Гоголь теперь в Москве и, наверное, в этом доме. Ему сделалось жарко. Он походил по бульвару, глядя на окна, потом присел на скамью. Встал, подошел и робко дернул звонок. «Точно во сне». Долго дребезжал колокольчик в пустой передней. Шаги; дверь отворила старуха, за ней выглядывал мальчик в куртке. «Кого вам?» Озимовский долго не мог ответить. Ему показалось все вздором и чепухой; он просто бредит; может быть, болен, при смерти. На секунду он уверен был, что сейчас проснется. «Вы к кому?» — «Что, — начал Озимовский боязливо, — что, Николай Васильич дома?» Он ждал, что старуха засмеется ему в глаза и захлопнет дверь. Она улыбнулась дружелюбно. «Извините, сударь, имени-отчества вашего не знаю, ушли они к обедне, а когда воротятся, неизвестно. Бывает, от обедни зайдут в гости и вовсе вечером придут». — «А в какую церковь пошел Николай Васильич?» Мальчик тряхнул стриженной головой. «Барин завсегда ходит к Симеону Столпнику

на Поварскую. Пожалуйте туда, там их аккуратно захватите». «Этот мальчик через два месяца будет жечь “Мертвые души”, — думал Озимовский, идя к Арбату. — Но что со мной?»

Невыносимое что-то загоралось в мозгу его. Точно он в пустоте, под стеклянным колпаком. Одно несомненно было — что это не сон. В сердце занималось непонятное, ни с чем не схожее чувство. Близилось что-то нестрашное, но в нестрашности своей страшнее всякого страха. Нет, это не сон. Вон едут на дровнях мужики по Арбатской площади, собаки валяются на сугробе. Это вон будочник стоит, только без алебарды и в шинели с теплым воротником. Вот церковь Бориса и Глеба. Вот здесь вчера была булочная Севостьянова, а ныне кто-то живет и теплится огонек.

У Поварской Озимовский запутался в переулках. Он шел и думал: жалко, что в этом мире мне остается всего несколько часов. Я мог бы поехать в Петербург, увидеть государя, Тургенева, Глинку. Многие, может быть, сейчас в Москве, а я и не знаю. Еще, пожалуй, и Гоголя не увидишь. Он все прибавлял, задыхаясь, шагу. В виски стучало, и жарко было плечам. Наконец, подбежал он к церкви. Обедня только что отошла. Озимовский разглядывал богомольцев. «Все покойники, — пришло ему на ум, и тотчас возразил он себе: — А ты кто?»

Здесь уже можно было наблюдать обилие типов. Вышла на паперть барыня в салопе, за ней лакей с одеялом. Барыня села в сани; укрывши ей одеялом ноги, лакей примостился на запятках. Старый подьячий в картузе и с палкой. Опять студент в бобровой шинели; приятное лицо. Военный в каске, купец с купчихой, солдаты.

Гоголя не было. Озимовский пошел назад. «Николай Васильич вернулся?» — уже бойко спросил он у казачка. «Нет, не вернулись и не будут, завтра пожалуйста-с», — так же бойко ответил мальчик. По лицу его видно было, что Гоголь дома.

Солнце переступило полдень. С длинных сосуллек падали звучные капли. На Воздвиженке заливался петух. Все чаще встречались кареты. На углу Шереметевского переулка спорили два студента: «Двенадцать бутылок!» — «Ну тебя!»

В развалистых санях проехал пожилой барин; лицо его показалось Озимовскому знакомым. Кто бы это был? Долго он припоминал и не мог припомнить.

Часа три ходил Озимовский по Москве. Наконец проголодался.

— Извозчик, к Тестову.

— Куды?

— К Тестову, в ресторан.

— А это где будет, ваше благородие?

— Против Большого театра.

Извозчик почесал бороду.

— Пожалуйте.

Он ссадил Озимовского в железных рядах у трактира Печкина. Народу было немного. Горели тусклые свечи, где-то раскатывались шары.

Половые встретили Озимовского с поклонами. Один, высокий, в кудрях, с серьгой, ослабился.

— Давненько не изволили быть.

И подал свежую книжку «Современника».

Озимовский точно сразу обессилел. Устало жевал он расстегай, запивая хересом и перелистывая книгу.

Несколько раз начинало казаться ему, будто тень на стене оживает и превращается в юношу, очень похожего на него. Озимовский собрался с духом, неизвестный его предупредил.

— Вы удивлены?

— Очень удивлен. Позвольте узнать вашу фамилию.

— Озимовский, кандидат университета. Родом я из Владимира, но живу в Москве.

— Позвольте, но ведь вы... Вы мой родной дед. Я тоже Озимовский. Ну да, теперь все понятно. Вы отец моего покойного отца.

— Если бы я имел сына. Увы, я холост.

Озимовский вскочил.

— Боже! Да что же это такое! Что за ужасы! Я говорю с моим дедом, которого никогда не видал и не мог увидеть: ведь вы умерли, едва родился отец, а между тем и отца еще нет на свете! Как же я связан с вами и чем? Не уходите, вы

мне единственный близкий человек, милый дедушка, спасите меня, спасите!

Двойник привстал. Озимовский упал к нему в объятия и растворился в них. Медленно проиграли куранты на Спасской башне.

Пробудившись в большой белой комнате с ослепительным потолком, Озимовский проворно оделся и глянул в зеркало. Оттуда улыбнулся ему лысый сморщенный старичок.

Неизвестный, войдя, предложил прогуляться.

Они прошли на Страстную площадь. Вместо бульвара была стеклянная галерея. Там гуляли и сидели у столиков; музыка заливалась.

Озимовский не узнавал Москвы. Гигантские дома загромаждали ее. Неслись автобусы, парили аэропланы. Никитский бульвар превратился в большой пассаж.

Из автомобиля вылез Мозоль. Он был толст и важен; седая борода закрывала ему всю грудь.

— Здравствуйте, Мозоль!

Мозоль приостановился.

— Простите, господин: это больной человек, содержится у нас в клинике.

— Вот как. А чем он болен?

— Не могу назвать в точности ихнюю болезнь, а только им кажется, будто они живут в стародавние времена.

— Любопытно.

Мозоль, прищурясь, посмотрел на Озимовского, подумал, поправил бороду и, взглянув на часы, прошел не спеша в пассаж.

Юрий Юркун

ДВОЙНИК

(Рассказ в одном письме)

Эти дни... — ты понимаешь, несомненно, что я имею в виду противоположное дням, — ничто здесь не спит, все дышит особенной жизнью — и этот переворачивающий мне душу табак, и розы, которые были и вечно будут розами, с запахом, который вечно нов, как и то, символ чего это растение.

Повторяю, того, что я пережил, не стоит и не дала мне хотя бы вся моя жизнь.

Нужно найти Ее; а это — истина, что мы не умеем искать; дуракам счастье — и я без поисков нашел.

Мой милый Николай, ты знаешь, я — не мальчик и не невежда; кто из наших александрийцев всех опытнее в этих делах? — твоя поговорка гласила, что я... один я.

Ну видишь? Теперь я спокоен, но был, был тем, у кого отваливается голова.

Доказательств тьма и без моих признаний. Мой друг, равный только тебе и носящий ту же венгерку, обманут мной и без намека на угрызения совести.

Ах! Но только найти Ее... Забыть весь мир, самого себя — этого так мало! Пойми: Она — не простая, обыкновенная смертная. О, нет! Таких «бессмертных» наши видали, видели, а «Она» — это та, которая одна единственная для каждого единственного. Не первая любовь и не последняя, а лишь из особенной любви к тебе даримая судьбою, ни за какие-нибудь достоинства, а за глупость, что самое большое, пожалуй, в этой жизни...

Поймешь ли меня?

Эта женщина только для тебя единственно сотворенная, как единственен и ты лишь для Нее.

И это узнается, открывается только после объятий.

Тебе ясно?

Итак, приступаю к изложению того, что произошло со мною, главного же я не в силах объяснить, как относящегося ко многому, что есть, «но чего не снилось»... и проч.

Еще в начале письма я говорил, что был пьян, т. е. поглощен любовью и в эту ночь, как в предыдущие. Подчеркиваю этим невозможность всяческой намеренно вызванной галлюцинации. Я хочу сказать, что до чертовщины мне не было дела.

Я разделся и лег.

Привычке, привитой школою, я и на этот раз не изменил; это вкоренилось и уже не может быть искоренимо, коли стало второю натурою...

На стуле лежали карманные вещи, пояс и револьвер, на спинке (это и есть о привычке) моя венгерка. Все при мне и вокруг меня.

Я... да!.. Долго не мог уснуть... (конечно, моя психология применима ко всем, и всех — ко мне). Но на этот раз это «долго» было очень непродолжительным.

Для чего в этом доме были ставни, я не знаю. Для того ли, чтоб мой рассказ стал рассказом?

Я услышал сначала раскачивание болта, затем скрип, но я не видел ничего... Я только взглянул на револьвер... тотчас же прогнал эти мысли... почему я это сделал — понятно... Как подалась запертая рама?.. Но она могла быть и не запертой...

Я увидел ногу... в сапоге со шпорою, затем александрийскую нашу венгерку... Мысли от «Нее» как-то перешли на ее мужа... Но лед, вода меня окатили, когда высокий стройный гусар придвинулся ближе ко мне... Тысячей слов не пересказать... Это был я!

Я до боли его ясно видел... только оглох... Я ясно понимал, что оглох... Ни шпор, ни скрипенья сапог я не слышал... Традиционно сел он в ногах кровати, но он был жив... Я сто клятв приношу в этом... Он дышал... Я видел — он дышал...

Долго ли, коротко ли сидел... но только, моргнув, — реально-пре реально — левым глазом, спокойно исчез. Но исчез, не перелезая через подоконник, исчез, растаял у самого окна...

Конечно, получив дар самообладания, я тотчас подскочил к окну, — ставня была закрытой. Я распахнул окно... Нет, но «его уже не было», а крутом было зарево, пламя... не толь-

ко от дома, — от ближайших кустов... их вид был декорацией оперного ада.

Я разбудил... Все до последнего спали, как в предосаднейшей из сказок.

Посмотри на штемпель конверта.

Я далек ото всего, понимаешь, — ото всего и от той удивительной любви. И произошло это так же сказочно, непонятно во всех отношениях, как и появление этого двойника.

Юрий Юркун

ПОБРЯКУШКА

Рыжей с малиновым от темноты оттенком была его кривая борода, скошенные циничным лукавством, гадко-прегадко глядели его глаза, сильно он был горбатым, сильно хромотал. И несмотря на то, что по всей деревне трещала в его руке на многие переливы и перекаты, слепя глаза пестротой цветов, золота и серебра, неописуемой красоты побрякушка, дети крестьян к нему подходить на близкое расстояние не решались.

Старики и старухи в нем без малейшего труда опознали дьявола, хотя в манишке, при галстукке, съехавшем под левое ухо, и пиджачной паре немудреного закройщика, да манжетах с запонками крупной жести легче было признать его за переодетого немецкого солдата.

Черт был не сложным, не хитрым, но сам о себе был, вероятно, другого мнения.

В первый день он появился под вечер, когда солнце клонилось к закату, когда после ужина почти все жители деревни или сходились к соседним домам, или ждали к себе поболтать соседей.

На женщин побрякушка произвела неотразимое впечатление, особенно на тех, кто помоложе: еле-еле отцам да мужьям удалось удержать их от того, чтоб они вереницей не потянулись за дьяволом.

Хромой попрыгал, повизжал в чудесное создание своих рук и, поведя таинственно гадкими косыми буркалами, заковылял к концу деревни, туда, где заходило солнце. От хромой ноги под ним подымалась такая пыль, что старухи молодухам неоспоримым старались доказать его происхождение.

— То дым, то дым! — шамкали они.

А уж вдали только трещал и заливался магический инструмент.

Не спали эту ночь все молодухи в деревне, ворочались, вздыхали, тайком выходили на улицу, глядели, нет ли, не появится ли опять рыжебородый красавец. Но нет, все бы-

ло тихо, и только лживый слух беспокойнее заставлял гарцевать чувства и мысли. В ушах трещал и заливался магический инструмент, трещал, трещал и без конца... Крашенные стекла, которыми он был выклеен, в видениях молодых лились на луне, щема сердце любовью даже... не даже, а прямо к владельцу побрякушки. Его малиновая борода — ну, точно украшением была к волшебной игрушке, а глаза, ну, в точь цветные стекла!

Когда отцы и мужья были на работе, он снова появился, но снова с востока, откуда и пришел, — он будто обошел с солнцем всю землю...

А через девять месяцев точь-в-точь родились у молодых черненькие с рожками и копытцами...

Юрий Юркун

**КЛУБ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
СКЕЛЕТОВ**

Илл. Ю. Анненкова

Первый час пополуночи

Дождь; сквозь тускло-стальные зигзаги его спутанных проволок видны кружащиеся туманно вокруг газовых языков колеса-ореолы. Небо — черное, удивительно только, что в эту пору на горизонте обрисовала все длинные здания серебряная полоса будто рассвета. Согбенные над Невой, мерцают высокие черные виселицы в ожидании сигнала, чтобы ожить и завизжать пронзительно своими ржавыми цепями.

С трудом дыша, разгоняет воду грузовой пароход; из его трубы сыпятся тяжеловесные фонтаны кровавых искр. Глядит множеством коричневых от копоти окон верфь... Одна смутно различаемая громада медленно ползет за наполняющим воздух тревогою, искрами и чахоточным хрипением грузовиком... Сотрясаются мостовые от глухих подземных шумов... Трепещут мелкой лихорадочной дрожью все здания: Томоновская Биржа, Адмиралтейство, Синод и Сенат...

Кончился вечер, гаснут обманчивые волосьи пузыри... Разбрелись по домам чиновницы, купчихи, актрисы...

Мимо решетки сада при Адмиралтействе со стороны Невы проходили две фигуры, обе в переливающихся черных цилиндрах и черных пальто...

— Остановитесь, г. Секретарев, — крикнула одна фигура другой и, низко нагнувшись к тротуару, подняла что-то и это что-то не без грации передала второй.

— Ах, ах! — томно провздыхала вторая фигура. — Благодарю вас.

— Кто бы мог предсказать, что это случится именно сегодня? — продолжала она и, вытащив из кармана яркий белый носовой платок, продушенный приторно удушливыми духами, бережно завернула в него неведомый, утерянный было предмет.

— Еще раз благодарю вас... Это давно... Я узнал о его болезни еще тогда, когда мне пришлось стать к «призыву» для

исполнения воинской повинности... Как теперь помню: накануне ночью я пьянствовал, пил много черного кофе, поэтому оно, видите ли, и пришло в некоторое ненормальное состояние... Меня и признали благодаря ему негодным. Вскоре я обо всем этом забыл... Правда, иногда я прикладывал руку к ребрам, — уж очень забавно оно у меня прыгало! Как птичка, хе-хе-хе, — говорившая фигура захихикала шероховатым деревянным смехом. В то время первая, любуясь блестящими мелькающими носками своих галош, пыталась спрятать поглубже в воротник голову, причем цилиндр от прикосновения к поднятому воротнику выказывал намерение соскочить с головы своего владельца; тогда неизвестный ловил его руками, на которых как-то странно обвисали свежие, хорошие, бледно-желтые перчатки.

— Господин Скрипицын, вы не презираете меня за то, что я его так бережно укутал? Оно мне, видите ли, необходимо на сегодняшний вечер. Хе... хе... Видите ли, есть одна блондиночка... но вы понимаете... хе-хе... Охо, — хо!! Вам должно быть понятно желание согреться, хе-хе... Скелетик, желающий согреться... Это даже есть такая картинка у английского художника Джемса Энзора... то бишь, у американского... хе-хе... а может, он и англичанин... не знаю в точности. Об этом спросить следовало бы у великого Врубеля... Вот, к слову пришлось — по правде сказать, мне не нравится Врубель: в нем и жизни нет, и он не совсем наш... То ли дело величайший Леонардо, — настоящая мертвечинка! хе-хе... им если и согреться нельзя, то все же есть над чем задуматься... Но, господин Скрипицын, теперь за вами очередь остановиться... — говоривший задержал за рукав первую фигуру...

— Как вы не заметили, одеваясь, что у вас осталась веревка? Пойдите, пойдите, будьте терпеливеньким и позвольте мне ее вам развязать.

— А черт бы ее побрал! — выругался тот, кого звали Скрипицыным и, сорвав со своей шеи серую свившуюся игрушечную змею, шагнул с тротуара на мостовую, направляясь к Неве...

— Куда вы, г, Скрипицын? — с поддельным страхом и

таинственностью спросил Секретарев.

— Чтобы бросить ее в воду.

— Ну что? утонула?.. — спросил, вскоре подойдя к гранитному выступу, другой.

— Вот видите: поплыла, — печально ответил первый.

— Да... да, вижу... Вы что же, невинно осужденный будете?..

— Кто, я-то?.. — обиделся Скрипицын и, отвернувшись от Невы, с гордостью ответил: — Ну нет!

Приятели заковыляли дальше, — и какой-то тряской походкой, будто готовые в любую минуту целиком рассыпаться в мелкий дребезг...

Сильный ветер, взвывая и стоня где-то под облаками, гасил газовые фонари, попрокинул несколько городских мусорных ящиков и носил по всей набережной и по Дворцовой площади промоклый мусор...

Свернув на Дворцовую площадь, один из скелетов закряхтел, закашлялся, потом, пройдя несколько шагов, вдруг, казалось, ни с того ни с сего, начал браниться и плевать...

— Что с вами, г. Скрипицын? — спросил его с чисто прохиндейским участием приятель.

— Да вот, коллега Секретарев, — отвечал раздумчиво и прислушиваясь к своим словам Скрипицын, — вот только не знаю, как все это вам формулировать, поделиться с вами сжато в двух словах. Боюсь я, что опять выйдет из всего этого только чепуха одна!.. — понимаете?

— Ну еще бы-с, понимаю.

— Как в легенде русской господина Афанасьева «об Ное праведном» —

Вдруг господин Скрипицын простер перед собою обе руки и вскричал, зажмурясь:

— Тьма, тьма! тьму вижу, коллега Секретарев. И больше ни шиша, — заключил он более спокойно.

Взлетевшие от его крика проснувшиеся вороны с карканьем сбросили на горбившегося и тайно похихикивавшего Секретарева несколько обломленных сучьев.

— Зачем же-с так строго? — счел долгом, как бы робея, возразить он.

— Есть и блондиночки — они так приятно потеют-с — потом покрываются, потом, — пояснил он.

— И еще сто раз умирать, — взвопил Секретарев на манер трагика в короле Лире.

— Проносить повсюду заскорузлую чешую грехов на себе.

— Есть жгучие брюнеточки, — с аппетитом щебетал Секретарев.

— И здесь ничего не узнаешь. Все мерзость одна! Толстолюбые «химики» все пытаются измерить циркулем, саженью и сантиметром... Плевое дело.

— А знаете, я вспотел, — вдруг радостно объявил Секретарев.

— Ну, хвастайтесь.

— Право, вспотел — вот посмотрите!

— Это у вас просто испарина, собственно говоря, могильная гниль, — спокойно констатировал Скрипицын, пощупав голую кисть Секретарева. — Тоже нашли чем хвастаться!

— Я... я ведь свеженький в сравнении с вами, — погрозил пальчиком Секретарев. — Вот у меня даже волосики еще есть, я их сегодня набриолинил. Вот посмотрите, — и он суетно снял со своего голого черепа цилиндр... — Этой весной я еще распространял запах...

— Ну хорошо, поторопимся на заседание.

II

Очередное заседание клуба благотворительных скелетов

— Тьфу, тьфу, — отплеывался старый скелетик, остановившись перед широкой лестницей, по обеим сторонам уб-

ранной зеленью. На стенах были наклеены большие афиши кинематографа «Уютный уголок», в которых стояло:

«Разбитая Ваза, шикарная драма по изв. стихотворению великого г. Апухтина.

Адски хорошенькая!!!

Пикантная миниатюрка».

Старый скелетик повертывал свой голый, непокрытый шляпой череп с глубокими черно-коричневыми впадинами вместо глаз, то на одну афишу, то на другую. Одет он был в старинную зеленую накидку с рукавами и пелеринкой. В позеленевших костяшках рук он крепко держал облезлую трость с испорченным компасом, вправленным в набалдашник, и любил разговаривать только с самим собою, при случае вслух.

— Тьфу, тьфу! Весьма немиловидное помещение, иного не могли приискать! Тьфу...

— Все мы здесь были, высокочтимый г. букинист, — пророкотал пессимистическим басом высокий скелет в клетчатом пальто в обтяжку, галстуком, повязанным артистическим бантом и в широкополой шляпе, неожиданно появившись в вестибюле и прочно прикрывая за собою дверь в сени.

— Этот дом, милостивый государь, некогда был хорошим домом и принадлежал нашему высокочтимому председателю, после чего перешел в руки его наследников, которые его и продали нагло кучке грязных спекулянтов, теперь приспособивших его под так называемый «электрический театр».

Скелетик в крылатке надменно молчал.

— В этом помещении кроме кинематографа разыгрывают еще фарсы с полураздеванием для молодежи и с совершенным — это для старичков, таких, как мы с вами... — сострил и сам громко рассмеялся скелет в широкополой шляпе.

Старичок в крылатке только покосился на него.

Зала, в которую он вошел, кишела по-бальному разряженными и расфуфыренными мертвецами. С высокого потолка низко свешивались три огромной тяжести большие, зажженные, сверкающие хрусталем люстры...

В конце залы занавес был поднят, и впереди сцены без декораций с одними белыми стенами стоял большой стол. Позади свешивались веревки и свернутые полотна, колонны и простеночные зеркала.

В зале шумели, слышался свист и взвизги...

— Ах, сударыня, как очаровательно из вашего ротика мхом пахнет...

— Дурной вкус развивает дурную веру, дурные характеры и в целом дурных людей...

— Советуете не увлекаться пошлостью?

— Гениями?

— Простите, очаровательная, я не вижу вашего лица. От ваших аквамаринов, сапфиров, опалов исходит столько сияния, от вашего наряда столько волнующих ароматов, и от ваших костей столько сладострастного опьянения! Я не в силах превозмочь страсти... Я дрожу... О, избранная, я еще свеженький, я...

— Любопытно знать, г. философ, как вы отличаете гений от дилетантизма, хороший вкус от дурного и прочее?

— Смотрите, смотрите, вот тот, кто продал правую ногу господина Дидро в коллекцию присяжному поверенному...

— Я, я, право...

— Жулик...

— Самоед...

— Чайник...

— Касательно вышеупомянутого...

— Декретно.

— Скарлатина!

— Я не привыкла отвечать тому, у кого нет денег. Деньги усиливают чувственность... вам понятно?..

— Отстань! Послушай, отстань, а, послушай, отстань! Охота тебе связываться! Она даже с законного мужа брала по десятке... И иначе не отвечала на его поцелуи, как сжимая под подушкой деньги...

— А когда у него их не было?

— Он про запас имел фальшивые....

— А-а!

— У вас слезы?.. Господа, вот замечательно!..

— Тише, ну зачем?.. Я атропин впускаю по привычке; это мне доставляет необыкновенное удовольствие.

За всем и всеми недовольным скелетом, осанкою и манерою держаться похожим на кислого сановника, всюду следом волочился маленький прохиндей, имевший свойство влюбляться только в того, кто получал чье-либо одобрение, обезьяна, восторженный сплетник. Он прихрамывал и косил по старой привычке...

У колонны, чувствуя себя во всяком обществе несколько приниженным, стоял, прислонившись, бывший гувернер, француз, некогда страдавший подагрой и хроническими зубными болями, обжора; про него рассказывали, что за обедом он из-под носа у своего воспитанника выхватывал все блюда с приговоркой: «Ти эти не лубишь, Жан?!», которую он умел произносить с неподражаемой заботливостью доброго воспитателя.

Почти все держались непринужденно, шутили, остроумничали, дети, те даже пробовали танцевать, но после того, как на них прикрикнул, погладив свою бывшую бороду, один злой дядя в косоворотке и смазных сапогах, скелет Бог весть как здесь очутившегося бывшего редактора некоего идейного журнала, они присмирели и только усиленной стали переихихиваться из-за колонн, из-за ног и юбок старших.

В самом разгаре этого оживления вдруг погасли большие люстры и освещать залу остались боковые красные фонари и три или четыре тусклых бра. Тут зажглась рампа и осветила стол, стены, веревки и свешивавшиеся кусками декорации так ярко, что видна была грязь, паутина и неслетная рать прежде сбившихся в кучи, теперь же торопившихся расползтись по углам и дырам черных и рыжих тараканов.

В наступившей тишине продребезжал глухо и отдаленно, печально, на высокой ноте электрический звонок, и на сцену, после некоторого молчания, вышли три тощих скелета; двое в обвисавших фраках и третий, самый маленький, в длиннополом до пят сюртуке, но в белом галстуке бальным бантиком. Этот последний неожиданно занял пред-

седательское место и, обеда глухо шикающую темную залу своими недоумевающими впадинами, углубился в разложенные на столе перед ним бумаги. Двое других откашлялись и наклонились к нему в ожидании.

Внизу у барьера, сбившись в кучу, скелеты вытягивали шейные позвонки, стучали костями и щелкали, как аисты, удлинненными челюстями.

— Ни, ни, ни, — вдруг издал троекратный высокий носовой звук, подняв свой череп, председатель и двое его помощников тотчас вздрогнули и приосанились.

— Вдова Сверчкова?..

— Я, я... я тут!

— Потрудитесь войти за барьер и подняться на возвышение для капельмейстера.

Взошел и остановился на возвышении скелет вдовы в старомодном платье со вздернутой кверху юбкой, в больших башмаках с бугрышками от бывших некогда мозолей.

— Не, не, не, — вновь отрывисто прогнусавил председатель своим невыразительным носовым голосом.

— Ваша билъ поручен молодой челофек ваша племянник, — фи описан билъ не допускать ефо к ефо горнишна! Исполнил фи это?.. — проговорил простуженно, но достаточно торжественно второй товарищ председателя; первый товарищ тотчас же поспешил перевести все вышесказанное:

— Вдова Сверчкова, вам было поручено помешать правнуку вашему, студенту восточного факультета, вступить в греховную связь с собственной служанкой... Общество вас спрашивает, что вы предприняли на сей счет?..

Вдова Сверчкова, по-видимому, очень многое предприняла на сей счет, потому что она приготовилась к длинному рассказу: вознесла торжественно обе свои руки на грудь и вступительно задвигала челюстями...

Все приготовились слушать.

— Ну? — произнес первый товарищ.

Челюсти вдовы продолжали двигаться и пощелкивать, но все еще, казалось, вступительно, потому что пока оттуда не вылетало еще ни одного звука.

Столпившиеся у барьера уж всячески пробовали выразить свое участие, как из насквозь дырявого рта вдовы вырвалось наконец слабое старческое восклицание:

— Господа члены и господин председатель, я сама потеряла свою невинность!

— Ни, ни, ни, ни, ни, — замотал на всех огромным черепом председатель.

— Призываю всех к молчанию, — закричал грозно, приподнявшись, первый товарищ.

Вдова после молчания, перед тем, как заговорить, снова долго упражняла свои челюсти...

— Я не виновата, господа, я, право, не виновата, все это востокоеведение и египетские царицы...

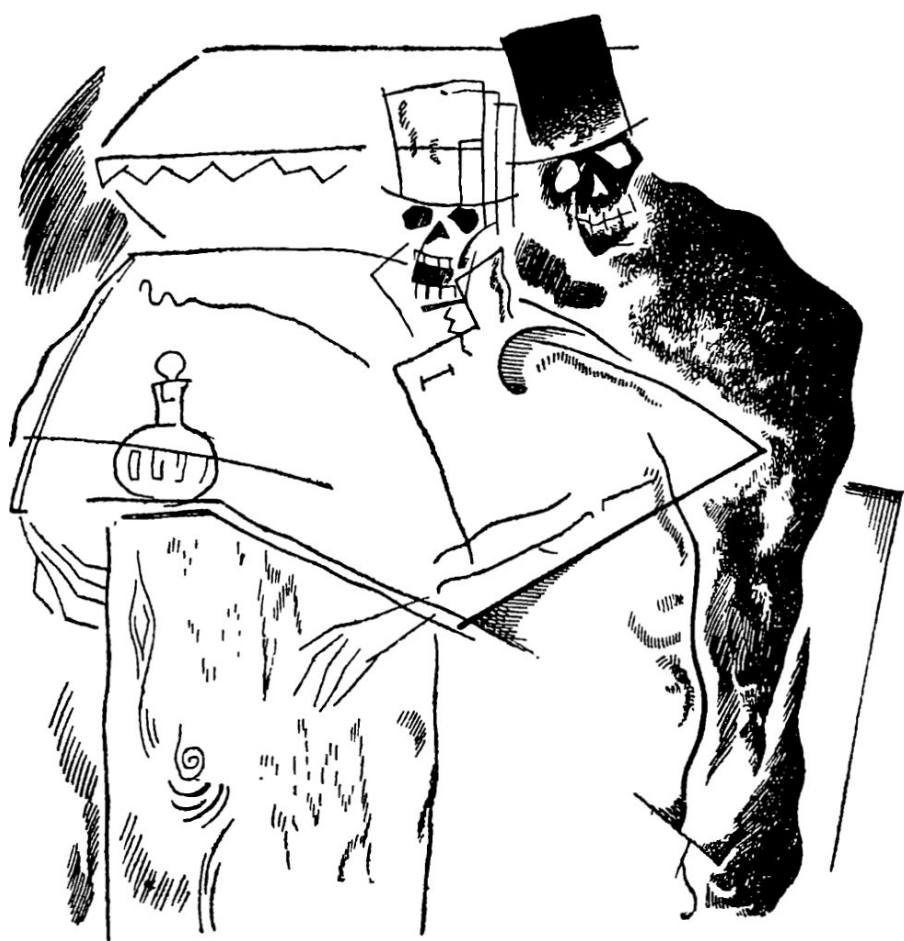
— Тише!

— Я говорю, египетские царицы... потому что, видите ли, с горничной-то этой самой я прекрасно сошлась, на счастье, она оказалась девушкой очень честной и бескорыстной. Я ей разъяснила все положение вещей, все как следует быть, и она в ту, роковую для меня, ночь уступила мне свою кровать, сама пойдя к соседскому кучеру.

В это время кто-то закричал высоким голосом: «Пропустите, господа, пропустите», — и за барьер прорвался маленький скелетик в старинной крылатке с облезлой тростью, в набалдашник которой был вправлен попорченный компас. Старенький скелетик взобрался сперва на капельмейстерское возвышение и потом, перепрыгнув оттуда на сцену, остановился перед столом, из-за которого поднялись теперь трое заседавших.

— Позвольте мне иметь право голоса! — взволнованно заговорил он и, не дождавшись ответа, повернулся *en face* к собранию и начал:

— Милостивые государыни и милостивые государи, хотя предметом сегодняшнего собрания служит помощь, оказываемая нашими братьями тем, кто остались в так называемой жизни (к слову сказать, не стоили бы они вовсе, чтобы поддерживать с ними какие бы то ни было сношения), но я не побоюсь признаться, что эта помощь идет из рук вон плохо.



— Не, н-н-н...

— Да, да... как нельзя хуже, милостивые государи... И я сейчас вам объясню причины.

При этом старенький скелет отступил на шаг, как-то взволнованно распахнул крылатку и, переправив из левой костяшки в правую свою облезшую трость с попорченным компасом, продолжал теперь с иронией, склонив чуть набок голову:

— Прогресс!.. цехи, известное здание без Минервы на правом берегу Невы, разные другие не менее прекрасные здания, может быть, и ни на каких ни на берегах и с более бесстыдными Минервами, которым не достаёт стыдливости провалиться, город Болонья, помощники регистраторов, бедные швеи, вышивающие академические пальмы и собрания вроде нашего...

Робкие возгласы недоумения одних и взволнованно-не-терпеливое шипение других.

Скелетик делает шаг вперед.

— Как я понимаю ваше волнение!.. (говорит быстро). — Вы удивлены, поражены, ошеломлены, опрокинуты, не правда ли, не правда ли?

Он поправляет на себе крылатку и, отступив теперь уже на целых три шага, опирается левой костяшкой о край стола. В эту минуту трое заседавших разом с поспешностью отступают на безопасное расстояние.

— Вы горите нетерпением? — продолжал с расстановкой, начиная увлекаться, скелетик. — Времени мало, а нетерпение ваше все растёт... Буду говорить парадоксально, так как это самый удобный метод сказать в самый короткий срок самые удивительные вещи, над которыми наивные и добросовестные люди продумают потом всю свою жизнь. Но следите внимательно, иначе вы ничего не поймете. Бойтесь прогресса, бойтесь прогресса... Как Катон твердил о необходимости разрушения Карфагена, так я готов ежеминутно повторять: «Бойтесь прогресса!» Хотя нам, деликатно выражаясь, «не живущим», нечего было бы, по-видимому, его бояться, ибо так называемый прогресс несет с собою то, что нам подарено уже самой судьбою — смерть...

Раздался прорезывающий и оглушающий свист косматого дяденьки в смазных сапогах.

— Ату, ату его.

— Прогресс несет с собою смерть! — прокричал запальчиво оратор-скелетик, бывший букинист.

.

— Опять изумление, восторг, негодование. И главное, нетерпение... Слушайте, слушайте. Одно родится от другого, но не замыкает круга, как в известном стихотворении французского поэта Климента Марота. Прогресс родит общество, общество — общества, общества — цехи, академии, общие правила, общие места, общие вкусы (всегда плохие, так как общие), общие мерки, оценки, словари, энциклопедии, грамматики, моды, которые никак нельзя считать за движущие силы. Общее — враг частного почина, движения, таланта. Кроме того, прогресс (в кавычках, положим) представляет из себя источник общественных должностей, никому не нужных, следовательно, неестественных (это о регистраторах), даже целых сословий...

— До-ло-й-й...

— ...единственное значение которых состоит в их общечеловечности. Если они не умеют шить сапог, пахать, играть на флейте и сочинять романы, лучше бы мостили мостовые перед казенными зданиями, столь милыми их сердцам. Общие вкусы, правила, приемы — гибель и вред всему новому, живому (хе-хе!). Как будто нам на руку, но и покойникам, оказывается, нельзя поступать по-мертвецки — ничего не выходит. Притом общества лишают прелести почина и действительности не только всякое искусство, но и религию, и добродетель, которые тоже — великое искусство...

— Жулик!

— О чем он, господа? О че...

— Эпикурец...

— Гони...

— Господа, — оратор высоко поднял свою облезлую трость, — покойный наш епископ Царьграда, который был свят и потому избег нашей смешной участи быть подверженну ночному сплину и толкаться по нелепым митингам и спиритическим сеансам, — говорил, что принимающий милостыню оказывает большую услугу подающему, чем тот ему. Золотые слова, золотые слова! Так же и поэт и художник. Но неужели вы думаете, что это говорится о чиновнике...

— Я вынужден просить вас, милостивый... — кто-то дошло пропищал прерывающимся писком.

— ...о чиновнике из благотворительного общества, посылающего ордер в участок?.. Нет, только при личном почине, личной любви, личной милостыне почует над нею тайна и благословение. Так же и в искусстве и во всем. И никогда чиновник от академии, цеха, общества не подыметься выше мертвенной обезьяны настоящего искусства. Бойтесь прогресса...

— Милостивый государь, — выступив вперед, протрещал басом второй помощник председателя и положил скелетику-оратору на плечо свою огромную кисть с перевившимися, как у уродливой репы, пальцами...

— Нам ясна, вполне ясна ваша омерзительная платформа...

— И у нас, — распетушившись, всюю кричал скелетик, — пока будут официальные (вот слово, вот слово) командировки по благим делам, будут получаться лишь жалкие фарсы!

На этом оратор кончил свою речь и принялся было восторженно раскланиваться, как любимый комик, перебегая из одного конца сцены в другой, как был грубо схвачен за шиворот и переброшен за кулисы вторым товарищем председателя, потерявшим от переполнившего его волнения, бешенства и возмущения все свои благородные чувства и высоко интеллигентное воспитание.

В зале воцарилось странное молчание; все чего-то ждали от председателя, с которым в момент этого последнего происшествия сделался острый припадок тика, что, казалось, было весьма небезопасно для его слабой структуры.

Но, к общему благополучию, в этот острый по своей неопределенной напряженности момент, поборов свои личные чувства, сравнительно твердой походкой из-за кулис выступил второй помощник председателя. И заседание продолжилось.

Вдова Сверчкова с чрезвычайной готовностью опять появилась на возвышении. За несколько минут перед тем недоумевавшая было, что ей надлежало предпринять, она в бесчувственно любопытствующей раздумчивости следила, как маленькая суетливая мышка, как бы шая, не без лукавства перебегала по впалой вдовьей грудной клетке, как по лесенке, и по шейному позвонку в череп и, как маленькая шалунья, то мордочку, то хвостик высовывая из глазных впадин и из ноздрей, словно говорила: «А я тут, а я тут».

.

— ...Египетские царицы и востоковедение...

— Мы уже слышали это, — резко обрывает ее второй председатель.

— Ближе к делу и больше сжатости... есть много очередных дел не меньшей важности...

— К соседскому, значит, кучеру... с высоким сознанием и проч. ... я возлегла на то греховное ложе и вскоре к нему приблизились сам господин студент... — тут следовал не вполне ясный и не совсем цензурный рассказ о чувствах, впечатлениях и о звуках, после которого опять последовала от помощника вынужденная просьба о сжатости. — ...Так что во всем господин студент виноваты, они изволили говорить, что я и с мумиею известной прекрасной египетской царицы имею некоторое общество и что кости мои имеют в себе особые возбуждающие ароматы...

— Следующий... Потомственный почетный дворянин Секретарев.

III

На думских часах минутная стрелка на пяти, часовая
подползает к двенадцати

Звуки скользящих конских копыт, вздохи рессор под тяжестью усаживающихся и удаляющийся рокот. Чад от фонарей, что у подъезда, первые редкие и медленные облачки снега кружатся, как в балетной постановке... Пронзительный холод без ветра. Давно увезли все листья, вымели тротуары и дорожки за оградой...

— Помилуйте, таких лиц нет, каких нам автор представлял в своей пьесе, — сильным голосом говорил господин в потертой шубе, — разложился, рассыпался, как противно! Это не иначе, как автобиографические черты.

— Какой ужас!.. туберкулез — это уже смерть, при туберкулезе нельзя иметь своих мнений? Нелепость!..

Газовый фонарь освещает мертвенное лицо молодого человека с зелеными глазами и с верхним рядом порченных зубов, сильно выдающихся наружу...

— Что за пьеса? Ложь! Женщины должны всегда показываться прекрасными. Извозчик, в Гродненский переулок!

— Можно подумать, что расходятся после представления «Ревизора» или «Горя от ума»!..

— Тетя Катя, а мне так больше всего понравился вор: такой душка, такой джентльмен! Ужасно люблю джентльменов!

— Едем, дитя мое Машенька, вы и ножки промочили, и личику вашему, должно быть, холодно, едем.

Квартира у Машеньки была богатая, в каждой комнате по кошечке мяукало, и кошечки были не простые, а ангорские, с повязанными яркими цветными бантиками. Много платьев было у Машеньки дорогих и шикарных, абажурчики на лампах с феями и наядами, ширмочки на окнах, рамочки и картинки — все это было куплено в аристократическом магазине Александра и в других не менее аристократических магазинах столицы...

Машенька, как достигла совершеннолетия, вступила во владение богатым наследством, завещанным ей дедушкой и о ту пору вместе с ним отыскала провалившуюся куда-то тетю Катю, под присмотром которой и обмобилировала свою квартиру. Тетя Катя при этом руководствовалась своей памятью, вспоминая обстановки родственников и знакомых домов, в которых ей приходилось бывать.

— Смотрю я это, Машенька, на квартиру нашу, — говорила тетя, — всё в ней, как у кума моего, покойного полицмейстера, — восхитительно, все в ней куплено у Александра, как и у Авдотьи Михайловны, умнейшей женщины, — женою была знаменитого врача... И вот, не хватает только к камину голубого экрана с саблями, какой был у штабс-капитана Мыльников, храброго военного, который мне за услуги золоченый с цветочками подстаканник подарил.

В этот вечер Машенька, как только возвратилась из театра, даже не развязывая лент у шляпы, упала на диванчик и вдруг залилась смехом, таким дробным, со взвизгиваниями, смехом...

Тетя Катя сейчас же спросила, с чего это она так развеселилась.

— Я, я, — отвечала Машенька, — я, я, ха-ха-ха, хи-хи-хи... влюбилась...

— В кого же, Машенька? ума не приложу, в кого, дитя мое милое? В Косточкина? ветреный человек и чахоточный. В Жеребцова? Совсем бы ничего мужчина, да у него, милочка ты моя, видишь ли, как мне Касаткина рассказывала (верить ей, или не верить) болезнь нехорошая. В Раковкина Колю? Так у него, бедненького, язвочка в желудке.

— Хи-хи, ха, — заливалась Машенька и наконец, вскочив с диванчика, торжественно объявила, что влюбилась во всех троих разом. А что больны, так это — пустяки: денег много — всех вылечит, всех купит, всех обмоет и прикажет к себе привести, потому что — жить хочу, Катенька, жить хочу и не мешчанской пошлой жизнью, а настоящей, как аристократка!.. — окончила Машенька и закружилась по своей уютной гостиной, где все было, как у кума полицмей-

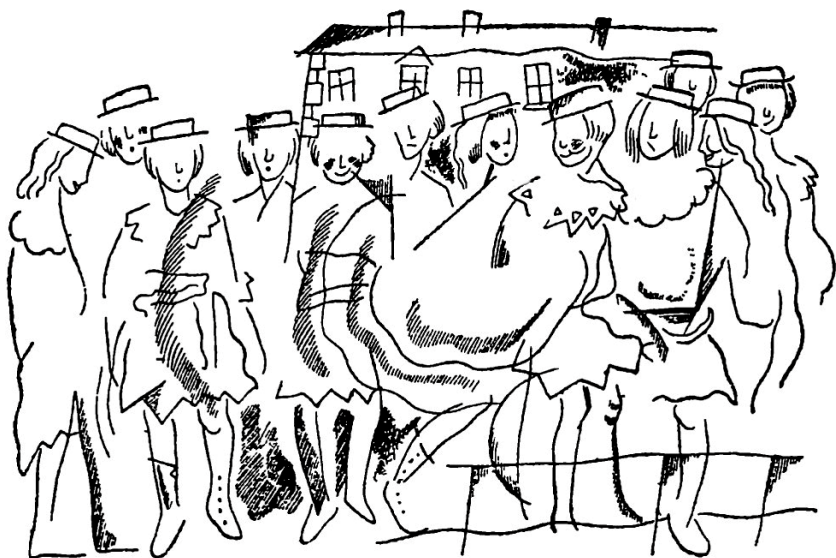
зра, а теперь и экран с саблями, как у храброго штабс-капитана, который тете Кате за услуги подарил золоченый с цветочками подстаканник.

Часовая стрелка переползла за двенадцать, смиренные труженики уже спали тяжелыми снами: кто храпел, кто хрипел, были и такие, что свистели, как вскипевшие кофейники. Их окутывали замусоленные одеяла и стуженный, удушливый, комнатный воздух. На пронизывающем холоде в резкой осенней ясности за решеткой Летнего сада вытянулись к небу оцепенелые, ровные, как на картинах ранних «примитивов», черные стволы деревьев с сеткой, спутанной сложно, как у Сомова, хлестких веток. Безумный и бездарный поэт, остановившись в боевой позе у перил Фонтанки, предался осенней тоске всеми своими гадкими внутренностями. По Марсовому полю, корчась и горбясь, вышагивали, торопясь, два скелетика: один из них был, как в начале этого рассказа, знакомый уже нам Секретарев, а другой с ним на этот раз был тот букинист в крылатке и с облезлой тростью, что на собрании произнес свою гениальную речь, после которой от необычайных волнений и сотрясения лишился рассудка и теперь уж окончательно и навсегда.

— Дело в том, учитель, — продолжал, по-видимому, давно начатый рассказ Секретарев, — что эта девочка была очень миленькой девочкой прежде... Я думаю даже, что она имела общение с ангелами... словом, мистический это был ребенок... мистический, учитель, это верно. Мне кажется, что это определение самое лучшее для нее... Представьте себе, учитель, осенний день, ясный осенний день, очень, очень ранней осенью... Пожелтевшие листья таинственно шумели в Летнем саду. Играла музыка прекрасную «Пиковую даму»... Представьте себе, учитель, теперь маленькую девочку, совсем маленькую, лет тринадцати, с косичками,

в коротенькой юбочке и с полненькими аппетитными ножечками, хи-хи-хи-хи-хи, не могу-с удержаться... грешный мертвец, грешный, каюсь... Но хотя мой рассказ совершенно не нуждается в сих эротических подробностях, я не могу удержаться от приведения оных. Прошу прощения, учитель. Девочка эта совершенно невиннень... виноват, невинная... простая, трогательная девочка... Входит в сад, переполненный праздничной гуляющей толпой... Робко пробирается сторонкой сквозь эту толпу (день ясный-ясный, и яркое такое солнце, музыка играет «Пиковую даму»). Девочка эта торопится отыскать свою маму и дедушку, которые ее дожидаются. Вдруг (почему это делает, не знает) она оборачивает свой взгляд в ту сторону, где сад выходит на Фонтанку, и видит, там у перил стоит двенадцать (не больше, не меньше, как двенадцать) пансионеров в белых платьицах (есть такие пансионеры — целиком в белых платьицах) и тринадцатая — это пожилая дама-наставница, или надзирательница; больше ничего. Музыка играет «Пиковую даму»... Но вот необыкновенный момент: что-то приковало девочку к этим пансионерам, и она остановилась, таращит свои невинные глазки на пансионера, как вдруг все они, словно по чьей-нибудь команде, обертываются, и эта девочка видит, что они... что они — слепые, эти пансионеры — все до одной слепые. Не правда ли, учитель, все это в высшей степени странно, почти мистично, не правда ли? Затем девочка бежит к родителям. Сцена эта произвела на нее неизгладимое впечатление, она плачет, плачет, а ночью она дает обет Боженьке, как разбогатеет, построит дом призрения слепых... Она знает, что ей оставит богатое наследство ее дедушка, она плачет... хи-хи-хи. Вот прошлое теперешней богатой наследницы, торопящейся погрязнуть в разврате. Прошрое — интимное, известное одному ангелу-хранителю этой девочки, от лица которого через наше общество мне и поручено теперь ее предостеречь...

— Общество — враг частному почину, общество, цехи, — бормочет безумный скелетик, сжимая крепко свою облезлую трость.



— А? Что вы говорите, учитель?.. Так вот, мне препоручено ее предостеречь от той жизни, которую она хочет вести под подстрекательством старой своей тетки, развратницы и сводни... Вот их дом... Учитель, я должен предстать перед нею в очень жутком виде и грозно, глухим, загробным голосом произнести краткую речь. Глухим, загробным хе-хе, как в романах разных пачкунов, которые уверены, что мы говорим глухими и особыми «загробными» голосами. Нас будто из-под земли слышно... вот идея! Я скажу: «Дитя мое, Машенька, тот путь, на который ты стала — есть путь мерзкого разврата и проч.». Ха-хи-хи. Учитель, чтобы мне не было страшно, войдите со мною и в дом... Я-с высоко ценю ваш талантливый протест против всяких официальных назначений... Я ваш смиренный поклонник, великий учитель, но напомним вам еще раз, что это мои побуждения, мои добрые, благородные побуждения. И отныне я хочу исправиться и вести хорошую смерть.

Тут они вошли в дом... Секретарев, еще будучи на лестнице, единственно для большего эффекта расстегнул жилетку, чтобы, по его словам, видна была грудная клетка...

Достигнув требуемой площадки, Секретарев французским ключом, переданным ему обществом, отпер двери и хотел уже было галантно вперед пропустить «учителя», как увидел, что маленький скелетик, сев на одну из ступенек лестницы, по-видимому, не имел никакого желания скоро подняться с нее. Как ни увещевал его приятель войти в комнаты Машеньки, лишившийся ума скелетик только усиленно мотал головою, шепча все то же: «Общество — враг частному почину, и пока у нас будут официальные (вот слово, вот слово!)...» И так до бесконечности.

Наконец, отчаявшись и махнувши на него рукой, Секретарев пошел к Машеньке один.

Через окно в спальню Машеньки светила маленькая, но все же достаточно светлая осенняя луна, теплый воздух здесь был пропитан фиалковыми духами, Машенька уже успела крепко уснуть и, что называется, разбросаться по своей кровати, похожей тоже на ту кровать, какая была в спальне Катиного кума, полицмейстера.

Секретарев сперва от растерянности прокашлялся таким подобострастным, прохиндейским кашлем; потом, сообразив, что так он может пробудить от сна вместе и других, совсем ненужных лиц, возбужденной костяшкой прикоснулся к розовому стеганому одеялу...

Машенька глубоко вздохнула и открыла глаза.

— Дитя мое, Машенька, — начал дрожащим вместо того, чтобы глухим, пискливым голоском Секретарев.

Она протерла глаза...

— Дорога, которую вы себе избрали, — есть презабавленькая, но... но ужасна она, моя милочка, по своим последствиям.

— Ах, какая прелесть! — сонным голоском воскликнула Машенька.

Секретарев растерялся, голосок его еще сильнее задрожал и задрожали с ним вместе все связки и костяшки...

— Я пришел с того света...

Машенька взвизгнула, поднялась и села в кровати.

— С того света, я — мертвец... — продолжал Секретарев теперь уже совсем перетрусившим голосом.

— Ах, какой душка! Ах, какой душка! Тетя Катя, тетя Катя! — восторженно лепетала Машенька.

Тут Секретарев не выдержал больше и решил бежать.

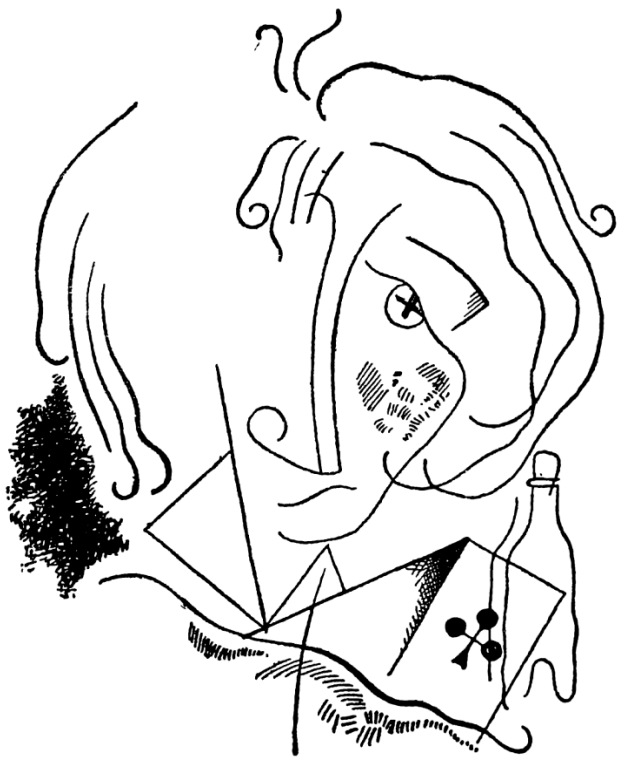
— Куда вы?! — кричала ему вдогонку Машенька.

— Тетя, тетя, ко мне забрался вор, джентльмен: совсем, как из романа! Душка, вор-джентльмен, обрядился мертвецом... поймай его, тетя, слови! Я хочу его!..

Будь луна не так высоко, верно, видно было бы, как она смеялась, когда по Фонтанке бежали два мертвеца, теряя по пути свои кости. Городовые спали и потому не раздавалось никаких свистков, кругом было тихо. Был, кроме луны, еще один свидетель этого состязания в беге, — молодой кутила с заломленным котелком, но так как он был весьма в нетрезвом состоянии, то он и не возымел желания ни смеяться, ни ужасаться. В еще начале ему показалось, что это были воры, ограбившие его квартиру, но так как он находился еще в том состоянии, что мог сообразить, что до его квартиры далеко и что к тому же есть много других квар-

тир побогаче, как, например, у его кредиторов, то, вполне успокоившись, продолжал свой путь дальше.

Сентябрь 1915 г.



Юрий Юркун

НЕИЗВЕСТНАЯ МАШИНА

Я знал многих любителей отыскивать везде таинственное и, преувеличивая его, позировать на загадочность, но к людям этого сорта я бы никогда не причислил Павла Бурнайтиса, веселого, полного, румяного. Он был веселым малым, всегда коновод спортивных игр, душа прогулок, экспедиций, но что касается разных планов, мнений и споров — безызыменный «адвокат дьявола», поэзии — враг, мистике и таинственному — еще больший, а «гамлетовщину»... не поддается описанию, как он ее ненавидел.

В годы, когда мы оба учились, нас связала дружбой одна скамейка. Гимназию Павел окончил раньше меня и, получив возможность осуществить свое давнишнее желание путешествовать, поспешил в Египет и дальше, в глубь Африки.

Так я забыл его, он меня, но как-то раз, лет шесть тому назад, будучи вызван в Париж по делу, не совсем подходящему для описания здесь, я, к крайнему моему изумлению, в кафе на улице Lafitte встретил много лет невиданного мною Павла Бурнайтиса.

Подсев к столику моего друга, сплошь уставленному тарелками и бутылками, я постарался задать Бурнайтису как можно больше вопросов. Объездил он полмира, но не мог сказать, чтобы этим был доволен. Во многом он разочаровался, изменил многие мнения, взгляды...

— Нет, — сказал он, — в конце концов, я склонен признать Гамлета не вечно больным, страдающим от несварения, а просто лишь мальчиком, мальчиком в том возрасте, из которого все мы не сможем еще долго выбраться.

Я шире раскрыл глаза, Павел же, бросив на стол газету и закулив сигару, так продолжал:

— Мы, цивилизованные люди, глубоко ошибаемся! — Бурнайтис рассмеялся. — Аэропланы, электричество! Чего это стоит? В конце концов, мы без помощи проводов сможем преспокойно беседовать друг с другом, находясь на раз-

ных концах земли. Но чего это стоит? Когда мы знаем самих себя меньше, чем систему простейших часов! Хотите, я вам расскажу ужасную историю? — он понизил голос. — И пусть это послужит доказательством тому, как, зная в совершенстве соотношения винтов, рычагов и колес в любой сложной машине, мы беспомощны объяснить себе большинство явлений, происходящих в нашем организме, не говоря уже про душевные.

Он выпил воды и, став наружно более спокойным, принялся за свой рассказ:

— Во время своих путешествий, года три тому назад, я попал к одному знакомому, даже дальнему родственнику, немцу, имевшему кофейные плантации в Африке. Там-то и произошел тот странный случай, о котором я хочу тебе рассказать.

У меня не было ни намеренья, ни желанья изучать особенности страны и ее жителей, я просто жил и отдыхал в обществе друзей. Дни проходили за днями, и скука моя разнообразилась лишь посещениями изредка рабочего поля да вечернею беседой за ужином, когда говорили о Германии, России. Ничто, собственно говоря, не требовало моего долгого пребывания в колонии, но я продолжал сидеть да сидеть, обласкиваемый скучающей парой хозяев. Прожил я так около месяца, как вдруг перед самым моим отъездом случилось происшествие, которое заставило очнуться сонливых тружеников, а в особенности лентяев-негров.

За пять миль от плантации, где я гостил, находилась маленькая деревня, бывшая родиной многих работавших на полях Коха. Случилось так, что в этой деревне кто-то праздновал свадьбу. Тотчас же все негры, родственники и знакомые молодых, а то и совсем посторонние, стали проситься у хозяина на торжества. Конечно, тот, не найдя никаких причин отклонить их депутацию, мало того что принял ее, но даже решил поехать туда и сам, чтобы ознакомить с обычаями диких своего друга — меня.

Ничто не изменилось в обычаях негров, описанных старыми романистами: по-прежнему танцуют они вокруг пирога, по-прежнему поют свои дикие песни... На меня их сва-

дба произвела впечатление циркового спектакля.

С торжеств мы вернулись совсем в полночь; вслед за нами мало-помалу стали сходиться и негры, растянувшиеся в длинную цепь по дороге. Долго они еще не могли успокоиться, распевая и танцуя на радостях от виденных радостей. Благотельный Кох, довольный своими благодеяниями, все же степенный и строгий, объявил работы завтра (ну, так и быть) часом позже.

Красивы эти работы, когда на них смотришь со стороны. Кусты, между которыми двигаются черные тела, пальмы, насаженные специально кругом, чтобы предохранить кофейные деревца от солнца, — все это так занимало меня, что, случалось, я просиживал до самого обеда, возвращаясь вместе с хозяином.

На следующий день за обедом к Коху явилось двое негров, обеспокоенных отсутствием одного из своих товарищей, — о чем и пришли доложить. Со вчерашнего дня Музаки (имя пропавшего) так и не приходил. Кох хотел было послать за справками в деревню, но этого делать не понадобилось, потому что Музаки вскоре явился сам. Его в наказание другим выпороли. Тут, казалось, делу и конец, но сам Музаки понял это иначе, а именно, за начало. Сойдя со скамейки, на которой его наказывали, он перед всеми неграми, столпившимися вокруг и улыбавшимся, казалось, на все мирские события, поклялся непременно отмстить тем двум негодьям, которые обеспокоились его отсутствием. Все много, смеялись до самого Коха включительно, потому что Музаки знали за человека крайне доброго и смиренного.

— Просто от порки ударила кровь в голову, — хохотал немец, будто сказав что-то необыкновенно остроумное.

После обеда занятия пошли своим чередом. В то время, как негры сейчас же принялись за работы, я, Кох и его жена, сидя в тени пальмового сада, беседовали о скором моем отъезде, как вдруг наш тихий отдых был нарушен встревоженным появлением одного из надзирателей.

— Умерли, Herr Кох, те два негра, те самые, которым пригрозил Музаки. Оба свалились вдруг почти одновременно...

Поднялась канитель. Музаки сейчас же арестовали и заперли в погреб. Умерших перенесли в сарай на их же постели. А Вальтер Кох, боявшийся все же последствий за самовольную расправу с Музаки, который не был рабом, решил тотчас же из города, хотя и находящегося в сорока милях, привести немедленно следственную власть.

Так как даже для тамошнего климата все те дни были особенно жаркими, то трупы начали разлагаться необыкновенно быстро.

Трупы по распоряжению Вальтера Коха оставались в сарае, где находились и прочие негры. Скоро нестерпимый запах и ужасный вид убитых заставил рабочих потребовать от хозяина, чтобы умерших похоронили, не дожидаясь следственной власти, которая, по-видимому, не спешила на плантацию Коха. В горах выкопали могилы, поставили кресты; так как Музаки отрицал свою виновность, приехавшие власти приказали умерших вырыть.

За всеми этими событиями я следил и очень ими интересовался, а потому, конечно, пошел на раскопки могил.

Когда первый ящик вынули и сняли с него крышку, мы хотели сейчас же перенести тело на приготовленные вблизи доски, чтобы начать вскрытие, но едва один из докторов нагнулся к ящику, как сейчас же выпрямился и, обернувшись к нам, воскликнул: «Боже мой! Кто же это сделал?»

Мы ничего не могли ответить, даже просто сказать что-нибудь, а только молча смотрели, не двигаясь, на открытый гроб.

Мертвец, уложенный в обширный ящик несколько дней тому назад, уложенный по всем правилам лицом вверх, со сложенными на груди руками, — лежал теперь весь скрючившийся как-то дико, необыкновенно извернувшись. Руки его были искусаны, глаза, начавшие гнить, буквально вылезли из расцарапанных орбит, щеки и все лицо было разодрано ногтями, и весь этот негр с разорванным на теле платьем, с ужасными ранами, облипший весь кровью, песком — представлял собою ужаснейший кошмар, которого я не смогу никогда забыть. Вскрытие и второй могилы подтвердило неоспоримо факт воскресения в земле обоих мерт-

вещей. Второй негр был очень сильным, и ему удалось совершенно разломать свой гроб, но вид его самого был все же менее ужасен. Лишь ноги и руки с необыкновенно напряженными мускулами сжимали скрючившимися пальцами доски сокрушенного ящика.

Состоявшееся вскрытие трупов не обнаружило в желудках и крови обоих негров никаких признаков яда. Двум врачам не оставалось ничего, как констатировать случай пробуждения от летаргии в могилах. Но разве в таких случаях спящие разлагаются?

Бурнайтис, я видел, закончил рассказ и взялся за газеты, отыскивая в них что-то, как я решил, для меня.

— Из этого ты сделал вывод, — сказал я ему, усмехнувшись, — что люди вообще не умирают — так, что ли?

Он покачал головою и, пожав неопределенно плечами, ответил:

— Из этого я сделал вывод, что многие, и даже, если хочешь, все люди, всякие (чуть явится затруднение объяснить) загадочные случаи и происшествия, тотчас же не постесняются назвать глупостью и станут смеяться в лицо. Ах, милый, нет ничего легче, как смеяться!

— Но помилуй, — возразил я, — ведь этот Музаки, несомненно, отравил их и отравил каким-нибудь хитрым средством.

— Они разлагались, а в земле ожили. Нет, Музаки был ни при чем. Я за его невинность могу ручаться.

И Бурнайтис, отыскав нужное место в газете, протянул ее мне.

— Этот случай, — сказал он мне, указывая на заголовок «Загадочное происшествие», — прочти его — ужасен, и что ты скажешь о нем?

Вот что я прочел:

«В ночь с 5-го на 6-е октября из мертвецкой больницы N были кем-то выкрадены останки умершего от брюшного тифа германского подданного Иоганна Штихельса. Все в больнице крайне изумлены этим весьма загадочным происшествием» и т. д.

— Дело в том, — сказал мне Бурнайтис, когда я окончил чтение, — что этого Иоганна Штихельса я лично знал. Выкрали его труп с 5-го на 6-е, а 6-го, т. е. вчера, я его в два часа дня повстречал на вокзале, разговаривал с ним...

Очевидно, я глядел на Бурнайтиса довольно выразительным взором, так как он сердито бросил на стол деньги и, смяв в кармане газеты, не попрощавшись со мною, поспешно вышел из кафе.

1913 г.

Валентин Франчич

МАЛЕНЬКИЙ НГУРИ

Илл. С. Лодыгина



Глава 1-ая

Тревога

Нгури сидел на берегу реки и следил за тем, как старшие братья его, — Тамбэ и Мфанго, — ловили рыбу.

Он еще не принимал участия в их работе, ибо находился в том благословенном возрасте, когда целые дни проходят в беззаботных шалостях и играх, и когда солнце, лес, цветы и звери облачаются в таинственную дымку неясной детской фантазии.

Рыб было поймано много — они лежали на дне большой плетеной корзины, беспомощно раскрывали рты и били хвостами, изредка подпрыгивая вверх и шлепаясь с легким плеском обратно.

И это было так занимательно, что Нгури не мог отвести взгляда. Даже бабочки, целыми тучами летавшие над цветами, не привлекали его внимания и безнаказанно упивались сладким цветочным соком.

Иногда, взяв обеими руками наиболее неутомонную рыбу, Нгури с любопытством и некоторым страхом смотрел на то, как поднимались жабры и извивался гибкий серебри-

стый хвост, с удовольствием ощущая в руках трепет скользкого и холодного тела.

Когда же рыбе удавалось выскользнуть из черных ручонков и снова упасть в корзину к своим товаркам, то мальчик издавал восторженный крик и, растопырив пальцы, смотрел с таким удивлением, словно увидел смешное и удивительное привидение.

Нгури просидел бы так, пожалуй, вечность, если бы не громкий треск барабана, внезапно донесшийся из деревни.

— Это Цампа! — сказал Тамбэ, только что вытянувший с братом на берег невод.

Цампа, — присяжный барабанщик, — бил в барабан только при объявлении войны или для передачи важных новостей.



И Нгури знал это. Мгновенно забыв о рыбе, он стрелой помчался в деревню, местоположение которой намечалось рощей длинностовольных и веерообразных пальм, четко вырисовывавшихся на фоне полуденного неба.

Толстый добродушный Цампа с круглым, жирным, лоснившимся на солнце лицом ходил взад и вперед перед королевским дворцом, если так можно назвать строение с украшенным грубыми фресками входом и превосходившее обыкновенную негритянскую хижину только большим размером, и извлекал из своего примитивного инструмента невероятно оглушительные звуки.

Звуки эти, однако, комбинировались самым затейливым образом и представляли своеобразный телеграф, посредством которого даже наиболее глухие деревни племени Бакунда в какой-нибудь час времени узнавали о важных новостях.

Когда Цампа, наконец, умолк, из-за отдаленного холма снова раздался частый тревожный треск барабана: маленькое негритянское государство всполошилось и менее, чем через час, весть о том, что в страну племени Бакунда едет могущественный «белый», облетела все селения...

Глава 2-ая

Приговор

Старуха Ата сидела на пороге своей хижины и в лучах заходившего за пальмовой рощей солнца казалась вылитой из темной бронзы... Вот вернулись с рыбной ловли сыновья ее — Тамбэ и Мфанго.

— А Нгури? — лаконично спросил Тамбэ, принимаясь вместе с братом за незатейливый ужин.

— Нгури не приходил еще!

Только поздно вечером, когда совсем стемнело и летучие мыши неслышно замелькали в воздухе, насыщенном медно-желтым сиянием луны, вернулся Нгури.

Он получил довольно щедрый пинок за бездельное шатание по чужим дворам и весьма скудные остатки ужина, но не огорчился этим, а поспешил уписать все за обе щеки и, усевшись после за хижиной на колоде тамариндового

деревя, принялся воскрешать картины промелькнувшего дня.

Негры любят проводить большую часть ночи на порогах хижин в раздумье; не представлял исключения и маленький Нгури.

Овеянный тишиной и замороженный тихими и разнообразными голосами ночи, он припоминал все случившееся за день. А припомнить было что.

Прежде всего, затесавшись в толпу взрослых, он узнал о белом.

Отзывались о нем самым невыгодным образом, что преломилось в сознании Нгури еще более невыгодно, — детскому воображению присуще преувеличение, — и белый превратился в настоящее злое, страшное чудовище вроде деревянного, раскрашенного, с оскаленными огромными зубами фетиша, стоявшего у входа в королевский дворец.

Потом Нгури видел, как старейшие в племени ходили на совещание во дворец к королеве Мугунзе, а когда вышли, он услышал слово:

— Смерть.

И слово это произносилось всеми толпившимися на улице и перед королевским дворцом, и словно мотылек порхало от одного к другому...

Теперь все впечатления дня приняли какой-то неясный, лишенный контуров характер, и Нгури чувствовал себя среди них, как в обществе призраков.

В лунном сиянии отчетливо вычерчивались силуэты пальм, а ряды слегка остроконечных, покрытых связанными между собой листьями винной пальмы хижин, напоминали семью гигантских грибов.

Тишина нарушалась то беседой, то доносившимся издалека собачьим лаем.

С реки долетали странные, хриплые стоны: это какая-то большая ночная птица кричала в зарослях папируса, который сплошной высокой стеной заградил реку.

Глава 3-ья

Бобалла

Недалеко от того места, где сидел Нгури, в полосу лунного света вышли двое и, остановившись, начали оживленно спорить, причем Нгури слышно было все прекрасно. Это были два молодца, высокие и статные, с рельефно выступающими мускулами ног и рук, кожа на которых в лунном свете блестела, как лакированная. Так как хижина старой Аты была огорожена довольно высокой тростниковой оградой, а говорившие находились за ней, то любопытный Нгури неслышно подкрался к забору и, прильнув глазом к широкой щели, стал смотреть.

Он увидел свирепого, сильного, славившегося своей отвагой Бобаллу и барабанщика Цампу.

Бобалла, несмотря на молодость, уже много раз окрашивал свое тело в красный цвет, что разрешается только тем, кто убил врага.

— Белый будет убит, — сказал Бобалла, — белого убьет Бобалла.

— Бобалла поделится с Цампой. Белый богат, а Цампа — друг Бобаллы.

— Бобалла не враг себе: Бобалла все возьмет себе.

По тому, как действовало заявление бесстрашного Бобаллы на Цампу, можно было предположить, что добрый толстяк рассержен не на шутку.

— Королева Мугунзе уважает Цампу, — прошипел выведенный из себя Цампа.

Дальнейшие слова его были заглушены раскатистым хохотом Бобаллы, от которого, казалось, колебался легкий тростниковый забор, отделявший от собеседников Нгури.

Теперь Нгури было ясно, к кому относилось слово — «смерть», многократно повторенное в толпе перед королевским дворцом, — конечно, к белому.

Не слушая больше спорщиков и одолеваемый сном, он пошел в хижину.

Лежа на циновке и засыпая, он слушал, как брат его Мфанго монотонно и уныло пел:

— На голове короля Эзомбы развеваются перья турако. Нет тропинки в лесу, протоптанной леопардом или тяжелой ногой слона, которой не знал бы Эзомба. Сто леопардовых шкур висят на стенах дворца Эзомбы. Священными амулетами увешана шея Эзомбы. Ни один злой дух не смеет приблизиться к Эзомбе. Но вот умирает Эзомба. Как шелест папируса, в котором бродит вечерний ветер, замирают слова на устах Эзомбы. Жены плачут и плачут верные друзья Эзомбы. И роют две могилы, чтобы обмануть злого духа. И в одной могиле хоронят Эзомбу.

Нгури засыпал и последнее, что еще достигло его слуха — были хриплые крики все той же ночной птицы в зарослях папируса.

Глава 4-ая

Встреча

На другой день, рано утром, приехал белый.

Это был высокий, широкоплечий блондин с кирпично-красным лицом, на котором можно было подметить черты, характеризующие искренность, добродушие и отвагу.

Одет он был так, как одеваются обыкновенно европейцы в тропических местностях: — коротенькие, много выше колен, парусиновые штаны, парусиновая курточка с короткими рукавами, обнажавшими необычайно рельефные мускулы рук, широкий пояс и сандалии на босую ногу.

Винтовка, револьвер и патроны, размещенные в поясе, завершали его внешность.

Приехал он на красивой статной арабской лошади в сопровождении нескольких слуг: повара, переводчика и т. д.

Белый был немецкий правительственный комиссар, и звали его Густав Вернер.

Он соскочил с коня с удивительной для его сорокалетнего возраста легкостью и стоял, опираясь на винтовку, в ожидании королевы.

Вскоре показалась королевская процессия, и одновременно около Вернера, как по волшебству, выросли два стула: для него и для королевы Мугунзе.



Мугунзе несли на носилках, на которых она сидела верхом, свесив необычайно толстые ноги, а в некотором отдалении за носилками следовали женщины свиты.

Королеве можно было дать лет шестьдесят, и она была безобразна так, как может быть безобразна старая и необычайно толстая негритянка.

Но, даже при ее старости и безобразии она, по-видимому, не была чужда некоторого кокетства. Руки, ноги, шея и уши — все было украшено разными диковинными безделушками: кольцами, серьгами, браслетами и амулетами, которые в лучах восходившего солнца отливали всеми цветами радуги.

Безобразно толстые бедра были повязаны куском узорчатой и дорогой ткани, а голова чалмой, из которой торчали красивые пестрые перья турако.

В нескольких шагах от того места, где стоял Вернер, носилки остановились, и королева уже пешком, покачивая отвислыми грудями, степенно пошла ему навстречу.

— А! Ца-Зенга, — сказала она Вернеру, в свою очередь шагнувшему вперед, и заключила его, не целуя, в объятия.

Потом оба сели, и началась беседа. Королева шепотом продиктовала переводчику вопрос:

— Какие цели преследует европеец в стране Бакунду, — и тот так же шепотом передал вопрос этот на ухо европейцу.

— Белый послан могущественным белым королем, — отвечал Вернер, — с тем, чтобы передать королеве Мугунзе привет и предложение руководить культурным развитием страны.

— Народ племени Бакунду погружен в невежество и упорно отвергает помощь белых, преследуя и даже убивая их: это напрасно! Белые — носители культуры и благосостояния. Кроме того, сопротивление, оказываемое белым людям народом Бакунду, ведет только к его гибели, ибо белые безгранично могущественны.

То, что сказала по этому поводу королева, было полно осторожности и предупредительной вежливости.

Королева Мугунзе приветствует белого короля и сожалеет о том, что народ ее, находящийся в невежестве, совершает иногда поступки, неудобные белому королю.

С своей стороны она обещает внушить своему народу гостеприимство и симпатию к белым.

За все время этих необычайных переговоров толпа, окружавшая королеву и европейца, хранила торжественное молчание, изредка только вполголоса отпуская по адресу белаго то или другое замечание.

Конечно, тут же находился и Нгури, с любопытством таращивший свои и без того выпуклые глаза на белого.

Он был удивлен: белый оказался не тем фантастически безобразным чудовищем, которое нарисовало ему его

воображение, а человеком даже приятным и бесспорно интересным.

Интересно было в нем все: и костюм, и то, как он улыбался, передавая какой-нибудь вопрос или ответ переводчику, и его лошадь.

Поэтому воспоминание о подслушанном вчера ночью разговоре как-то не уживалось с тем впечатлением, которое произвел на него европеец, и вносило диссонанс в настроение Нгури.

Между тем, переговоры кончились; и обе стороны пришли, казалось, к обоюдному соглашению.

Королева была отнесена обратно, а Вернеру и его спутникам отвели просторную хижину, стоявшую совершенно отдельно от других.

До обеда, на который он был приглашен Мугунзе, оставалось еще много времени и Вернер с удовольствием растянулся на тростниковой циновке, покуривая трубку.

В просветы тонких стен проскальзывали золотистые нити солнечных лучей. Слуги его возились около хижины, привязывая лошадей к стволу тамариндового дерева, шутя с несколькими неграми, толпившимися тут же. Легкая полудремота, погрузившая мысли в какую-то зелено-солнечную глубину, овладела им.

Он заснул.

Вернер спал чутко. К этому приучили его опасности, которыми всегда изобиловали его путешествия среди диких племен.

Вот почему, когда вблизи него раздался шорох, он сразу открыл глаза и приподнялся на локте.

Около его ложа, с любопытством разглядывая лежавшее у изголовья оружие, стоял на четвереньках негритенок лет одиннадцати.

Испуг мальчика был так велик, что первое время он не мог двинуться с места и молча смотрел, в свою очередь, на созерцавшего его Вернера.

— Что ты здесь делаешь? — строго спросил белый.

Слова вывели, наконец, негритенка из столбняка и, вскочив на ноги, он хотел выбежать из хижины, но был схва-

чен сильной рукой белого, уже начинавшего забавляться смущением мальчика.

— Садись, — сказал он мягко на наречии Бакунду, которое немного знал, — и рассказывай, зачем пришел в хижину и как твое имя?

— Нгури, — коротко ответил мальчик, продолжая недоверчиво смотреть на белого.

— Если Нгури пришел к белому, чтобы украсть, то это плохо, — вразумительно сказал Вернер.

— Нет!

— Вот как, — и Вернер рассмеялся, — набивая трубку табаком, — не для того, чтобы украсть?

Потом он достал из сумки пустой ружейный патрон, повертел им перед глазами Нгури и спросил:

— Нравится?

Еще бы. Нгури первый раз в своей маленькой жизни видел такой интересный предмет, и лицо его озарилось счастливой улыбкой, а рука потянулась, чтобы схватить заманчивую вещичку.

— Ага — вот где слабая струнка маленького зверька.

И, достав из сумки еще несколько патронов, Вернер высыпал их в протянутую ладонь Нгури.

— А теперь идя и приходи опять!

— Нгури придет, — и мальчик бесшумно исчез.

Глава 5-ая

Танец Королевы

Когда все были сыты (на обеде у королевы, кроме европейца, присутствовали также старейшие в племени и молодые, отличившиеся в битвах с соседями, воины, и утварь, выточенная из кокосовых орехов, была убрана, в зал вошли три барабанщика, — седые старики с сморщенными обезьяньими лицами, — и заняли место с правой стороны у стены перед своими, покоившимися на особых табуретах, ба-

рабанами.

Барабаны были сделаны просто: в отверстие, выдолбленное в тамариндовой колоде, была туго натянута буйволовая шкура.

По данному знаку барабанщики ударили сухую, частую, однообразную дробь и разом смолкли.

И тогда в полукруг, образованный сидевшими на циновках гостями, вошла королева с двумя женщинами, несшими длинную узкую доску.

Снова загремела сухая, быстрая дробь и, уже не смолкая, росла, и одновременно с нею королева начала свою странную, дикую, змеиную пляску.

Она стояла на месте, и длинные, отвислые груди ее подпирали доской служанки, чтобы они не мешали движениям, но живот, зад, мускулы ног жили, двигались и причудливо извивались. И таилась в этих движениях простая звериная страсть самки, темная и глухая, как тропическая чаща, сильная и хищная, как эластичный прыжок леопарда.

Вернеру было странно смотреть это, хотя за десятилетнее пребывание среди дикарей он и привык к их обычаям, и острая, как игла кактуса, тоска уколола его сердце.

Сразу как-то исчезли черные, грубые лица, раздвинулись тростниковые стены, умолк треск барабанов, растаяли и пропали силуэты королевы и служанок, и глазам его предстала далекая родина и милые лица друзей и родных.

Но это был только миг, краткий и случайный, и снова сухая дробь барабанов ворвалась в слух Вернера. А толстая королева безудержно плясала свой странный танец.

В открытую широко дверь дворца текла прохлада: был вечер.

Глава 6-ая

Заговор

В то время, как белый и гости королевы смотрели на ее пляску, Нгури, игравшему со сверстниками, пришла ори-

гинальная мысль: незаметно отделившись от товарищей, он тенью подкрался к хижине Бобаллы и, найдя в тростниковой стене щель, стал смотреть в нее.

Так как было еще довольно светло, и дверь хижины не была завешена циновкой, все было видно прекрасно.

В хижине были двое: сам Бобалла и также знакомый уже нам Цампа.

Они сидели на циновках друг против друга, изредка наливая в кокосовые кубки из стоявшей подле выдубленной тыквы прозрачный, чистый, как родниковая вода, напиток, отливавший в лучах заходящего солнца рубином.

Судя по несколько возбужденным голосам, напиток этот был водкой, перегнанной из сока винной пальмы.

Они оживленно болтали и все чаще и чаще прикладывались к тыкве с драгоценной жидкостью, пока сосуд окончательно не опустел.

Убедившись в этом, Цампа с сожалением щелкнул языком и, опрокинув тыкву, сказал:

— Уга!

Вслед за этим в дверь хижины просунулась черная, курчавая голова мальчишки, в котором Нгури признал сына королевской служанки Мавы — Энгуму:

— Сегодня ночью, когда филин крикнет.

— Да, — ответил Бобалла. — Бобалла знает!

Мальчик исчез.

Смерклось и в воздухе бесшумно заскользили большие летучие мыши.

Они внезапно появлялись и так же внезапно пропадали, чуть-чуть не задевая крыльями курчавой головы Нгури.

Их было много и все они были для него загадками.

Он давно привык считать их сверхъестественными существами и боялся их, как может только бояться дикарь с богатым суеврным воображением.

Глава 7-ая

Нападение

Было темно: ночь густо заткала черными нитями и небо и землю, только около хижины, где остановились белый и его слуги, изредка вспыхивали два слабых огонька: то европеец и его переводчик курили трубки и тихо беседовали.

Но оттого, что вспыхивали и слабо маячили искры трубок — эти намеки на огонь, — мгла казалась гуще и злоеущее и таила в себе неожиданную опасность.

В безмолвии ночи внезапно рождались и множились неувимые шорохи и так же внезапно, как родились, исчезали.

Порой где-нибудь, совсем близко от курильщиков, раздавалось тонкое, звенящее и жалобное жужжанье: бдительный паук, может быть, поймав неосторожную муху и цепко обхватив тельце жертвы мохнатыми лапками, сладострастно сосал ее кровь.

— Мбида не заметил сегодня ничего? — спросил Вернер.

— Нет!

Вернер помолчал немного, разбираясь в нахлынувших на него мыслях. А мысли были тревожные, неприятные, и как ни хотелось избавиться от них, они все же лезли в голову, царапали мозг, заражая его жутью и смутно сознаваемым страхом.

Причина его тревог заключалась в следующем. Совершенно случайно глаза его заметили несколько возбужденное настроение, царившее среди бакунду.

Он подметил, кроме того, несколько многозначительных взглядов в его сторону и это как-то само собой заставило сердце его биться несколько быстрее, чем обыкновенно, а сердце часто бывает точным барометром грозящей опасности.

Вот и все. Теперь, когда природа была обезличена, молчала и жила своей особой интересной жизнью, все эти страхи как бы претворились в действительность и образы, соз-

данные возбужденным воображением, зароились во мгле и заговорили ночными жуткими голосами.

Внезапно где-то далеко раздался резкий крик филина, и было что-то в этом крике, что заставило Вернера вздрогнуть. Он встал и прислушался. Но была тишина, полная шорохов, глубокая и бархатная. И вот, когда прошло еще несколько звенящих мгновений, отмеченных биениями сердца, около Вернера неожиданно выросла маленькая фигурка.

Вернер догадался:

— Нгури?

— Да, — был ответ, и мальчики быстро и тревожно зашептали:

— Белый господин пусть бежит: белого господина убьет Бобалла. Бобалла сейчас будет. Скорей, скорей!

И мгновенно Вернеру все стало ясно. Не теряя ни минуты, он бросился в хижину и, растолкав спящих, объяснил им, в чем дело.

Вмиг все были на ногах.

Лошадям, привязанным к росшему около хижины дереву, также передалась общая тревога и они в беспокойстве заматались на месте, пытаясь порвать привязь и изредка тихим жалобным ржанием нарушая тишину.

Но было поздно. Не успели отвязать лошадей, как из мрака вынырнула одна рослая фигура, за ней другая, и через мгновение Вернер и спутники его были окружены несколькими бакунду.

Все смешались в общей свалке, и казалось, что сами те же ночи схватились между собой, — так неясны и смутны были фигуры борющихся людей, так непроницаемо густо было черное покрывало мрака.

Ни одного выстрела. Работали холодным оружием. И только хриплый стон кого-нибудь из борющихся свидетельствовал о том, что кому-то нанесен смертельный удар.

На долю Вернера пришелся рослый могучий бакунду. Это был Бобалла! Сжав друг друга в стальных объятиях, они катались по земле и шансы их колебались.

То бакунду оказывался наверху, то белый.

И когда бакунду оказывался наверху, Вернер чувствовал, что еще немного и силы его будут истощены, рука бакунду с кинжалом освободится и...

Но Вернер знал бокс. Он знал также, что если ему удастся вскочить на ноги и отбежать немного, победа будет на его стороне.

В один из моментов борьбы он почувствовал, что руки бакунду, сжимавшие его стан, на мгновение ослабели.

Резким движением корпуса вывернувшись из-под него, Вернер вскочил на ноги и отбежал.

Но в следующее же мгновение он снова ринулся на поднявшегося бакунду и нанес ему страшный удар в нижнюю часть живота.

И тот с глухим стоном, широко взметнув руками, повалился замертво на землю.

Между тем, спутники его справились с остальными, отделавшись незначительными ранами, и, отвязав лошадей, торопливо садились на них.

Вернер собирался уже, в свою очередь, вскочить на коня, когда вспомнил о Нгури.

— Нгури! — тихо позвал он.

Из мрака выделилась маленькая стройная фигурка.

— Подойди ближе, — приказал Вернер.

И когда Нгури подошел, он наклонился, поднял его, как перышко, с земли и, посадив перед собой в седло, пустил скакуна вскачь.

Валентин Франчич

СТАСЬ-ГОРБУН

Илл. С. Лодыгина



1

Никто не играл на скрипке так хорошо, как Стась-горбун, и никто не понимал так нежно и глубоко голоса природы, как он. Разве не он сочинил о куме Юзефе веселую песенку, которую односельчане его распевали на всех вечеринках, свадьбах и крестинах? Дар песни был ему отпущен Богом и умение веселить людей, а что может быть прекрасней чистого веселья и радости, которые начинают бродить в душе человека как молодое вино от звуков скрипки и смешной песенки? Правда, некрасив был Стась... Крохотное, обезображенное горбом туловище было посажено на тоненькие, как у водяного паучка, ноги; длинные и худые руки, болтавшиеся по бокам, казались совершенно ненужным и случайным придатком, без которого тело могло бы свободно обойтись, а голова, маленькая и угловатая, как-то просто и нескладно приложенная к несуразному туловищу, ничем замечательным не отличалась, кроме разве глаз... больших и голубых, как озеро в ясный весенний день. Но под безобразной внешностью Стася жила прекрасная душа, которая не любила своего тела и часто улетала из него в страну сказок и радостей.

Очень любил Стася за игру на скрипке патер Сигизмунд — деревенский ксендз; всякий раз, когда проходил мимо избы старой Брониславы, — матери Стася, останав-

ливался, чтобы перекинуться словцом, и замечал:

— Как поживаете, пани Бронислава? А ваш сын в прошлое воскресенье особенно хорошо играл «Ave Maria»... Надо бы его в Варшаву послать учиться...

На что неизменно следовал ответ, сопровождавшийся вздохом:

— Куда уж нам, патер Сигизмунд. Мы люди бедные, и хорошо еще, что с голоду не умираем...

— Да, это верно... Ну, помогай вам Матка Бозка, — заканчивал ксендз и шел дальше. А патер Сигизмунд считался человеком ученым, знал толк в музыке и даром не любил хвалить.

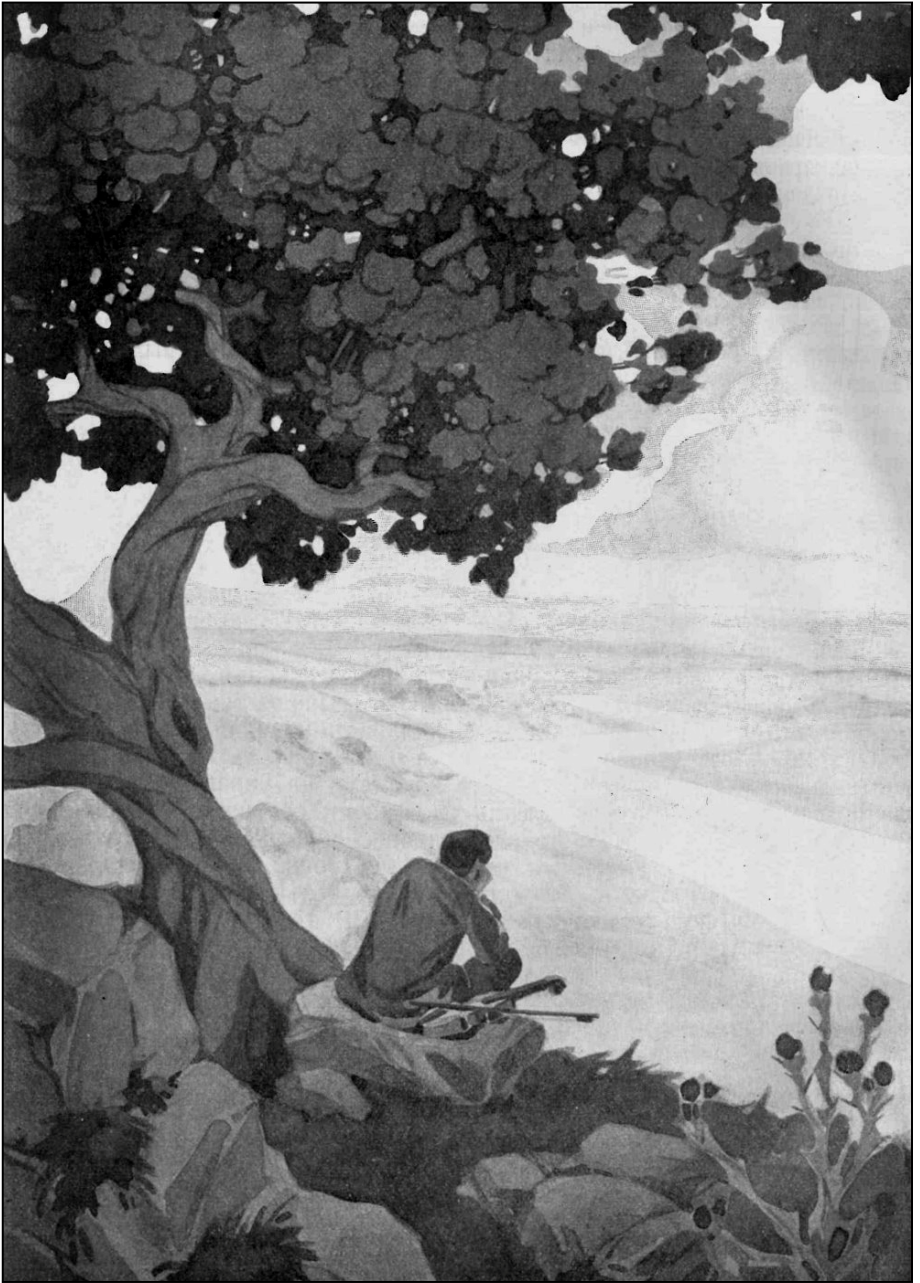
Вот каков был Стась-горбун.

2

За речкой, что протекает возле деревни, на высоком холме дремлют развалины старинного польского замка. Давно прошло то время, когда под мрачными сводами замка, за дубовыми столами, на которых в тяжелых кубках пенился столетний мед, собирался цвет шляхетства Речи Посполитой, когда в дремучих лесах, вырубленных теперь, раздавались звуки охотничьих рогов и на породистых конях в красных раззолоченных жупанах мчались, догоняя борзых, «ясновельможные» паны...

От замка уцелели только стены, массивные, серые; все остальное: крыша, подъемный мост, угловые башни — кроме одной, — рухнуло, сгнило, превратилось в мусор.

Стась приходил сюда со своей скрипкой провожать солнце, и седые стены, по которым скользили алые лучи заката, долго по вечерам слушали нежную, тоскливую мелодию, звуки которой, то усиливаясь, то ослабевая от внезапной боли, уплывали в ясный вечерний воздух, стремясь к далекой черте, за которой исчезал красный огромный диск. Когда же солнце тонуло и наступали сумерки, с болота, что находилось в долине, поднимался синеватый ажурный ту-



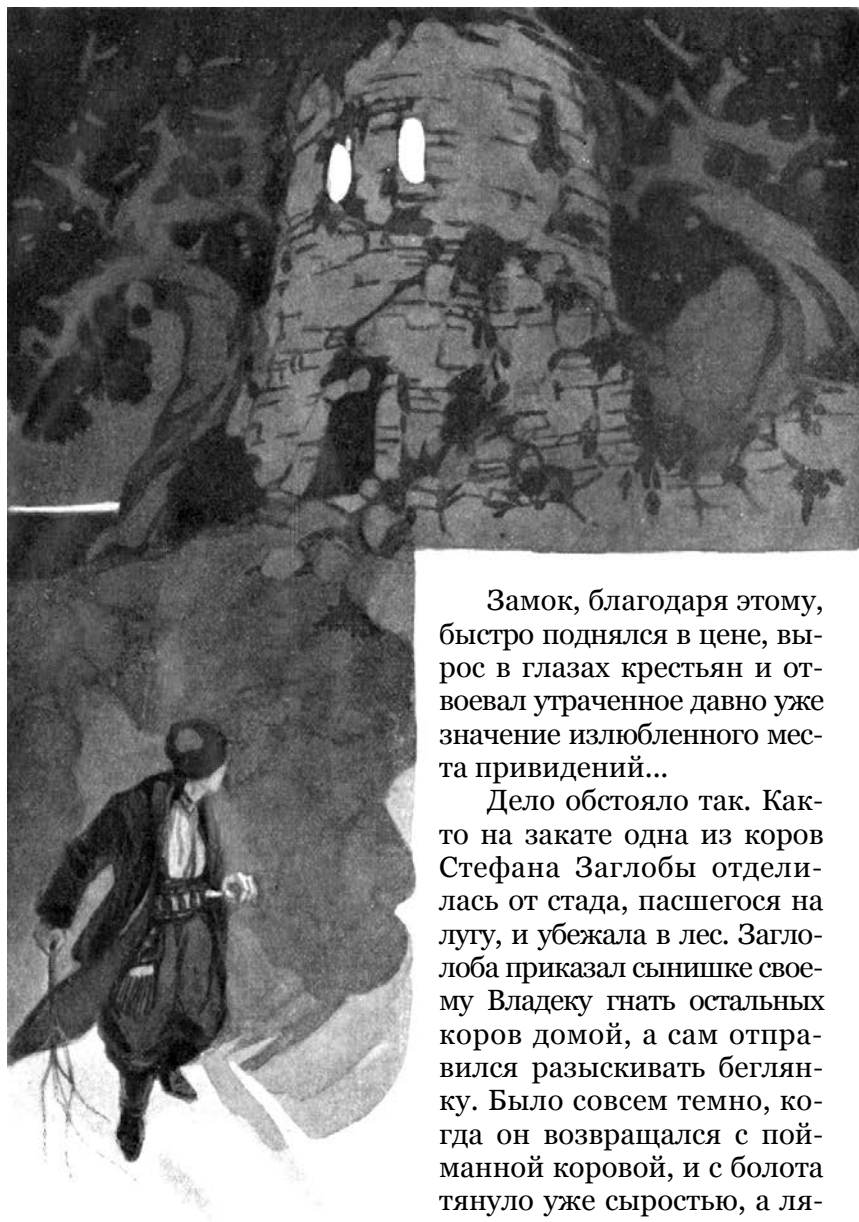
ман, начинало нести прелой сыростью, а в камышах, окаймлявших болото, просыпалась какая то особенная ночная жизнь, томно квакали лягушки, пуская по временам длительную, мелодичную трель, протяжно и жутко кричала выпь...

И тогда скрипка Стася, проникаясь торжественной и мрачной красотой наступавшей ночи, начинала петь серьезно, медленно и печально, и звуки уже не стремились к солнцу, в вышину, как прежде, а низко стлались по земле, припадали к стенам старого замка и глухо рыдали.

3

На границе уже грохотали немецкие пушки и лилась кровь, а в поездах в глубь России перевозились раненые и пленные...

Деревня Стася наполовину опустела: ушли запасные на станцию, чтобы ехать на сборный пункт в сопровождении опечаленных жен и матерей... Но война была еще где-то далеко, и не хотелось верить, что призрак ее молча надвигается на мирное селение, скомкает тихий и дремотный уклад деревенской жизни и раздавит слабых людей, чтобы шагнуть дальше к новым жертвам. И потому скоро все успокоилось, вошло в колею, а война и ужасы как-то тушевались, и только ксендз, получавший из Варшавы газету, был единственным источником сведений в деревне, из которого можно было всегда почерпнуть новое о войне. В костеле по-прежнему шли службы, а Стась, как и раньше, играл «Ave Maria» или веселил смешной песенкой о куме Юзефе притихших обывателей деревни, собирая не столь щедрую, как до войны, но все же достаточную для жизни добродетельную дань натурой и деньгами. Поэтому темный, непроверенный слух о том, что в развалинах замка бродят по ночам привидения, явился громом в ясном небе и сразу приковал к себе внимание и интересы, отодвинув на задний план остальное.



Замок, благодаря этому, быстро поднялся в цене, вырос в глазах крестьян и отвоевал утраченное давно уже значение излюбленного места привидений...

Дело обстояло так. Както на закате одна из коров Стефана Заглобы отделилась от стада, пасшегося на луку, и убежала в лес. Заглобо приказал сынишке своему Владеку гнать остальных коров домой, а сам отправился разыскивать беглянку. Было совсем темно, когда он возвращался с пойманной коровой, и с болота тянуло уже сыростью, а ля-

гушки в тростниках заводили ночную песню. Далеко за рекой приветливо маячили огоньки деревни, четко выделялись черные контуры костела, а совсем близко, на пути Заглобы, высился холм и мрачные развалины старого замка с причудливыми изломами стен на нем. И вот, когда Заглоба, огибая с правой стороны холм, случайно взглянул наверх, он почувствовал, как в жилах его застыла кровь и сердце перестало биться. Там, наверху, вдоль полуразвалившейся стены медленно двигалась черная фигура и не фигура даже, а тень, так смутны и призрачны были ее очертания, такими легкими и воздушными казались ее движения...

Тень, как уверял Заглоба, легко отделившись от земли, исчезла в амбразуре окна, после чего внутри замка вспыхнул призрачный синий свет; потом свет погас, и снова появилась прежняя тень, но уже не одна, а в сопровождении целого сонма других привидений, которые заплясали в воздухе какой-то дьявольский танец, испуская тихие жалобные стоны.

Скрываясь в тени холма, Заглоба дождался исчезновения теней и бросился со всех ног бежать, подгоняя корову хворостиной. И так бежал он до самой деревни, где силы оставили его и он свалился, как подкошенный, не отвечая на вопросы окруживших его односельчан. Белой горячкой нельзя было объяснить случай с Заглобой, потому что шинок Лейбы Соловейчика был давно закрыт, а сам шинкарь со всем своим скарбом уехал в Варшаву — искать новых занятий; общественное мнение поэтому единодушно склонилось в пользу чертовщины, и привидения замка сделались излюбленной темой сельских бесед. К замку боялись теперь приближаться даже днем, а поздним вечером или ночью самый безрассудный смельчак ни за какие деньги не решился бы на это.

Что касается Заглобы, то он, оправившись от испуга и учтя момент, удобный для поднятия своего престижа, принялся варьировать случай с такой игривостью фантазии, что можно было удивиться, где его простой, честный мозг по-

черпнул богатство воображения и способность импровизации.

Чем больше он рассказывал, тем дальше уходил он от правды, и чем меньше в рассказе его было этой правды, тем многочисленнее становилась аудитория. И тени уже не были просто теньями, а вестниками чего-то рокового и неизбежного, ибо Заглоба ясно слышал, что они голосами гневными и страшными восклицали:

— Смерть немцам!

Нет луна или фантазера, который, рассказывая какую-нибудь небылицу, в конце концов — не поверил бы в нее сам. Поверил и Заглоба. И когда слух о происшествии дошел до чутких ушей патера Сигизмунда, последний призвал к себе в дом Заглобу и велел рассказать обо всем подробно.

— Непостижимо! — воскликнул патер Сигизмунд, услышав сказку о привидениях, и на лбу священнослужителя прорезались две глубокие морщины, означавшие, что обладатель их чем-то озадачен.

4

Небо, бывшее последние дни ясным, вдруг заволокли косматые тучи, и стал сеять мелкий, нудный, осенний дождь. Даль поблекла, потускнела; границы горизонта сомкнулись теснее вокруг деревни, а луг, лес и старый замок растаяли в студенистом, тяжелом тумане. И ветер подул.

К вечеру дождь перестал, но ветер усилился, и порывы его начали мощно сотрясать стоявший на краю деревни домик Брониславы, словно пытаясь сорвать его с места и закружить в воздухе, как упавший с дерева лист. Надвигалась осень — серая и грустная, а за нею шли дни зимы — короткие и скучные, ночи длинные и черные. Бронислава готовила ужин, а Стась, сидя на скамье у закрытого ставнями окна, прилаживал к грифу скрипки лопнувшую струну. Вдруг страшный порыв ветра с бешеной силой, свистом и воем ринулся на избу, — где-то глухо хлопнул сорванный

ставень, и из трубы повалил загнанный обратно, густой едкий дым; потом все стихло, языки пламени снова взметнулись вверх, и в наступившей внезапно тишине отчетливо раздался энергичный, резкий стук в дверь.

— Кто тут? — спросил подозрительно Стась, выйдя в переднюю.

— Странник, — отвечал сильный, грубоватый голос, — который застигнут непогодой и просит ночлега.

— Мы люди бедные, — начал было Стась; неизвестный прервал веско и решительно:

— Я заплачу. Неужели и за деньги вы не хотите согреть и накормить человека? — Последняя фраза, проникнутая насмешкой и обидным удивлением, возымела свое действие, и Стась, оглянувшись на мать и прочтя в ее взгляде согласие, отодвинул засовы. Незнакомец оказался человеком среднего роста, плечистым, одетым в городской, но потертый простенький костюм и легкое демисезонное пальто.

Не было в его внешности ничего замечательного. Самое обыкновенное лицо; бритое, без резко очерченных линий; нос был у него неправильный, немного монгольский; лоб широкий и низкий; глаза бесцветные, водянистые; рот большой с сильно выдающейся вперед нижней губой. Но в его, некрупной в общем, фигуре угадывалась большая тренированная сила, а в том, как он шел, — чувствовался хищник, ловкий и беспощадный.

Пока он сидел на скамье, беседуя с хлопотавшей у очага Брониславой — Стась молча наблюдал за ним из своего угла, где, натянув наконец лопнувшую струну, проверял ее тон.

— Играете на скрипке? — спросил незнакомец.

— Да.

— Хорошо?

— Говорят, что хорошо.

— Сам патер Сигизмунд, — вмешалась мать, — очень хвалит игру Стася...

— Ого! — удивился гость, — сам патер! Интересно, однако, послушать, как вы играете. Я кое-что смыслю в музыке.

— Сыграй «Ave Maria», — посоветовала старая Бронислава.

Стась пристально взглянул на гостя, как бы проверяя его компетентность, — потом взял, не говоря ни слова, скрипку, и в тишине, прерываемой только глухим воем ветра за окном, родились нежные, серьезные и благоговейные звуки прекрасной молитвы. И с первой, спорхнувшей со струн нотой Стась забыл все, что было кругом: и гостя, и мать, — и вообще жизнь, и весь погрузился в тайну звуковых сочетаний, таких гибких и мощных, стремительных и медлительно-плавных. А гость слушал, жестами и мимикой выражая Брониславе свое одобрение. Когда Стась кончил, он сказал:

— Очень хорошо. Но школы нет.

— Я окончил только деревенскую, — заметил Стась.

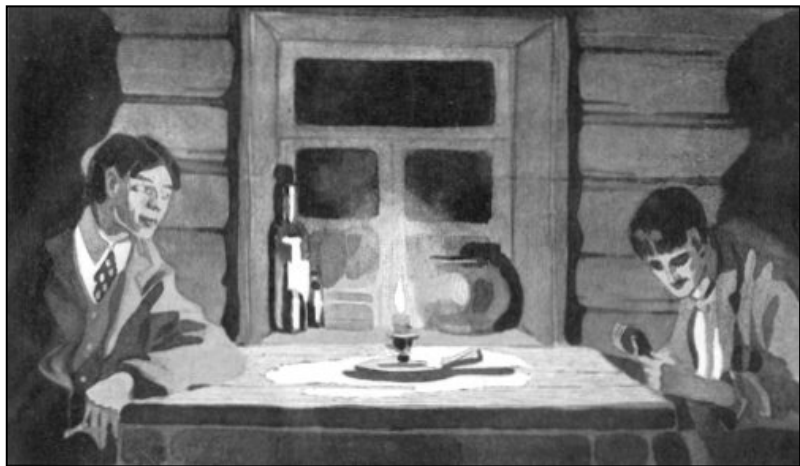
— Не о такой школе я говорю, — мягко пояснил незнакомец, — о другой... Вас как зовут? Станислав? Так вот, видите ли, Станислав, школа, о которой я упомянул, это наука о звуке. Звук, как буква музыкального языка — подчинен также известным законам, подобно слову. Наука о звуковых сочетаниях — называется — гармонией, и это своего рода грамматика. Поняли?

Стась кивнул головой.

— Так вот, — продолжал гость, — эту науку проходят в больших городах — в особых училищах... У вас есть талант, но нет школы... Поняли теперь?

Стась с еще большим любопытством начал всматриваться в незнакомца. Несомненно — это был человек образованный, городской, и казалось загадочным то обстоятельство, что он внезапно появился в этой, отдаленной от железной дороги деревне, неизвестно откуда пришедший и куда направлявшийся. Поужинав, гость закурил папироску и предоставил слово Брониславе, которая рассказала ему и о том, сколько ушло из деревни на войну, и как от этого пошатнулся заработок Стася, и о разных пустяках; когда очередь дошла до привидений, гость заметно оживился, на губах заиграла ироническая улыбка, а в глубине глаз вспыхнул странный огонек.

— Привидения, — сказал он, выслушав, — плод воображения. Мертвые не встают из могил; но, — и лицо его стало сразу серьезным, — в глазах потух огонек, — может быть, в рассказе Заглобы есть правда... А что, если покойники воскресают? Что — если в один ненастный вечер, — на губах



незнакомца засветилась странная, жуткая улыбка, а в глазах снова вспыхнул огонек, — они покинут кладбище и толпами бросятся на вашу деревню?

— Бог с вами, господин, — отмахнулась Бронислава, — скажете же вы такое. — А гость рассмеялся и заметил:

— Я шучу, хозяйка; могу сказать только, что мертвые не встают, что если бы какой-нибудь покойник осмелился меня беспокоить, я с ним особенно бы не церемонился...

Незнакомец исчез так же неожиданно, как появился. Когда утром Стась и Бронислава проснулись, его уже не было, но на столе лежал новенький рубль — доказательство честности гостя. Личность последнего в представлении Стася быстро очистилась от всего земного, облеклась в легкие дымчатые одежды тайны, и уже не человек это был, а дух, который неведомо зачем посетил домик Брониславы. Добрый или злой? Наверное, злой, потому что улыбка у него была острая, колючая, и глаза странно так загорались,

когда он смеялся.

5

День выдался на славу. Уже ранним утром тучи начали медленно сдвигаться, громоздясь одна на другую, а к полудню сочно вспыхнуло солнце, резнув лучами края разорвавшейся пелены, и быстро закурились поля синеватыми струйками водяных испарений. Весело было на душе Стася, когда он зеленым лугом шел к старому замку, и не страшно ему было. «Мертвые не встают» — вспомнил он слова незнакомца; тогда кого же бояться? Неужели этого солнца и этих лугов, жадно пьющих его лучи? Скрипка — душа Стася — соскучилась по замку и одиночеству, — а старые стены, наверное, тосковали по звукам, слушая которые, так безмятежно и воздушно вспоминается прошлое. И вот Стась знакомой тропинкой взбирается на холм, идет среди развалин к любимому камню, на котором так удобно сидеть и с которого так хорошо видны и долины, и солнце, и голубая прояснившаяся даль.

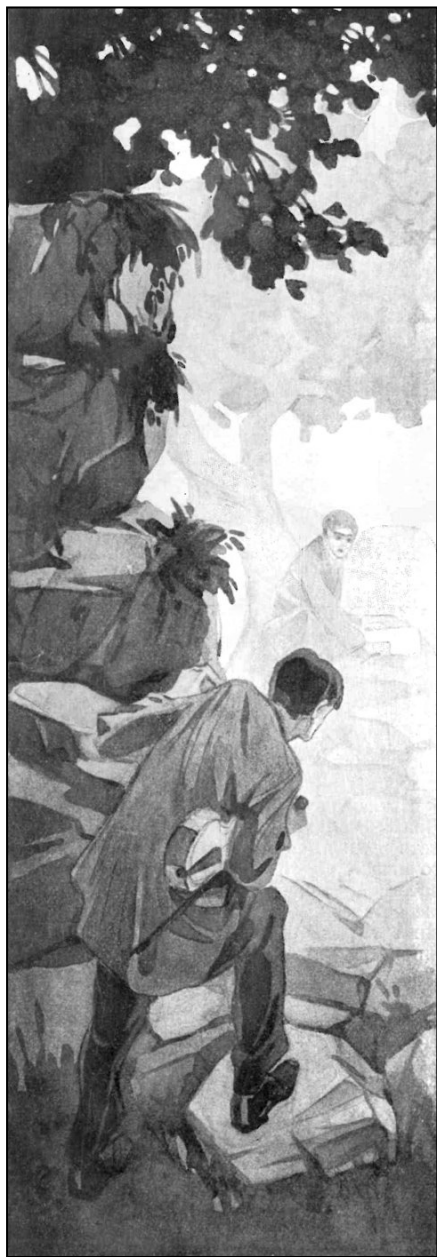
Обогнул Стась стену, за которой находится его камень, и вдруг остановился, как вкопанный: лежит на камне большой лист бумаги, а подле на коленях стоит вчерашний незнакомец и что-то чертит на нем. Услышал шаги, вскочил на ноги, и Стась увидел, как бледно его лицо, как испуганно уставились на него глаза человека... Незнакомец почти сразу успокоился, к лицу прилила кровь, а тонкие, плотно сжатые губы зазмеились вчерашней улыбкой. Повеселел даже.

— Ба, скрипач! — и, шагнув вперед, он протянул Стасю руку, сжав пальцы последнего с такой силой, что тот вскрикнул.

— Это что у вас? — спросил Стась, взглянув на чертеж.

— Это? — засмеялся незнакомец. — План местности. Взгляните, пан Станислав, поближе.

Как ни доверчив был горбун, но при этих словах смут-



ное подозрение закралось в его душу, и стало жутко, как ночью. Странно было уже то, что человек этот оказался здесь в развалинах замка. Зачем ему понадобился план местности? И отчего незнакомец так испугался, когда услышал шаги?

— Это... по-немецки? — спросил вдруг удивленно Стась, указывая на надписи на некоторых пунктах плана.

— Ну, конечно. По-немецки и для немцев.

— Так вы — немец? — и холодок испуга пробежал по спине бедного скрипача. — ...Вы, может быть...

— Шпион? Вы угадали, пан Станислав, — рассмеялся незнакомец, — вот это план местности, по которой скоро пройдут наши войска... немецкие войска, — пояснил он.

Стась хотел бежать, но шпион схватил его за руку и, приблизив к нему свое лицо, низким голосом спросил:

— Неужели тебе, дурачку, не нравится говорить со мной? Или ты хочешь побежать в деревню и прокричать всем уши, что в

замке шпион? Ты не сделаешь этого, дурачок, — и, внезапным толчком в грудь повалив не выпускавшего из рук скрипку Стася на землю, незнакомец принялся его душить.

Несколько мгновений Стась видел над собой лицо шпиона, на котором играла жуткая улыбка, и слышал, как он говорил:

— Ты не придешь ко мне, жалкий скрипач... мертвые не встают...

Потом все исчезло.

Владимир Уманов-Каплуновский

ТЕНЬ ЧЕЛОВЕКА

Из года в год у Лядовых бывала елка.

Сначала шумная, полная звонких, веселых голосов, овеванная заманчивой поэзией раннего детства.

Затем обстановка постепенно становилась более степенной и, следовательно, прозаической, так как сын Федя подрастал; на губе у него уже пробивались черные усики и он сам занимался украшением елочного дерева, исключительно заботясь о гостях «младшего возраста», как он говорил о них с легкой усмешкой. Его эти «мелочи», конечно, не занимали.

Федя не раз обращался и к матери, и к отцу с такими словами:

— Что, право, за охота — возиться с елкой, точно маленькие... Ну, устроили бы одни танцы для моих товарищей!

В конце концов елка начала играть незаметную роль чего-то лишнего, придаточного, но все же с ней не хотели расставаться «старички» (так называл их Федя с некоторым оттенком покровительства).

Вероятно, в ней они видели свою собственную, давным-давно промелькнувшую молодость.

Наконец, наступил период, когда елка зажигалась сейчас же после обеда. Федя посидит с полчаса, как на горячих углях, и уйдет переодеваться, чтобы ехать туда, где ему было веселее (в сочельник ведь столько знакомых именинниц и у каждой тоже елка, но гораздо интереснее домашней!).

Тем не менее, Лядовы не изменяли своему обычаю.

Раз Федя (тогда уже студент последнего курса) ушел с утра и совсем не вернулся к елке.

Это так огорчило мать, что она едва удерживала слезы, а сыну все-таки ничего не сказала на другой день и мужу запретила вмешиваться.

Федя угадал ее настроение и долго извинялся, придумав какую-то приличную отговорку.

Но вот наступила вдруг тяжелая пора: как злой вихрь, налетела военная буря и смяла, словно цветы, молодые жизни. Юные сердца пылко загорелись отвагой и потянуло их на ратное поле биться с австрияком и немцем.

Федора Лядова также увлекала мысль идти на передо-

вые позиции добровольцем (как единственный сын, он освобождался от воинской повинности).

Сперва его дома отговаривали, правда, без яркой убедительности. Он только отрицательно качал головой.

— Не пойду, — другие пойдут! Нынешняя война — освободительная война. Мы вырвем стальные когти, что фабрикуются на заводе Круппа. Политика крови должна быть залита кровью, — увы, ничего не поделаешь! Это — интерес всей Европы.

Было ясно, что его никак не переубедить, и Лядовым оставалось лишь благословить сына на подвиг.

И потекли дни за днями скучной вереницей.

В чтении газет и телеграмм проходила большая часть времени. От Феди не получалось ни строки, и самые грустные предположения невольно зарождались в одинокой квартире Лядовых.

Старик бодрился и утешал, как мог, жену, побледневшую и исхудавшую за эти несколько месяцев разлуки с сыном.

По вечерам они обыкновенно гуляли по Александровскому проспекту, вблизи своего дома.

Длинные ряды заиндевевших деревьев, сквозь которые блестели звезды, тусклые керосиновые фонари улицы и огоньки, мерцавшие в окнах дач, немного успокаивали и располагали к тихой мечтательности. А там, в стороне, за Малой Невкой, вечно пыхтел и гудел громадный завод, дышавший пламенем, и бесконечной цепью лихорадочно сверкали беспокойные огни шумного города.

Иногда и сюда доносился отдаленный гул пробных выстрелов с полигона, и тогда сразу точно что-то обрывалось в груди и становилось жутко.

Как-то, возвращаясь домой по все той же любимой аллее, Лядова бесцельно взглянула вдаль, по направлению ре-

шетчатой ограды и, заинтересованная чем-то, стала всматриваться пристальней в одну точку.

— Что увидела? — отрывисто спросил муж, не выходя из задумчивости.

— Кто-то стоит, будто нас ожидает. Человек какой-то... и не двигается. Нищий, должно быть. Надо ему дать.

Но, по мере приближения к нему, темная фигура постепенно таяла, и на ее месте явственно вырисовывались по снегу стрельчатые тени от чугунной решетки вновь построенного барского особняка.

— Где же твой нищий? — шутливо допрашивал Лядов. — Игра светотени... Тебе все это почудилось.

— Да... странно... Но как отчетливо!..

Будто забыла об этом, но на следующий вечер опять на том же самом повороте уловила такую же тень, как и вчера.

В темной, неподвижной фигуре чувствовалась легкость и воздушность, и вкось от себя она тоже откидывала тень. Ноги были расставлены, как на ходу, а голова терялась в полумраке.

Лядова приостановилась и тронула мужа за рукав шубы.

— Ну, чего тебе еще?

— Вглядишься! Разве это — не человек? — взволнованно заговорила она шепотом, как бы боясь, что ее слова будут услышаны неизвестным.

— Да, действительно... живой..

И снова, когда приблизились, — фигура слилась с отражением на снегу чугунной ограды.

— Это — электрический фонарь во дворе... Видишь, тут сбоку он отбрасывает свет?.. Вот и получается иллюзия, — старался объяснить Лядов то, что казалось необъяснимым.

Потом у них вошло в привычку — наблюдать по вечерам за таинственным появлением и исчезновением человеческой тени. Впрочем, всякий раз старушка волновалась. Причудливая игра света, видимо, влияла на ее нервы.

Незадолго до Рождества Лядовы пригласили к себе погостить девочку — дальнюю родственницу.

Их молчаливые комнаты ожили и огласились беззаботным, серебристым голосом свежей юности. Перед самым сочельником старики и Лиза гуляли вечером по аллее Александровского проспекта, как я раньше.

— А знаешь, тетя, — сказала девочка и замедлила шаги, — он хочет что-то сказать.

— Кто — он? Что ты мелешь вздор! Тут ни души...

— Право, хочет... А я что-то придумала! — не слушая теть, щебетала Лиза, и с этими словами, хлопая рукавичкой о рукавичку, прыгнула вперед, отвесила низкий поклон и крикнула изо всех сил:

— Приходи, темный дядя, завтра к нам на елку.

Нельзя было не улыбнуться такой ребяческой проделке, и старик Лядов много потом смеялся, особенно над женой, которая почему-то рассердилась на Лизу за ее «неуместные шалости». Старушка отмалчивалась и, по-видимому, тревожилась чего-то.

Следующий день прошел в суетливых хлопотах.

Пообедали, потом зажгли елку.

Невольно вспомнили отсутствующего и сидели с влажными глазами, переносясь думами туда, к окопам, где, может быть, в настоящую минуту находился Федор. В точности ведь не знали, где он — в плену или погиб. До сих пор не дошло от него ни одной весточки.

Лиза ничего не замечала и прилежно занималась игрушками.

И вдруг в кухне раздался робкий, дребезжащий звонок. Лядовы вздрогнули, а Лиза лукаво улыбнулась.

— Темный дядя пришел в гости, — пояснила она.

Была короткая минута полной растерянности, граничащей со страхом.

Смущенная прислуга вошла и нерешительно обратилась к барыне:

— Там какой-то человек. Говорит, вы его позвали.

А неизвестный уже стоял па пороге комнаты, кланялся, улыбался и зрачки его узких глаз перебегали с предмета на

предмет.

От него веяло холодам и отчужденностью, и одежда его была полошенная, в заплатках, и щеки у него ввалились, точио он несколько дней ничего не ел.

— Маленькая барышня... маленькая барышня позвала на елку... Я не смел... долго не смел... но огоньки в окошке... я заглянул и не выдержал... я пошел к маленькой барышне... к доброй барышне...

Только со звуками его охрипшего голоса Лядова пришла в себя.

— Да, да... Вот и отлично, что пришли. Мы вас накормим и согреем. А где же вы были, когда Лиза позвала вас?.. Я сослепу-то и не доглядела...

— В сторонке... в сторонке... Я всех вижу, меня — никто... Маленькая барышня тоже всех видит...

И когда ему принесли остатки обеда, он старался медленно есть, чтобы другим было незаметно, что он — голоден.

Лиза принесла ему с елки сластей и еще что-то сунула ему в руку, полученное от дяди (она знала, что это — деньги, но сделала вид, что не догадывается об этом).

Он оставался недолго, смущался и, уходя, сказал:

— Прощайте, добрые... прощай, маленькая барышня... Кто — я? Разве я — человек? Я — тень человека... А был им, был!.. Вы обогрели... И — елка, елка... Там вас не оставят, — при этом он указал на небо, — придут к вам вести... хорошие вести...

Ушел и. утонул в густом сумраке рождественской ночи.

— Бедненький темный дядя! — бросила ему вслед Лиза.

Она была уверена, что тень у решетки и этот ночной гость — одно и то же лицо.

Впрочем, было любопытное совпадение: чугунная ограда уже не отражала больше прежней человеческой фигуры.

Лядов опять нашел удачное объяснение: дворник особняка, очевидно, когда чистил фонарь, — повернул его вкось, и лучи снега уже преломлялись в иных линиях, под другим углом.

Было и еще совпадение: от Феди, наконец, получилось письмо.

Раненый, он не хотел о себе извещать, пока не поправился и вновь не поехал в действующую армию. Оттуда и писал.

У Лядовой явилось желание еще раз повстречаться с неизвестным, чтобы отблагодарить его («он принес нам счастье», — думала она), но вряд ли это удастся: тень бежит от света...

Евдокия Нагродская

ГАЛЕРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Фантазия

Илл. худ. Николаевского

1

Темна морская глубина. Лучи солнца в ясный день слабо проникают в этот зеленый сумрак.

Водоросли сплелися и покрыли черную массу, бесформенную, непонятную.

Только смутные очертания видны и по ним едва ли можно догадаться, что это остатки затонувшей галеры.

Давно лежит здесь она. Песок засосал ее наполовину, от мачты остались одни обломки и жерла пушек превратились в убежище морских моллюсков.

Тихо. В морской глубине не надо слуха — там нет звуков.

2

Бурная, туманная ночь. Черно на море. Не видно ни зги. Маяки потушены — война.

И в этой жуткой темноте, там, под бурными волнами, как злые акулы, спрятались несущие разрушение мины.

С берегов жадно ждут жерла гигантских орудий, а во тьме по бушующему морю пробираются, словно ночные хищники, вражеские, закованные в сталь суда.

Притихла и молится ночь... Молится Русь.

И нет сердца, которое не молилось бы в эту минуту о чуде.

3

Что это? Луна прорезала тучи над влажной могилой петровской галеры, и по ее лучам, словно по снастям, спускаются тени. Тени исчезают под водой.

Лучи ли луны или свет от новых пришельцев осветил подводное царство? Но светло в нем и кипит работа.

Призраки поправляют корабль.

С неба пришли они, но это не ангелы...

Это души матросов этой галеры, давно умершие моряки.

Дрогнули их души там, далеко и высоко, от молитв родной страны и отпустил их Господь на землю еще раз послужить своей родине.

— Дружнее, братцы, с нами Бог!



И поднялась, словно лебедь, галера из могилы, расправила паруса и понеслась по седому морю.

4

В порт вернулись побитые вражеские суда.

Дело обследовали и решили, что произошла ошибка: в темноте стреляли по своим. Вот и все.

А матросы говорили другое. Они стреляли по странному судну, атаковавшему их у русских берегов.

Они стреляли в судно и расстреляли своих.

Маяки не горят... Темно, беспросветно темно на море, но галере Петра Великого — не надо маяков и морских карт... Она найдет свой путь.

Евдокия Нагородская

НЕВЕСТА АНАТОЛЯ

Из крепости слышались частые выстрелы, вода в Неве и каналах прибывала.

Ветер дул порывами, а дождь то лил, как из ведра, то моросил легкой пылью.

В старинном деревянном особняке, какие еще попадаются на Петроградской стороне, были тускло освещены три низкие окна мезонина.

Вокруг дома, сжатого с трех сторон высокими стенами новых соседей, росло несколько старых деревьев — остатков когда-то большого сада.

Обнаженные деревья скрипели, и ветер срывал с них последние бурые листья.

Большая низкая комната была загромождена старинной мебелью, углы ее тонули во мраке, потому что две свечи, поставленные на небольшом ломберном столе, скупо давали свет. Пламя их колебалось — дуло из окон, дуло из плохо припертой двери.

Ветхие железные листы на крыше гудели под порывами ветра, а выстрелы из крепости заставляли дрожать стекла в ветхих рамах.

У стола, освещенная колеблющимся светом свечей, сидела странная фигура.

Это была страшно худая, высокая женщина, одетая в белое бальное платье, пышными складками ложившееся вокруг.

Из нарядного корсажа, из кружев и белых лент высовывалась длинная жилистая шея, на которой сидела голова с желтым пергаментным лицом и впалыми черными глазами.

Эта голова была украшена красными маками, приколотыми к остаткам седых волос.

Женщина раскладывала карты по зеленому сукну стола, покачивала головой и улыбалась. При улыбке обнажались ее желтые, но отлично сохранившиеся зубы, и тогда это лицо еще более походило на череп. Иногда она оставляла карты, брала со стола лежащее на нем ручное зеркало и смотрелась в него, продолжая шептать и улыбаться.

Порыв ветра хлопнул где-то дверью, в трубе завывало, стекла сильнее задребезжали. Женщина вскрикнула и стала прислушиваться.

В глубине комнаты, на диване, кто-то завозился, и оттуда послышался сонный голос:

— Ну чего вы? Что случилось?

— Дверь хлопнула... Может быть, это Анатолий приехал?

— Глупости. Это опять Ефим забыл запереть черный ход. Вот наказание-то!

Голос был молодой, звонкий.

При слабом свете свечи можно было разглядеть красивую женскую фигуру, приподнявшуюся с дивана.

Девушка села и стала шарить ногой по полу, ища туфель.

У нее было красивое круглое личико, обрамленное темными волосами, густыми и вьющимися, которые небрежно падали на шею и плечи. Она подобрала эти волосы, заколола их на макушке и, поведя плечами, ворчливо сказала:

— Ну и холодина! Что мы тут с вами в морозы делать будем?

Женщина не отвечала, продолжая смотреть в зеркало и улыбаться.

Девушка потянулась, взяла шаль со спинки стула и, завернувшись в нее, продолжала:

— А вы опять в зеркало смотрите, вчера сами говорили, что не следует ночью в зеркало смотреться.

— Я не смотрюсь, а заглядываю, — не увижу ли чего, как вчера, — покачала та головой.

— Ну расскажите, что вы видели?

— Ага, и вы стали верить! — визгливо засмеялась женщина.

— Я еще не рехнулась, как вы, чтобы верить в такие глупости, а так, от скуки слушаешь, что вы плетете.

— Вы злая и грубая девушка, — сказала женщина веселым тоном, потрянув головой.

— Если я злая и грубая, так чего же вы так настойчиво требуете от ваших племянников, чтобы я непременно жила

с вами? Небось, как я ушла, — вы тут есть перестали, скандалили... Аркадий Филиппович ко мне в три часа ночи влетел, умоляя вернуться... Вы тут стекла стали бить... Скажите, на что я вам нужна?

— О, я знаю, зачем! — хитро прищурилась женщина. — Я не понимаю, чем вам плохо? Разве вам мало шестьдесят рублей в месяц? — захихикала она.

— Многоуважаемая княжна, я и без ваших шестидесяти рублей проживу. Поступлю сестрой милосердия в лазарет, или на войну уеду. Лучше за ранеными ухаживать, чем сумасшедшую пасти!

— Ах, как вы грубы! Как грубы! Где же это видано, чтобы сумасшедшей так в глаза и говорили, что она сумасшедшая! — всплеснула руками княжна, очень довольная.

— Ах, отстаньте! Я ужасно сожалею, что сдалась на просьбы Надежды Филипповны и опять замуравилась с вами в этом проклятом доме, — тут и в хорошую-то погоду могилой пахнет, а в такое ненастье, я думаю, на кладбище веселее.

Она раздраженно пожала плечами и плотней закуталась в шаль.

— Вот уж не понимаю, почему вы вдруг стали ругать дом? Весной вы его находили очаровательным, стильным, а когда узнали, что в этой комнате у моего деда ночевал когда-то Пушкин, — вы от радости запрыгали. — И княжна искоса посмотрела на свою собеседницу.

— Я уже много раз докладывала вам, что когда я нанялась массировать вам ногу, и вы меня упросили сидеть с вами до обеда, я не имела ничего против. Два часа — куда ни шло... Но вы меня совсем жить к себе перетянули! Мне надо больной сестре помогать, и если бы не это, да я не за шестьдесят, а и за двести бы рублей не согласилась тут с вами жить! Вот что! — топнула она ногой.

— Ах, *ma chère*, ну, я скажу, чтобы Надя прибавила вам жалованья... Вы ужасно корыстолюбивы! — покачала головой княжна.

— А зачем вы капризничаете? Другую сиделку нашли бы и за 25 руб. На что я вам? Зачем, когда я уйду, вы скан-

дали устраиваете?

— Ах, Боже мой, я — сумасшедшая! Если мне перечат, у меня делаются припадки бешенства, — улынулась княжна.

— Знаете, я иногда думаю, что вы вовсе не так безумны, как прикидываетесь. А прикидываетесь вы для удобства, чтобы все ваши капризы исполнялись. Я бы, на месте ваших племянников, взяла да и посадила вас в сумасшедший дом.

— Ах, злая, злая, жестокая девушка! — опять всплеснула руками княжна.

— Вот, сами видите, что я злая и жестокая, вы и прогоните меня. Вам наймут другую. Я вам рекомендую одну... Она добрая-предобрая. Она будет каждый день слушать, что вы про Анатоля рассказываете, ругать вас не будет, а будет...

Княжна вдруг залилась визгливым хохотом:

— Ах, напрасно, напрасно стараетесь — мне другой не надо! — замахала она костлявыми руками. Потом, как-то сразу сделавшись серьезной, со вздохом сказала:

— Вы же знаете, что вас заменить никто не может — только в вас я могу перевоплотиться. Что, если я умру, а Анатоль вернется? Ведь надо же, чтобы его встретила невеста.

— Да сколько раз я вам, пустоголовая вы, говорила: что если бы случилось такое чудо, и ваш Анатоль вернулся, то ему бы шестьдесят лет теперь было! Так неужели вы думаете, я бы за него замуж пошла?

Княжна лукаво прищурилась.

— Вы рассуждаете так, потому что вы грубая и низменная натура. Анатоль пропал без вести, но...

— Да уж если он за тридцать с чем-то лет не вернулся...

— Пойдите, вы все меня перебиваете: Анатоль, прощаясь со мной, сказал: жди меня, Лина! Я вернусь, и мы будем счастливы. Дай мне слово, поклянись, что ты будешь ждать меня. Я хочу, чтобы ты меня встретила в таком же платье, какое было на тебе, когда мы встретились в первый раз! А в первый раз... Ах, это был бал! И я была его царицей... Я сама сознавала, что была хороша... Я только что окончила тур вальса с Жоржем Аргаевым, как вдруг слышу за моей спиной звук шпор и голос моего кузена Поля: «Лина, поз-

воль тебе представить...»

— Да уж знаю, знаю, тысячу раз слышала — наизусть выучила, — оборвала ее девушка. — Вразумить я вас, конечно, не могу, но даже допустив, что вашего Анатоля и законсервовали там, где-то в пространстве, как вы уверяете, и он явится молодой и прекрасный, так захочет ли он жениться на вас?

Княжна захихикала и, лукаво прищурясь, раздельно произнесла:

— Я перевоплощусь!

— Глупости!

— Перевоплощусь в вас, Марианночка, вы теперь упираетесь, но придет время — вы согласитесь и...

— Да ну вас! Ложитесь вы спать, уже одиннадцать часов! — прикрикнула на нее Марианна.

Уложив княжну, Марианна спустилась вниз по скрипучей лестнице и, войдя в большую залу, зажгла электричество в люстре.

Княжна не любила света и позволяла у себя в комнате жечь только свечи, а Марианне хотелось света и движения.

Она ходила каждый вечер до усталости по этой большой пустой комнате.

Сегодня она ходила как-то торопливо, нервно, большими шагами.

— Нет, уйду, уйду, — твердила она, — не могу! Все нервы измотались! Я на все раздражаюсь, я действительно невозможно груба с этой несчастной. Я чувствовала себя такой сильной, мне казалось, что я смогу жить здесь и ухаживать за нею, а теперь не могу, не могу!

То жуткое чувство, что она прежде изредка испытывала здесь, теперь охватывало ее чаще и чаще — особенно по вечерам.

Эта комната, едва освещенная двумя свечками, эта скелетообразная фигура, одетая по-бальному, это странное бор-

мотание и хихиканье! Уже не в первый раз она собиралась бросить это место, но у нее была больная сестра с двумя ребятами, которая не могла существовать на ничтожную пенсию. Она, Марианна, знала, что нигде она не найдет такой высокой платы за свой труд, и, несмотря на это, она уже два раза отказывалась от места, и только усиленные просьбы племянников княжны заставляли ее возвращаться. Ее подруги завидуют ей. Еще бы! Полное содержание и шестьдесят рублей в месяц, дорогие подарки, вот Надежда Филипповна вчера прислала ей отличное боа из лисицы. Она здесь полная хозяйка, может даже менять прислугу по своему усмотрению, сестра ее счастлива, благодарит ее — все, кажется, хорошо... Нет, не все! От Вани вот уже вторую неделю нет писем.

Конечно, это случалось и раньше, но теперь, когда она вообще нервничает, ее сердце все время болит в тоске и страхе. Ведь там, на фронте, каждая минута может принести смерть.

Она всякий день замирает, развертывая газеты, и облегченно вздыхает, когда не находит между убитыми и без вести пропавшими имени Ивана Прохоровича Лукьянова.

Может быть, ее потому и раздражает княжна, что вечно говорит о своем женихе, без вести пропавшем в Турецкую кампанию. Княжна сделалась невестой незадолго до войны. Жених ее уехал и пропал без вести под Плевной. Княжна ждала его, грустная, молчаливая, служила молебны и никуда не выезжала.

Война кончилась, вернулись пленные, а Анатоль не вернулся. У княжны стали появляться странности...

И вот, в один прекрасный день, она оделась в белое платье, приколола в волосы красные маки и, сев за стол между двумя свечами, объявила, что теперь она знает, что Анатоль жив, что он вернется.

Мать была в отчаянии.

Княжну сначала лечили, возили от одной медицинской знаменитости к другой, но ничего не помогало. Княжна была тиха, целыми днями сидела смирно, ничего не требовала, кроме нового платья и новых цветов, когда старые при-

ходили в ветхость, но если нарушали ее привычки и беспокоили ее чем-нибудь, она впадала в бешенство. Младшая сестра княжны вышла замуж, обзавелась семьей, а княжна Лина все ждала своего жениха.

Зять и сестра уговаривали княгиню отдать Лину в лечебницу или в санаторию, им хотелось на месте старого дома выстроить новый, пятиэтажный — Петроградская сторона обстраивалась, и земля все дорожала.

— Это такое частое явление — вечная невеста, ждущая жениха! — говорил княгине зять. — В каждом сумасшедшем доме найдется несколько таких. Вон, даже в одном романе Диккенса описывается подобный случай. Это все равно неизлечимо, отдайте ее в лечебницу, нельзя же из-за каприза безумной терять крупные суммы денег.

— Ни за что! — восклицала княгиня. — В сумасшедшем доме будут дурно обращаться с бедной Линой.

Зять постоянно заводил этот разговор, раздражался, и княгиня не спала по ночам от страха, что после ее смерти бедную Лину обидят. Она решила обеспечить свою любимцу. В завещании доходы с имений она оставляла своей замужней дочери с условием — содержать Лину прилично и отнюдь не отдавать ее в сумасшедший дом, в противном случае, или в случае смерти княжны, имущество должно быть продано, а деньги и дом на Петроградской стороне переходили к благотворительным обществам.

Зять позеленел со злости, узнав после смерти княгини о содержании ее завещания.

Поневоле пришлось всячески ублажать княжну и следить за ее здоровьем. Она была доходной статьей, а двадцать тысяч дохода не шутка.

Нездоровье княжны повергало весь дом в уныние, а выздоровление радовало.

Княжна, впрочем, болела редко и, пережив сестру и зятя, досталась, как самое драгоценное наследство, их детям, своим племянникам.

Племянники даже усилили заботы о княжне, так как она старела, и доктора находили, что сердце ее слабо, и надо избегать для нее волнений и огорчений.

Племянница княжны, Надежда Филипповна, была очень довольна Марианной. При Марианне княжна поздоровела и стала как будто веселее. Марианной дорожили, Марианну ублажали и осыпали ее подарками. Но Марианна делалась все мрачнее и мрачнее, она уже несколько раз уходила, но ее упрашивали, прибавляли жалованья, Надежда Филипповна даже плакала, умоляя ее остаться. Марианна не подозревала причины забот этих нежных племянников — приписывала заботы любви «добрых людей» к несчастной сумасшедшей и жестоко упрекала себя, что она сама так черства и бессердечна к ней.

Сестра Марианны смотрела на нее умоляющими, печальными глазами, когда изредка, зайдя на минутку домой, девушка говорила, что ей невозможно жить в этом доме со скрипящими лестницами, слушать шорохи и треск во всех углах этого умирающего дома, вечно сидеть с «сумасшедшим скелетом» и быть вечно настороже!

Да, да, настороже! Потому что настороженность сумасшедшей действует и на нее.

Днем еще ничего, она может работать, читать, но по вечерам, особенно в дурную погоду, когда ветер воет в трубах, трясет рамы, а сумасшедшая княжна все время вздрагивает, прислушивается в своем вечном ожидании, — у нее, у Марианны, нервы совсем расстраиваются, и она тоже начинает к чему-то прислушиваться и чего-то ожидать. Она больше не может — уйдет.

Сестра ничего не говорила, смотрела печальным взглядом, подзывала кого-нибудь из детей, начинала гладить по голове и тихо вздыхала.

Марианна хмурилась, отворачивалась, переменяла разговор и, вернувшись, изливала свое раздражение на княжну.

Первое время она пугалась и упрекала себя, когда у нее срывалось резкое слово по адресу больной, но потом, заметив, что княжна нисколько этим не огорчается, даже как будто радуется этому, а всплескивает руками и удивляется грубости и резкости Марианны только как бы из приличия, Марианна все меньше и меньше сдерживалась, чувст-

вужа, что характер у нее делается тяжелым.

— Вот распустила-то себя! — иногда ворчала она, накричав на прислугу или на дворника, — с нормальными людьми разучилась разговаривать — привыкла к сумасшедшим.

Эти последние дни ей иногда даже хотелось побить или толкнуть княжну, до того она ее раздражала.

— А что, от жениха все нет писем? — спрашивала княжна.

— А вам какое дело? — обрывала ее Марианна.

— Я вам сочувствую.

— Я не нуждаюсь в вашем сочувствии.

— Напрасно. В огорчении сочувствие необходимо, — качала княжна головой.

— А я его не желаю! — уже кричала Марианна, топая ногами.

— Ну, ну, не раздражайтесь, *ma chère*! Не надо. Я замолчу, — успокаивала ее княжна.

Последнее время сумасшедшая часто успокаивала ее — здоровую.

Да, успокаивала, но по временам и дразнила.

— Можно ли было влюбиться в человека, которого зовут Иван! — начинала княжна, искоса поглядывая на Марианну.

Марианна молчала.

— Какой-то Лукьянов! Хи-хи-хи! Да еще Прохорович. Какой ужас!

— Помолчите вы хоть минутку. Все время вы бормочете, — обрывает ее Марианна.

— Лукьянов! — не унималась княжна. — Это пахнет луком, — и она заливалась смехом.

— А по мне, Анатолий — скверной помадой воняет.

— Неправда, мой Анатолий всегда душился чудными духами... Он был так красив и изящен... И вместе с тем, он был герой! Ведь он не должен был идти на войну, он нарочно

перевелся в действующую армию...

— Знаю, все знаю! Ну и пускай. Вам нравится Анатолий, а мне Иван, и отстаньте от меня!

— Это потому, что у вас грубый вкус.

— Замолчите.

— А вот не замолчу, что вы со мной сделаете? — хихикала княжна.

Марианну злило, что княжна как будто радовалась, что Марианна не получает писем из армии, тогда как раньше эти письма приходили часто, иногда по два, по три зараз.

Но чего уже совсем не могла она переносить, что выводило ее из себя последнее время, это уверения княжны, что она понемногу воплощается в нее, в Марианну.

Один раз дошло до того, что Марианна швырнула стул. Ножка стула отскочила, попала в окно — стекла посыпались.

Марианна сразу опомнилась, а княжна в восторге залилась визгливым смехом.

Когда прислуга пришла убирать осколки, княжна бежала вокруг нее, суежилась и оживленно говорила:

— Вот, Дуняша, я разбила стекло! Бросила стул и разбила... и стул сломала... Хи-хи-хи! Что взять с меня, ведь я сумасшедшая!

Марианна побледнела.

— Ну что вы там врете! — злобно крикнула она. — Стул бросила я и попала в стекло. Убирайте скорее, Дуняша, — угрюмо прибавила она.

Прислуга, убрав осколки стекла, вышла.

Марианна стояла неподвижно, стараясь овладеть собою, а княжна сразу затихла, села к толу и, искоса поглядывая на Марианну, стала раскладывать карты.

Вечером Марианна ходила по пустой зале.

Вечером на нее нападала теперь тоска. Страшная, гнетущая тоска.

Днем она ждала. Ждала письма, а ночью... ночью мучилась неизвестностью.

Боже мой, — если бы узнать что-нибудь. Ну, пусть ранен, пусть... нет, нет, только не убит! Лучше тогда ничего не знать. Зачем она не умеет молиться! О, вот теперь какой бы отрадой для нее была молитва. Зачем, зачем ее не научили молиться, верить!

И она ходит, ходит взад и вперед по этой пустой, ярко освещенной зале.

«Вот, — думает она, — если я пройду до того угла, и ни одна паркетина не скрипнет, значит, получу письмо, и все благополучно».

Бьется сердце, дрожат ноги...

Не скрипнуло!

Она тяжело переводит дух и прислоняется к стене.

— Какие глупости! — говорит она вслух и сейчас же пугается.

Зачем она это сказала? Может быть, если бы она не усомнилась, что завтра получит письмо — оно бы пришло.

«Вот, если дойду до двери, и пол не скрипнет... Нет, нет, что-нибудь другое, пол наверно скрипнет, там у порога он совсем разохся».

Эти загадыванья у нее обратились в манию — она с замирающим сердцем считает, делится ли на три номер проезжающего извозчика, успеет ли она сосчитать до ста, пока фонарщик зажжет фонарь, четное или нечетное число цветочков на данном куске обоев. Это ее мучило, угнетало, но отстать от этого она не могла.

И теперь она, замирая от страха, чтобы пол не скрипнул, пробирается по стенке и перепрыгивает через порог.

Войдя в комнату, она видит обычную картину, — княжну, сидящую за столом.

Княжна держит в руках зеркало и, улыбаясь, смотрит в него.

— Что же, вы намерены сегодня ложиться спать или нет?
— ворчливо спрашивает Марианна, начиная раздеваться.

— Погодите, погодите, дайте досмотреть, — машет княжна рукой. — Вот он верхом переплывает реку, выехал на берег... поднимается на холм... какая-то деревня... Ах, исчезло! Какая досада, сегодня так ясно было видно.

Марианна, с растрепанными волосами, закутанная в платок подходит к столу и решительно вырывает зеркало из рук княжны.

— Вам сказано: идите спать.

— Ах, *ma chère*, подождите, может быть, я еще что-нибудь увижу... Вот, вот, опять мелькает! — говорит княжна, стараясь взять зеркало из рук Марианны.

— Да ладно, ничего там не мелькает.

— А вы не умеете смотреть! Знаете, я ведь сегодня на вас загадывала... и видела. Хотите, я вас научу? — зашептала она таинственно. — Я вас научу, и вы увидите.

— Что я увижу? — спросила Марианна, чувствуя какой-то беспричинный страх.

— То, что вы хотите... Ну, вашего Лукьянова, — продолжала шептать княжна, — только вы зеркало держите вот так и сядьте вот тут, между свечами... Сядьте и скажите про себя: «Милый, покажись». Отчего вы дрожите?

— Я? Что за глупости — я совсем не дрожу, — говорит Марианна, сияясь улыбнуться, но губы кривятся от дрожи, и вместо улыбки выходит гримаса.

— Будете смотреть?

— Да уж давайте — я погадаю, — и Марианна смотрит в зеркало.

В зеркале она видит свое лицо, так осунувшееся и побледневшее за эти последние дни, а за своим плечом, в темной глубине зеркала, черепообразную голову княжны с красными маками в волосах.

— Я ничего не вижу, — говорит Марианна, и жуткий страх охватывает ее все больше.

— Смотрите, смотрите, — шепчет княжна за ее спиной, — смотрите сквозь свое отражение... зовите! Вот, вот уже затуманилось... показалось... Видите... железнодорожная на-

сыпь, телеграфные столбы... солдаты ползут по насыпи... Видите... видите..."

Марианна дрожала мелкой дрожью, ее зубы стучали.

Да, да, она видела и железнодорожную насыпь, и телеграфные столбы, и какую-то движущуюся массу под ними, и все это поминутно заслонялось как бы дымом.

— Зовите, зовите его! — взвизгнула княжна и нечаянно толкнула свечу.

Тяжелый подсвечник с грохотом покатился по полу.

Марианна вскочила, так же дико взвизгнув, и стояла бледная, с трясущимися губами.

— Ага, ага! Видели! Теперь будете верить! — кричала с торжеством княжна.

Марианна, сжимая кулаки, тоже закричала в бешенстве:

— Ничего я не видела! Слышите, ничего! Вы сумасшедшая дура! Ничего я не видела.

— Нет, ты видела, видела. Ты моя! Радость моя, красавица, мое второе я! Невеста Анатоля! — в восторге кричала княжна.

— Ничего я не видала! Не смей говорить! Слышишь ты! — старалась перекричать ее Марианна, но княжна визжала и хохотала все сильнее:

— Милая, красавица! Ты — я, я — ты!

Марианна бросилась к ней, подняла руку и ударила княжну по лицу.

Княжна отскочила и в диком веселье закружилась по комнате, выкрикивая: «Свершилось, свершилось! Ты — я!»

Марианна уже не слушала ее, она села у стола, закрыла голову руками и зарыдала.

Княжна перестала смеяться и робко, бочком подошла с другой стороны стола и, постояв немного, тихонько спросила:

— Хотите воды? Нет? Ну, успокойтесь. Вот вы видите, какая вы злая и безжалостная девушка, вы бьете несчастную сумасшедшую.

Надежда Филипповна уже полчаса уговаривала сидящую перед ней Марианну.

Она предлагала увеличить ей жалованье до восьмидесяти рублей, предлагала взять помощницу, умоляла остаться хоть на несколько недель, пока она подыщет другую сиделку, но Марианна оставалась непреклонной.

— Я не могу, — угрюмо твердила она, — не могу. Я совершенно расстроила себе нервы, у меня даже была галлюцинация, и потом вчера вышла безобразная сцена, я... я ударила княжну. Это возмутительно, это жестоко!

— Но я вас прошу, оставайтесь хоть до завтра, — попробовала Надежда Филипповна.

— Нет, ни минуты! Я сейчас возьму свои вещи и уеду.

— Послушайте, кто же останется с ней на ночь? Она без вас впадет опять в бешенство. Это безжалостно с вашей стороны.

— Да, да, я грубая, безжалостная, бессердечная, но делайте, как хотите! Я не могу.

И Марианна поднялась.

— Хорошо, — сухо сказала Надежда Филипповна, тоже вставая. — Хорошо, я к вечеру приеду.

— Нет, сейчас, не позже как через час — я уеду.

— Ну послушайте, Марианна Петровна, вы злоупотребляете моей деликатностью, я прошу вас остаться хоть два часа. Через два часа я приеду, и если не найду сиделки, то сама сменю вас.

Марианна поспешно укладывала свои вещи.

Она решила не отвечать княжне, которая вертелась вокруг нее, поминутно задавая ей вопросы.

Наконец, княжна совсем забеспокоилась и, подойдя к Марианне, спросила:

— Вы, кажется, собираетесь уезжать?

— Да, да, уезжаю! — раздраженно крикнула Марианна.

— Нет, *ma chère*, вы останетесь, — решительно произнесла княжна.

У Марианны дрожали руки, но она сдерживалась, кое-как запихивая свои вещи в корзину.

— А я знаю, что вы останетесь, — опять повторила княжна, — я приготовила вам сюрприз, я вам что-то дам. Хотите? Вот!

Княжна вытащила из-за корсажа смятую открытку и, помахивая ею, говорила:

— Это принесли еще третьего дня, а я спрятала.

Марианна вскрикнула, в один прыжок очутилась возле княжны и вырвала у нее открытку.

Княжна хихикала, а Марианна читала письмо, она читала очень долго... Прошла минута, другая, а она все стояла, не двигаясь.

Княжна хотела взять у нее письмо, но Марианна высоко подняла его одной рукой, а другой толкнула княжну в грудь.

Княжна пошатнулась, чуть не упала, но потом кинулась к Марианне и, охватив стан девушки своими костлявыми руками, тесно прижалась к ней, плача и взвизгивая:

— Теперь ты — я! Ты свободна! Ты невеста Анатоля!

Пальцы Марианны тихо разжались, и желтоватый квадратик открытки, трепеща, упал на темный ковер.

На этом квадратике были написаны только две строки;

«Поручик Иван Лукьянов в сражении 25-го сентября — убит».

Надежда Филипповна торопится. Она опоздала. Почти три часа металась по городу, ища сиделку.

На время войны открыта масса лазаретов, и сиделку найти трудно. Ей обещали прислать завтра поутру девушку, чтобы присматривать за больной, а эту ночь ей самой придется возиться с теткой, ведь эта дерзкая Марианна, чего доброго, бросит все и уйдет.

Надежда Филипповна звонит у двери и, когда дверь открывается, даже отшатывается с изумлением.

Перед ней княжна.

Княжна полураздета, на ней рубашка и бумазейная юбка, а на шее лисье боа Марианны.

— Что с вами, тетя? Неужели вас бросили одну? Где прилуга? — тревожно спрашивает Надежда Филипповна, входя в сени.

— Т-с! Тише. Чтобы не услыхала кухарка, а Дуняшу мы послали за фруктами и за закуской... Сегодня Анатолий обязательно придет, — оживленно говорила княжна и быстро стала подниматься по лестнице, мелькая из-под короткой юбки своими босыми, жилистыми ногами.

Испуганная Надежда Филипповна почти вбежала в комнату и остановилась...

У ломберного стола сидела Марианна. Она была одета в платье княжны, платье было узко, не сходилось сзади на четверть, оставляя голой смуглую спину; в растрепанных волосах Марианны были кое-как заткнуты красные маки.

— Марианна Петровна, что у вас тут случилось? — в испуге воскликнула Надежда Филипповна.

Марианна повернула к ней свое бледное, странно улыбающееся лицо и, посмотрев на вошедшую какими-то невидящими глазами, спокойно сказала:

— Я жду Анатоля.

Евдокия Нагродская

ОН

Дорогой доктор! Простите, что я не ответила вам на ваше первое письмо. Вы пишете второе; как это мило, что вы не считаетесь письмами.

Ваше участие, ваша заботливость, поверьте, всегда останется одним из лучших моих воспоминаний.

Вы были так внимательны ко мне! А главное — я вам обязана рассудком.

Вы блестяще вылечили мою болезнь в самый короткий срок. Вы даже сами удивились, что галлюцинации, припадочки бешенства вы исцелили несколькими баночками брома и теплыми ваннами в какие-нибудь две недели. Поразительный случай!

Милый, хороший доктор, я слышала, что вы докладывали о моем «случае» на каком-то медицинском съезде!

О, как мне совестно! За всю вашу заботу и ласку я так вас обманула!

Не сердитесь на меня и не думайте обо мне дурно. Согласитесь сами: кому охота сидеть в сумасшедшем доме?

Я и притворилась, что согласна со всеми, что страдаю галлюцинациями и бредом, что все случившееся — одно мое больное воображение... Мне хотелось на свободу.

«Пришлось здоровому человеку согласиться с другими, что он сумасшедший, чтобы его признали здоровым».

Оцените, доктор, этот житейский парадокс!

Посмотрите, как я смело даю вам в руки документ, удостоверяющий, что я никогда не вылечивалась от того, от чего вы меня лечили.

Но я несколько не боюсь. Здесь, у тети в Сорренто, знают больше вас, а моим родным в Петербурге вы ничего не скажете. Маму и Шуру вы побоитесь огорчить, а брату Косте...

Сознайтесь, вы немного опасались, что я заразила брата моим безумием.

Вы сказали маме: «Нервные болезни иногда бывают заразительны. Константин Петрович — человек, кажется, нервный, и ему не следует долго оставаться с Еленой Петровной».

Костя сделал глупость, проболтавшись вам кое о чем.

Нет, вы никому не покажете этого письма, потому что я этого не хочу.

Письмо мое имеет цель, и вы ее узнаете.

Теперь хоть созовите целый полк психиатров для моего освидетельствования, никто меня не признает даже за особенно нервную особу. Недавно мне пришлось оказать помощь нескольким раненым при несчастном случае, и доктор, которому я помогала, советуя мне учиться медицине, сказал: «У вас большое присутствие духа и удивительно крепкие нервы». О моих слезах, припадках, обмороках — нет и помину. Ведь все это происходило потому, что я сама считала себя нервнобольною, боролась против «него», против «галлюцинаций» — боялась сойти с ума!

Я вздрагивала, озиралась со страхом, превращала ночь в день, плакала, просила помочь мне, вылечить меня, спасти, и все всем рассказывала... ну и пошло, пошло.

Вы меня часто просили рассказать и даже записать подробно всю эту историю; я знаю, у вас много хранится записок ваших пациентов — «записок сумасшедших», — вот я и исполняю ваше желание; приобщите эту рукопись к вашей «сумасшедшей библиотеке», но, повторяю, я имею свою цель.

Я встретила его в первый раз на набережной реки Пряжки. Я шла с урока английского языка, который давала трем идиотам — отвратительные были мальчишки.

Я была зла и, поверьте, думала только о том, как бы скорей дойти до трамвая и приехать домой. Я шла, по обыкновению, очень скоро. Было около четырех часов, и зимний закат догорал яркой багровой полосой. И вот я его встретила...

Я обратила на него внимание потому, что это был единственный прохожий в эту минуту.

Сначала мне бросилось в глаза его пальто с меховой шалью и рукавами, обшитыми мехом.

Теперь эти пальто вошли в моду, а тогда их мало носили. Поравнявшись, я взглянула ему в лицо.

Шура показывала вам мой набросок. Правда, красив? Но разве мало красивых людей! Меня поразило сочетание светло-зеленых огромных глаз с черными бровями и ресницами.

Дойдя до угла Офицерской, я оглянулась: его фигура уже скрылась.

Я даже удивилась, зачем я обернулась, и простояла несколько секунд, прежде чем повернуть на Офицерскую. Это случилось или в среду, или в понедельник, или в пятницу: я давала уроки три раза в неделю.

У меня было много дела на другой день, дела спешного и кропотливого — я делала выписки из многочисленных книг, два раза бегала в Публичную библиотеку, проверяла целые столбцы цифр. Все это я исполняла точно и аккуратно, но странные зеленые глаза ни на минуту не оставляли меня, они все время плыли передо мной.

Сидя за уроком в следующий раз, я была занята мыслью — встречу я его или нет и... мне хотелось его встретить... чтобы хорошенько рассмотреть.

Каждый раз, идя с урока, я давала себе слово на этот раз пристально взглядеться в него, но почему-то я видела только глаза... одни глаза.

Это злило меня.

Мы так привыкли с Шурой делиться нашими мыслями и впечатлениями, даже самыми мимолетными, что я раз вечером сказала:

— Какого красавца, Шурочка, я встречаю, идя на урок к Ивановым, — ты бы моментально влюбилась.

— Брюнет или блондин? — спрашивает Шура.
— Не знаю; у него светлые-светлые глаза и черные брови.
— А какой нос?
— Не знаю.
— А рот?
— Тоже не заметила. А у него нет ни усов, ни бороды.
— Вот это на тебя похоже! Кажется, первый раз ты обратила внимание на мужчину и то не сумела рассмотреть.
Я стала припоминать, припоминать... и мне сделалось досадно, что мои мысли заняты таким пустяком.
— В следующий раз рассмотрю и доложу тебе подробно, — засмеялась я.

Когда я встретила его, я опять увидела одни глаза. Меня это взбесило. Я круто повернулась и пошла за ним. Он шел медленно, я бы могла его обогнать, но почему-то не решалась. Таким образом я шла за ним до Торговой улицы и увидела на другой стороне знакомого студента, который мне поклонился. Я словно очнулась, мне вдруг стало мучительно стыдно, сразу вся глупость моего поступка ясно представилась мне, да еще в комическом свете: барышня, преследующая мужчину на улице! Бог знает что такое!
Я окликнула студента, поболтала с ним о каких-то пустяках и, взяв извозчика, вернулась домой.

За обедом я со смехом рассказала об этом приключении.

Мама покачала головой:

— Хорошо, что ты вовремя опомнилась, а то бы могла нарваться на скандал; хорошо, что он не заметил.

На следующий раз я решила идти с урока другой стороной, но едва я сделала несколько шагов, как он словно вырос из-за угла, — я чуть не столкнулась с ним.

Он, как всегда, пристально и равнодушно взглянул на меня и прошел.

Книги выпали из моих рук, и я невольно прислонилась к стене. Я как-то сразу разглядела его лицо: оно словно «засияло передо мною». Все кружилось вокруг меня. Какая-то старуха остановилась и спросила, что со мной; при звуке ее голоса я очнулась, подобрала книги...

На этот раз я ничего не рассказала дома, мне было стыдно, но мама спросила меня, отчего я такая бледная.

Через неделю я переменила часы урока у Ивановых, а немного спустя отказалась от него совсем, так как в котором бы часу, какой бы дорогой я ни возвращалась домой, я всегда встречала «его».

Я отказалась от урока, чтобы не встречать его больше и забыть о нем, но я ни о чем больше не могла думать.

Я вставала с этой мыслью и засыпала с ней.

Вы думаете, я не старалась избавиться от этого наваждения? Всячески старалась, дорогой доктор.

Я никогда так много не ходила по театрам и концертам, а днем не давала себе ни минуты отдыха. Усердно занималась немецким языком, набрала массу работы: переводов, компиляций... Я себе не давала думать, но... стоило мне выйти на улицу, безразлично – куда и в котором часу... я встречала «его». Несколько раз я решала проследить, где он живет, и узнать, кто он, но это мне не удавалось: я его всегда теряла из виду.

Несколько раз я решала не выходить некоторое время из дома и не выдерживала... я уже любила его.

Я теперь понимала то, что рассказывали мне подруги и сестра. Это замирание сердца при встрече, ожидание, похожее на страх, мечты и даже беспричинные слезы. Да, я чувствовала теперь все то, над чем всегда смеялась.

Шура видела перемену во мне, не спрашивала, но, очевидно, ее обижало мое молчание.

Я ей рассказала все.

— У этого господина, наверное, много свободного времени, вот он и следит, когда ты выйдешь из дома... Это ужасно интересно, Леночка.

— Зачем он будет следить за мной?

— Очень просто! Зачем все мужчины преследуют женщин? Покажи мне его, пожалуйста, завтра.

— Да он не думает преследовать меня! Он проходит мимо и глядит совершенно равнодушно, словно мимо меня. Я сама пробовала его «преследовать», а он даже не оглянулся назад.

— Странно... но, может быть, это его манера ухаживать: изображать равнодушного... а может быть, есть много людей, похожих на него, и ты...

— Ах, Боже мой, разве могут десятками попадаться такие лица? Да я узнаю его в целой толпе.

Я говорила с Шурой, сидя за столом. Передо мной лежала рукопись начатого перевода, я машинально чертила карандашом по чистой странице, и вдруг на бумаге начал словно просвечивать едва заметный абрис его лица... мне оставалось только очерчивать линии... Шура изумленно открыла рот:

— Как ты хорошо нарисовала! Я просто бы не поверила, что это такой рисунок: ведь ты совсем не умеешь рисовать... Знаешь, я как будто где-то видела это лицо.

Она хотела уже бежать к маме с моим рисунком, но я уговорила ее не показывать — мне было тяжело и неприятно. Я казалась сама себе смешной и глупой.

После этого я его не встречала несколько дней.

На меня напала ужасная тоска — почти отчаяние. Я несколько раз расплакалась из-за каких-то пустяков, нервничала, злилась, не находила себе места.

Мама подозрительно взглядывала на меня и удивлялась: до сих пор у меня был такой ровный характер.

Один раз тоска и желание видеть его дошли до того,

что, идя по улице, я почти громко крикнула:

— Приди! О, приди!

И вот тут-то со мной случился первый обморок, потому что он словно вырос передо мной из толпы и первый раз улыбнулся мне.

Упав в обморок на улице, я, конечно, попала в приемный покой.

Хорошо, что я скоро пришла в себя и сообщила свой адрес.

Дома страшно перепугались. Костя, как угорелый, прилетел за мной.



Вечером, когда я совершенно оправилась, мама пришла ко мне в комнату и села на мою постель.

— Деточка, скажи мне, — начала она ласково, — что такое с тобой происходит? Ведь я замечаю, что ты сама не своя... Зачем ты так много работаешь? Слава Богу, теперь Костя служит, Шура имеет уроки. Ты сама видишь, что прежней нужды нет. Не надо себя так изнурять, ты зарабатываешь около ста рублей, — неужели этого мало? Здоровье нетрудно потерять. Брось ты переводы или брось уроки...

Голос мамы, этот милый ласковый голос, как всегда, подействовал на меня успокоительно. Я прижалась к ней и стала целовать ее руки.

— В детстве, когда ты уж очень ласкалась ко мне, я знала, что тебе хочется чем-нибудь важным поделиться со мной, — сказала мама, глядя меня по голове. — Отчего же теперь ты не хочешь сказать мне, что тебя мучает?

— Мамочка, если бы ты знала, какая это глупость! Это не от работы, а... не спрашивай меня... мне стыдно сознаться.

— Леночка, — начала мама после некоторого молчания, — Шура намекала мне на какое-то твое увлечение... Что, это серьезное что-нибудь? Скажи мне.

Я жалась к ней и молчала.

— Я вижу, что это серьезно, — вздыхает она, — и мне жаль, что не хочешь мне сказать правды.

Голос мамы полон тревоги.

— Я не знаю, что это такое, мама: увлечение или любовь... я никогда не влюблялась раньше но... но... мне страшно тяжело! — расплакалась я и все рассказала.

Мама так и всплеснула руками:

— Лена! Да от тебя ли я слышу! Ты — такая серьезная, уравновешенная, в двадцать четыре года! Если бы еще это наговорила мне Шурка! А то — ты! Как тебе не стыдно!

— Да, мне стыдно... мучительно стыдно, но... но... — и я залилась слезами.

— Мой тебе совет — взять себя в руки и не встречаться с этим господином.

— Мама, мама! Да ведь я же тебе сказала, что я не ищу встречи, а всегда его встречаю!

— Ну, Леночка, это твое воображение. Ты заработалась, переутомилась. Не выходи несколько дней одна на улицу, успокойся.

Мама долго сидела со мной в этот вечер. Она со своим обычным юмором подсмеивалась надо мною, смешила меня, и я заснула совершенно успокоенная, дав себе слово позабыть «его».

На другой день я не выходила из дома до вечера, а вечером вышла пройтись с Шурой.

Мое сердце усиленно билось. Встречу или не встречу?

Мы шли по нашей линии и только что завернули за угол, как я увидела на другой стороне знакомую фигуру.

— Шура! Шура! Смотри! — указала я его сестре.

Шура глянула на другую сторону, и потом я увидела ее широко раскрытые глаза, полные ужаса, устремленные на меня.

— Ты его видела, Шура?

— Ради Бога, Леночка, пойдем домой! — она схватила меня за руку и потащила.

— Что с тобой, Шура? — придя в себя, спросила я, еле поспевая за ней.

— Леночка, дорогая, не говори об этом маме!

— Что, почему?

— Не говори, ты ее напугаешь... ведь там, на той стороне, никого не было.

«Значит, это галлюцинации! — с ужасом думала я. — Но когда же они начались?»

Видела ли я его когда-нибудь?

Видела ли я в первый раз этого человека или мое воображение само создало его в дымке морозного дня, на красном фоне заката?

Не все ли равно? Факт тот, что я галлюцинирую».

Я пошла к доктору.

Он мне прописал брома и холодные обтирания и запретил «усиленные занятия».

Когда я возвращалась и увидала «его», я нарочно оставалась, решив, что, если я буду смотреть дольше, — галлюцинация рассеется.

Он поравнялся со мной и тихо сказал, словно уронил:

— Зачем тебе лечиться? Не проще ли верить?

«Вот уже и галлюцинация слуха!» — с ужасом подумала я, и тут со мной случился мой второй обморок.

С этого дня меня стали лечить и не отпускать одну на улицу.

С прислугой, с Шурой, с мамой — я всегда встречала его. Я ничего им не говорила, но они догадывались об этом, потому что я начинала дрожать и страшно бледнела.

Наконец, я совсем отказалась от прогулок.

Однажды вечером мама и Шура уехали в театр, а Костя предложил мне пройтись. Я отказалась, но он настаивал, и мне пришлось рассказать ему подробно о моей «болезни».

Я со слезами говорила, как я боюсь помешаться, что лучше смерть, чем безумие. Служить предметом ужаса и быть в тягость своим близким...

— И почему это случилось? Ведь всегда я была здорова! Сумасшедших у нас в роду не было. Чем это объяснить?

— Конечно, теперь трудно, — вздохнул Костя, — а лет триста-четыреста назад объяснялось просто: завелся, мол, «инкуб», как теперь заводится какая-нибудь бацилла или микроб, и все было ясно. Вели к попу, он отчитывал, и все, проходило.

— Почему проходило?

— Да потому, что сам пациент был уверен, что поп выгонит духа, ну и исцелялся самовнушением.

— Значит, прежде было лучше, — грустно вздохнула я.

— Ну, матушка, вовсе не лучше! Тебя за твои галлюцинации могли и на костер потащить. Меня, знаешь, очень интересовали все эти средневековые верования. Я много читал книг по демонологии и так называемым тайным наукам и уверяю тебя: если бы мы с тобой жили в то время, я сейчас же бы стал тебя отчитывать.

— Попробуем, Костя, — сказала я, смеясь.

— Ну, милая, тебе этим не поможешь, ты в это не веришь, — какое же это будет самовнушение!

— А ты знаешь заклинания?

— Представь, знаю несколько формул для изгнания бесов и ни одной для вызова. Впрочем, говорят, вызывать черта очень легко — прогнать трудно. У Гофмана есть рассказ «Стихийный дух»; так там колдун, чтобы вызвать нечистую силу, берет французскую грамматику и начинает: «Avez vous un canif? Non, monsieur, mais ma soeur a un crayon». На девятой фразе черт уже является. Да пойдём, Леночка, погуляем; смотри, какая лунная ночь!

— Я боюсь.

— Брось! Ты мне укажешь своего инкуба, а я пойду и вызову его на дуэль или просто дам по шее. Ну, идем одеваться!

Костя был весел, болтал и понемногу развеселил меня. Мы скорым шагом шли через Николаевский мост, когда я слегка замедлила шаги и, дернув Костю за рукав, шепнула: «Вот он!»

«Он» поравнялся с нами и прошел. Костя обернулся и посмотрел ему вслед.

Я ждала от него того ужаса и испуга, который я видела в глазах Шуры, и с удивлением смотрела на него.

— Действительно, красивое лицо! Я, кажется, где-то видел его, — произнес он спокойно.

— Ты видел его?

— Кого? Господина в шубе и шапке? Конечно, видел.

— Да ведь это «он»! Он! Моя галлюцинация.

— Твоя галлюцинация? Но на этот раз ты указала не в пустое пространство, а на человека.

— Что ж это такое? — с ужасом произнесла я.

— Да чего же ты волнуешься? Слава Богу, что на этот раз ты не галлюцинировала.

— Да, но тогда «он» существует?

— Этот, что прошел, очевидно, существует, так как он даже задел меня рукавом.

— Но мама и Шура его не видели!

— Значит, тогда его не было.

— Костя, это еще хуже!

— Почему?

— Значит, он существует?

— Ну так что ж?

— Да ведь я его люблю! Понимаешь, люблю! — вырвалось у меня со слезами.

— Незнакомого, за один вид? Лена, постыдись!

— Я стыжусь! Стыжусь! Но мне от этого еще тяжелее. Все прекрасно понимаю и знаю. Что могли бы мне сказать другие, я тысячу раз сама себе говорила, и... и ничего не помогает. — Я расплакалась.

— Ну не плачь, Лена, если в другой раз мы его встретим, я узнаю, кто он, постараюсь познакомиться... Я уверен, что, когда отпадет фантастический элемент, твоя дурь сразу исчезнет.

Вы, дорогой доктор, со слов Кости знаете, как он несколько раз, бросив меня на улице, устремлялся за ним, но всегда терял его.

Последний раз мы шли все вместе: мама, Шура и Костя.

«Он» прошел мимо, и Костя, бросив маму, которую вел под руку, ринулся было за ним.

— Что с тобой? Куда ты? — спросила мама удивленно.

— А вот я ему... — начал Костя и вдруг побледнел, проормотал: «Мне показалось», — и, взяв маму под руку, молча пошел вперед.

— Ты опять упустил его, Костя, — сказала я с упреком.

— Лена, милая, на этот раз я сам ошибся: на улице не было ни души.

С этого дня Костя перестал говорить со мной об этом.

А я все ходила, ходила к доктору и «не поправлялась». Только к доктору теперь я и ходила, боясь встречи.

Один раз, когда я шла с мамой, он вдруг повернулся и пошел рядом со мной. Я замерла от страха.

— Зачем ты не веришь? Зачем ты борешься сама с собой! — услышала я опять его голос.

— Не хочу, не хочу! Мама! Мама! Спаси меня! — закричала я на всю улицу.

Меня стали возить к доктору в карете с опущенными шторами.

Я была в полном отчаянии.

Я видела, что мама и Шура, хотя скрывают и стараются быть веселыми, страдают и живут в постоянном страхе за меня.

Я так измучилась.

Костя был мрачен и, казалось, избегал меня.

Я не видела «того» уже целую неделю. Я страшно боялась и в то же время мучительно хотела видеть его.

Вот тогда-то и начались мои сны.

Первый раз это был настоящий сон. Что-то несуразное. Я читала на ночь историю французской революции и вспоминала с Шурой о гимназии, в которой мы учились.

И я видела во сне, что спасаюсь с начальницей гимназии от Марата. Начальницу поймали, а я укрылась в какой-то погреб...

«Он» вошел в этот погреб, и я отдалась ему...

Я не проснулась, и сон продолжался, глупый и путаный.

Второй сон тоже был сон. Я очутилась с ним в какой-то комнате, низкой, темной, освещенной оплывшим огарком, с убогой мебелью и жесткой широкой кроватью, покрытой каким-то тряпьем, но... но «он» был со мной, и я была так счастлива!

Я вышла утром на улицу и... «не встретила» его.

У нас был словно праздник.

Мама ожила. Шура несколько раз принималась танцевать.

Я легла с надеждой, что я «поправлюсь».

Во сне я чистила какие-то ягоды, беспокоилась о филипповских калачах... и вдруг меня что-то встряхнуло, кто-то громко и властно позвал меня, и я проснулась.

Уверяю вас, доктор, что я проснулась.

Я стояла на каменной лестнице и отворяла двери в какую-то квартиру.

Я прошла две или три темные комнаты и вошла в ярко освещенную богатую спальню.

Я вам подробно описывала эту комнату, вы еще все хотели меня поймать и подробно расспрашивали о сюжетах gobelенов на стенах, о форме мебели, одним словом — о всех мелочах обстановки.

«Он» встретил меня словами:

— Наконец! Право, у тебя огромная сила воли. Как долго ты мне противилась — я уже начинал терять надежду.

Я стояла как потерянная и молчала.

— Иди же, иди ко мне, милая! — заговорил он, протягивая ко мне руку. — Ну, чего ты боишься? Я пугал тебя, когда хотел просто видеть тебя или говорить с тобою, а теперь вообрази, что это сон, — и он обнял меня.

— Ведь это — сон? — произнесла я, обвивая его шею руками и смотря в эти светлые, чудные глаза. «Станный, реальный сон!»

— Думай, что это сон, пока ты не привыкнешь ко мне, пока всецело не доверишься мне. Ты иначе слишком пугаешься меня, а вот теперь ты не бежишь, не сопротивляешься, — я нахожу, что так лучше. Ты любишь меня?

Любила ли я его?!

Теперь, во сне, я безумно, бешено целовала его и твердила: «Это сон, сон, сон».

Потом спустился какой-то туман, началась опять путаница обыкновенного сна, и я искала какие-то калоши, чтобы ехать на аэроплане.

Я теперь уже не встречала его больше. Все мы ликовали.

Я сказала, что вижу его во сне, но, конечно, снов моих никому не рассказывала.

А сны эти были моим счастьем! Я торопилась лечь вечером спать, а днем я была весела и спокойна, потому что я вспоминала.

Одно смущало меня — удивительная реальность этих снов и то, что он всегда уверял меня, что это не сон, а «он» вызывает меня к себе силою какой-то тайной науки.

— Все это глупости, моя фантазия, мои больные нервы и больше ничего. Сон! Сон! Оттого-то я так и смела, оттого так и ласкаю и целую тебя! — говорила я, прижимаясь к нему. — Ну, а скажи, отчего первые два сна были — сны?

— Я ехал из Петербурга сюда, в Неаполь, и мне было неудобно в дороге серьезно заняться вызовом тебя: я просто вошел в твой сон.

— А, значит, мы в Неаполе? — смеюсь я.

— Да, в Неаполе.

— Вот ты и попался! Мама вчера входила в мою комнату и сказала, что я крепко спала. Попаля!

— Нисколько. Твоя телесная оболочка оставалась там, а твое астральное тело было у меня.

— Какое астральное тело?

— Это объяснять долго — потом сама узнаешь, а если интересуешься, прочти в какой-нибудь книге или спроси у брата — он знает. А теперь целуй меня, дай мне целовать тебя и забудь все другое.

Как только я вошла к Косте, я спросила:

— Дай мне, пожалуйста, книги, о которых ты говорил.

— Нет, Елена, это совсем тебе неподходящее чтение. Я сам их бросил читать, страшно действуют на нервы.

Я долго колебалась и наконец, откинув всякую стыдливость, подробно рассказала Косте мои сны.

Он смотрел на меня с удивлением:

— Ужасно странно, что эти нервные болезни появляются в одинаковой форме во все века и у всех народов.

— Костя, расскажи, что ты знаешь об этом! — в волнении схватила я его за руку.

— Я думаю, что тебе, Леночка, надо выйти замуж.

Я залилась слезами.

— Какая гадость! Какая гадость! — твердила я. — Этого больше не будет. Я попрошу маму разбудить меня ночью. Я не хочу! Я не хочу!

Со мной сделалась истерика, и Костя едва успокоил меня.

В ту ночь я вошла к нему со стыдом, со злостью и еще с порога крикнула:

— Я не хочу тебя! Слышишь, не хочу! Я ненавижу эти сны! Ненавижу тебя, твои чары!

— А, значит, ты веришь уже в чары? — с улыбкой спрашивает он.

— Нет, не верю! — кричу я. — Не хочу верить! Это — скверная, гадкая, позорная болезнь. Не смей дотрагиваться до меня. Я не хочу твоих поцелуев. Слышишь?

— Как я люблю таких смелых, энергичных противников!.. Когда я тебя увидел в первый раз, я сказал сам себе: вот девушка здоровая, сильная, без всяких признаков истерии, неврастения, девушка с железными нервами, с огромным характером, и... она будет моей! Мне нравится борьба, но все же для твоей пользы я тебе не советую бороться со мной.

— Нет, нет! Это болезнь, это сон! — кричала я в отчаянии, стараясь не смотреть на него.

Он подошел ко мне, и эти сияющие глаза, эти губы были так близко, и я чувствовала, что еще мгновение, и...

Вдруг все словно рушилось вокруг меня со страшным треском. Я проснулась!

Я увидела над собой испуганное лицо матери...

Я корчилась на постели от страшной боли в спине и затылке и кричала... кричала...

Три доктора возились со мной до утра. Пришлось впрыскивать морфий... но боли не проходили.

— Убейте меня! — кричала я. — Убейте, если есть у вас жалость! Что он делает со мною! Да помогите же мне чем-нибудь! Отчитайте меня! И «ты», ты, который говоришь, что любишь меня, зачем ты меня так мучаешь? Сжался! Я не буду бороться против тебя. Я покоряюсь! — И вдруг боль сразу прошла.

Я смотрела на всех дикими глазами и понемногу приходила в себя...

— Мама, — сказала я в этот день, ложась спать, — ты уж, пожалуйста, не буди меня среди ночи.

— Хорошо ты была наказана? — спросил он меня на следующую ночь.

— Я больна и буду лечиться, — отвечала я упрямо, покорно отдаваясь его ласкам.

В этот раз я ходила по комнате, рассматривала все предметы, ощупывала их, пила вино, стоящее на столе, щипала себя, колола булавкой.

Он следил за мной с насмешливой улыбкой, сидя в высоком резном кресле.

На нем была накинута та же широкая белая одежда, в которой он всегда встречал меня.

Я подошла к нему, провела рукой по этому мягкому белому шелку, рассмотрела пристально арабеску золотой вышивки.

Он молча обнял меня, смотрел мне в глаза своими длинными зелеными глазами и улыбался ярким ртом.

«На этот раз я проснусь», — думала я.

Но я не проснулась...

Едва он выпустил меня из своих объятий, я вскочила с кровати и, шаркая нарочно сильнее по ковру босыми ногами, подошла к окну и взялась обеими руками за портьеру из старинной парчи.

Он говорит: мы в Италии. «Хорошо... я вот сейчас откину портьеру и “хочу” увидеть за окном нашу пятую линию Васильевского острова, или русскую деревню, или...»

Я сразу раздвинула портьеру.

Передо мной узкая улица с высокими старинными домами — кое-где свет в окнах; на углу на высоте второго этажа статуя Мадонны с лампадой перед ней, а как раз напротив вывески «Sale e Tabacchi... Merceria...».

Я с отчаянием закрыла портьеру.

Когда я со вздохом отвернулась от окна, я увидела, что он лежит на постели, облокотившись на подушку, и с насмешливой улыбкой смотрит на меня.

— Ну что? — спрашивает он тихим голосом.

— Нет, это сон, сон!

— Ну, пусть сон. Иди сюда, любовь моя, — и он протягивает ко мне руки.

Вдруг одна мысль словно молнией прорезала мою память...

От радости я даже подскочила и захлопала руками.

— Поняла, поняла! — вдруг залилась я радостным смехом. — Теперь мне все ясно, теперь я знаю, что это сон! Ведь перед тем, как заболеть, я читала... да-да, читала «Братьев Карамазовых»... Ведь это оттуда, это разговор Ивана Федоровича с чертом... тот тоже уверял, что существует... О, теперь я понимаю! Все понимаю!

— Я не понимаю — не объяснишь ли ты? — насмешливо сказал он.

— Читали ли вы, г-н черт, «Братьев Карамазовых»? — тоже насмешливо спросила я.

— Нет! Это фантастический роман? Я не люблю фантастических романов. Люди, не зная настоящей науки, пишут всегда ужасные глупости, все перепутывают.

— «Братья Карамазовы» — фантастический роман? — вдруг разразилась я.

— Да ведь там же говорится о каком-то черте.

Я сама не знаю, почему я вдруг страшно обиделась пренебрежением, с каким он говорил со мной, и, упав лицом в подушку, расплакалась.

— Ну, милая, не плачь! Как мы могли бы быть счастливы, если бы ты не сопротивлялась и верила мне. Ну, если тебе хочется, Расскажи мне твою фантастическую историю...

Его руки обнимали меня, я, как всегда, чувствовала теплоту его тела, но на этот раз, когда я привязывалась ко всем мелочам, желая напасть на какую-нибудь несообразность, я почувствовала легкое давление кольца на моем плече.

Я схватила его руку:

— Дай мне твое кольцо! Если это не сон, я проснусь с ним завтра.

— Милая, астральное тело может переносить легкие предметы, и мое кольцо ты найдешь у себя завтра. Подумай, как ты испугаешься, сколько будет вопросов, допросов, докторов... Вот если бы ты мне верила... Я не хочу тебя мучить. Поверь мне — и мы будем счастливы. Мы могли бы путешествовать с тобой, я бы показал тебе так много прекрасного и интересного, но теперь я не могу вывести тебя из этой комнаты, потому что ты начнешь опять бороться против сна — бросишься к прохожим и... будут явления для меня нежелательные. Поверь, о поверь мне! Ведь рано или поздно я сломаю твое неверие.

— Вот дай мне кольцо, и я поверю.

— Я тебя хочу охранить от неприятностей и кольца не дам.

— Хорошо, вот я затыкаю эту розу в волосы и крепко сожму ее рукой, когда буду просыпаться.

— Напрасно — лучше бы верить мне просто.

Первой мыслью моей, когда я проснулась, была эта роза — я нашла ее и подняла отчаянный крик.

— Ты, верно, сама вчера купила цветок и забыла об этом, — сказала мама взволнованно, — теперь, после болезни, у тебя стала плохая память: помнишь, как ты уверяла меня недавно, что ты отдала прачке твою белую блузочку?

— Да, я могла забыть, что я отдала прачке, но забыть, как я вошла в магазин, купила розу, прятала ее где-то целый день от всех и потом утром нашла в постели!

— Напрасно вы так думаете, — заметил доктор, — у нервных больных это случается. Еще более длинные периоды времени совершенно исчезают из памяти.

И доктор уложил меня в постель на целый день: я была так слаба и расстроена всем происшедшим и волнением и испугом мамы, которая, очевидно, начинала приходить в отчаяние.

Вечером Костя пришел навестить меня.

— Опять ты, Леночка, расхворалась. Пора бы тебе поправиться.

— Ах, Костя, Костя, ты знаешь про розу?

— То есть о том, как с тобой был припадок потери памяти? Да, доктор мне говорил, а ты не огорчайся...

— Слушай, Костя, ты читал в «этих книгах» о подобных случаях?

— Да... Э, брось, Лена. Я пришел к заключению, что эти книги читать нельзя. Недаром народ называет их «черными»; они, право, расстроят нервы, их нельзя читать... Не будем говорить об этом... Хочешь, я дам тебе совет. Сегодня, если опять увидишь сон, дай ты своему инкубу по физиономии. Посмотри — прахом рассыплется. Брось, сестренка, глупости, не думай, и все пройдет.

Совет, который шутя дал мне Костя, засел у меня в голове.

Когда я пришла к «нему», я все время улучала момент.

Я заметила, что он как-то особенно пристально смотрит на меня.

Я ходила по комнате, все более и более уменьшая круги и ближе и ближе подходя к дивану, на котором он лежал. Лицо его было странно насмешливо, глаза прищурены. Тело его, как желтовато-розовый мрамор, резко выделялось на темной кордовской коже дивана.

Я вдруг сделала несколько быстрых шагов и замахнулась, но он тотчас схватил меня.

Я вскрикнула: так крепко сжал он мою руку.

Брови его сдвинулись, и я испугалась его лица.

— Этого я не позволю. Никогда этого не пробуй.

Он толкнул меня, я упала в кресло, смущенная, испуганная и дрожащими руками закрыла лицо.

— Уходи теперь, — услышала я над собой спокойный, равнодушный голос, — сегодня я не хочу тебя видеть.

И я перешла в «простые сновидения».

Утром я всем показала пять круглых багровых синяков от схватившей меня руки.

Все это объясняли очень просто: я сама во сне сжала себе руку.

Этому я готова была верить. Один раз на даче я насадила себе синяков о деревянную кровать и не проснулась.

Прислуга наша последнее время стала побаиваться меня, как, вообще, простые люди боятся испорченных, какою она меня считала, но, видя мои синяки, она мне сказала:

— Вы, барышня, спать ложитесь без молитвы, эдак не годится: домовый это щиплется... один раз мою тетку прямо избил.

— Как же это было, Аннушка, расскажите мне.

— Тетка моя, барышня, очинно мужа своего покойного любила; как он умер, в речку кидалась... и все это выла, выла... смучились мы с нею. Батюшка ей это: «Смирись, Агафья, молись». А она ему: «Не хочу молиться: коли Бог меня моей жизни решил, — не хочу!» И такое еще сказала, что даже все обомлели от ее слов. Убивалась она это, убивалась — вся высохла даже. Мы ее в больницу возили, в земскую, да разве доктора что понимают... а была у нас в двадцати верстах знахарка... Тетку свозили к ней, и диву все дались: как рукой сняло. Верите, барышня, совсем как рукой сняло. Веселая стала такая, работает, песни поет, шутит. Только с нами в избе ночевать не стала — все на сеновал уходила. Под осень холодно уж стало, я ей и говорю, значит: «Тетушка Агафья, холодно на сеновале-то», а она мне таково весело: «С милым другом и в проруби тепло». Это, барышня, — таинственно подвинулась ко мне Аннушка, — к ней нечистый, будто ее Афанасий-покойник, ходил.

— Ну и что же потом было?

— Отчитывали в монастыре, у старца отчитывали: наш-то батюшка отказался — суеверие, говорит.

— Отчитали?

— Отчитали. Как она в себя пришла, так уже ужаснулась! На богомолье ходила и скоромное перестала есть.

— А как же вашу тетку избили-то?

— А это, барышня, было, когда мы замечать стали... Раз и говорит мне брат Никита: «Спрячемся на сеновал, посмотрим...»

— Аннушка, — вошла мама в комнату, — вместо того, чтобы болтать глупости, идите лучше в лавку.

Вечером Костя, придя навестить нас, со смехом спросил:

— Ну что, исполнила мой совет?

Я молча показала ему синяки.

Он осмотрел мою руку и, слегка побледнев, пробормотал:

— Странно... след правой руки на правой руке и руки больше твоей... это не ты сама...

— Правда, Костя?

— Да не волнуйся, Елена. При нервных болезнях и не то бывает. Существует такой вид болезни, что появляются раны и из них течет кровь. Эта болезнь носит даже особое название «стигматизм» и в Средние века была довольно распространена, да и теперь, хотя очень редко, наблюдается в женских монастырях на Западе.

— Какая же это болезнь?

— Раны, как у распятого Христа. Следы тернового венца на голове, раны от гвоздей на ладонях и на ступнях и от копья под ребром. Появлялась эта болезнь у экзальтированных монахинь, как говорят теперь, на почве истерии. У тебя, как у человека нерелигиозного, она, верно, проявилась в иной форме.

— Я теперь просто-напросто выброшусь из окна, должен же будет сон прекратиться тогда?

— Нет-нет, Елена, ты этого не делай. У людей в таких болезнях находили переломы и поранения, которые они наносили себе во сне. Один священник посоветовал женщине, которую, по ее словам, какой-то дух уносил к себе в башню, сброситься с этой башни. Неизвестно, последовала ли она его совету, но ее нашли наутро мертвой. Лучше, если ты хочешь проверить, возьми у него кольцо, только смотри, Елена, не показывай его никому... Тьфу! Какая глупость! Конечно, никакого кольца не будет, и ты успокоишься. Ну, прощай, сестренка, не ссорься со своим духом во избежание синяков.

Три ночи он не целовал меня!..

Он был ласков, приветлив, рассказывал мне много интересного, но... ни одного поцелуя, ни ласки, ни страстного слова...

А сам был прекрасен, так волшебно-прекрасен!

На четвертый день я лежала у его ног и с безумными слезами молила о прощении, и... он простил меня... «Это сон! Это сон! — говорила я. — Но пусть он снится, этот волшебный, чудный сон!»

— Ты стоишь на своем?

— Не будем поднимать этого вопроса. Дай мне кольцо... Я хочу верить, но не могу... я сама хочу верить.

— Возьми, — вдруг протянул он мне кольцо, — но я прошу тебя поверить сразу, не проверять, не показывать другим. Ты сама видишь, как ты пугаешь своих домашних, как ты волнуешься.

— Я не покажу, — тихо сказала я, одевая кольцо на свой палец.

Наутро поднялось целое следствие.

Розу я могла купить и потом позабыть об этом, но кольцо?

Купить я его не могла. Его возили к ювелиру, который сказал, что ему не случалось видеть такого изумруда, и после долгого осмотра он оценил его в несколько тысяч.

Значит, я «бессознательно ukrала» это кольцо где-нибудь?

Меня повезли к доктору.

Доктор меня пробовал усыпить, надеясь, не скажу ли я что-нибудь под гипнозом.

Но как он ни бился, я не заснула.

Взволнованная, измученная, я начала нервно хохотать ему в лицо и издеваться над его ничтожными знаниями.

— Ухватили хвостики великой науки, — кричала я, — называли чары гипнозом и думают, что они могут бороться с волей человека, а может быть, духа, стоящего на вершине этого знания!

Я опомнилась. Зачем я это говорю; ведь все они сочтут меня за сумасшедшую.

Но было поздно: мама упала в обморок, окружающие

смотрели в сторону, и я поняла, что все решили, что я сошла с ума.

Домой я вернулась мрачная.

Опять я ему не поверила, не послушалась. Я мысленно просила прощения. Я верила, я верила.

Ложась спать, я потребовала, чтобы мне отдали кольцо, я хотела вернуть его, я знала, что Шура заперла его в зеркальный шкаф.

Мне почему-то отказали. Я настаивала, хотела его достать сама — Шура схватила меня за руки.

Тогда я разбила зеркальный шкаф и бросилась на Шуру...

Доктор посоветовал не раздражать меня и отдать мне кольцо.

Я возвратила кольцо. Я просила прощения. Он смеялся и говорил, что я и так хорошо наказана.

В эту ночь мы в первый раз вышли из дома.

О, как прекрасно было море в эту тихую лунную ночь. Цвели апельсины и миндаль. Как легко, как хорошо мне было...

Я смущалась, что на мне нет одежды, и «он» дал мне какой-то тонкий белый блестящий плащ.

— Ведь тебя не видят, — смеялся он.

И правда, редкие прохожие проходили, словно не видя меня, только какая-то старуха с подавленным криком бросилась в сторону.

— Она кое-что смыслит в науке, — сказал он, ласково взглянув на женщину.

На следующий день меня поместили в вашу лечебницу, доктор.

Я не сопротивлялась. Поздно было разуверять окружающих.

Кольцо, как вам известно, искали очень тщательно, и не нашли; сами вы осматривали меня рентгеновскими лучами, думая, что я проглотила его.

Первую ночь в вашей лечебнице я от волнения и беспокойства за маму не могла заснуть.

Я вертелась с боку на бок.

Меня злило, что я заперта на ключ и что из окошечка коридора ко мне кто-то постоянно заглядывал.

— Неужели я не усну и он не позовет меня? — думала я и начинала приходить в отчаяние, но вдруг дверь открылась, и «он» вошел.

Я бросилась к нему, счастливая, плачущая от радости, где я и что со мною.

— Хорошее ты себе доставила развлечение! Добилась-таки, что тебя посадили в сумасшедший дом, — смеясь и целуя меня, сказал он.

— О, теперь мне все равно. Ведь и здесь я могу спать, и ты будешь меня брать к себе. А сегодня хоть я и не заснула, а ты пришел ко мне.

— Мне было очень трудно это сделать, но мне хотелось утешить тебя немного.

— Немного! Да я опять счастлива! Но... но скажи, как тебя зовут и кто ты? Теперь я верю и хочу все знать про тебя.

— О, женское любопытство! Ты, конечно, знаешь миф об Амуре и Психее, легенду о Лоэнгрине, о рыцаре Реймонде и Мелюзине, русскую сказку о «Финисте — ясном соколе»? Помнишь, как те, кто желал проникнуть в тайны своих не совсем обыкновенных супругов, — теряли их? Эти истории сильно приукрашены, но факты верны. Ты любишь

меня, ты теперь веришь мне — зачем тебе знать, кто я и как меня зовут? Разве ты не счастлива?

— Счастлива, но мне хочется называть тебя как-нибудь.

— Дай мне сама какое-нибудь имя.

— ...Ну, как называла тебя твоя мать?

Он весело засмеялся:

— Моя мать? О, это было так давно, так давно.

— Но ты — юноша, ты, пожалуй, одних лет со мною.

— Я — ученый. У науки есть средства сохранять вечную юность.

— Но тогда бы все ученые были молоды!

— Настоящие — да. Они могут сохранить свое тело в том возрасте, в котором они узнали высшее знание, но обыкновенно высшего знания достигают уже в старческом возрасте; один Сен-Жермен сравнительно еще не старый человек.

— Граф Сен-Жермен... Калиостро... Я о них что-то читала.

— И, очевидно, очень мало, так как ставишь эти два имени рядом. Калиостро был посвящен в начатки науки, стоял еще на первых ступенях знания. Ему была дана одна небольшая миссия. Но он стал профанировать науку, и у него отняли силу. Лишенный силы, для поддержания своей славы и положения он пустился в шарлатанство, попался и жалко окончил свое существование в итальянской тюрьме. Употребление своего знания на пустяки — простые «фокусы за деньги» — должно караться рано или поздно.

— Постой, а разве ты добивался не пустяка? Что для тебя любовь такой ничтожной, простой девушки, как я?

— Ты сама не знаешь еще твоего великого назначения. Я взял тебя себе в супруги. Ты получишь и знания и силу, и не будет во всем мире царицы, равной тебе. Придет время, и ты возвеличишься над всеми женщинами, и всё преклонится перед тобою. Пока тебе больше не надо знать, но ты должна вполне довериться мне.

— Доверяюсь вполне.

— Отдаешь ли ты мне твою волю, сердце и душу?

— Отдаю, — прошептала я, полная земного восторга, скло-

няясь в каком-то страстном порыве к его ногам.

— Встань, супруга моя, и ты будешь царствовать вместе со мною.

Он поднял меня и прижал свои горячие губы к моим.

— А скажи, милый... — смущенно спросила я, когда он, усадив меня рядом с собою, гладил мою голову, — твоя сила ведь — добро и для добра? Не злой же ты дух?

Он расхохотался:

— Остатки старых суеверий! Не считаешь ли ты меня демоном? Стыдись! В двадцатом веке!

— Но в двадцатом веке ты пришел ко мне через запертую дверь.

— Это — наука. Люди ошупью ходят, думая, что они много знают: выдумывают сложные машины для телефонов, телеграфов, пользуясь «механической» силой. Все это давно знали мы, настоящие ученые, но пользовались силой «психической», и нам не надо сложных машин. А люди, ошупью добиваясь жалких результатов, уже со смехом недоучек отрицают «настоящую» науку. «Мы этого не знаем, значит, — это вздор», и упираются в своем невежестве или верят шарлатанам, подобным Калиостро, которые показывают им фокусы. Иногда приходится людям верить в то, над чем они недавно весело смеялись. Они дают тогда этому новое название, и им кажется, что все ясно для них: «электричество, магнетизм, гипнотизм» — жалкие крохи, которыми они умеют пользоваться!

Он говорил, тихо покачивая меня на своих коленях, и я, прильнув к его груди, спокойно заснула.

Проснулась я от звука вашего голоса, доктор. Вы, стоя в коридоре перед моей дверью, спрашивали сиделку, как я провела ночь.

Сиделка доложила вам, что барышня все время разговаривала «на два голоса» и что другой голос так не походил на мой, что она несколько раз заглядывала ко мне, но

я сидела одна на постели.

Вы в этот день, доктор, вывели меня из себя. Вы издевались над тем, что я говорила, вы, как опытный следователь, желали меня сбить в моих показаниях. Я была сдержанна сначала, но потом это мне надоело — я наговорила вам дерзостей. Я не сдерживалась, меня даже забавляла мысль: а, вы считаете меня сумасшедшей, так вот же вам — не хочу стесняться. Я находила забавным положение человека, с которого снята ответственность за его поступки. Мне даже хотелось, простите, доктор, ударить вас, но я просто не привыкла к таким вульгарным поступкам. Ах, как мне понравилось, когда маленький, курносенький гипнотизер, которого вы привели ко мне, в ужасе бросился удирать, когда я погналась за ним. Я хотела его поймать и взъерошить его примазанный хохолок. Я не выдержала и расхохоталась.

Ночью я спала, была у него, и он пожурил меня за мои выходки.

— Зачем ты пугаешь их и заставляешь держать себя в сумасшедшем доме?

— Да не все ли равно! Было бы где спать ночью, чтобы приходить к тебе.

— А не лучше ли жить под теплым небом в роскоши и красоте, постоянно быть со мной и не только астральным, но и земным телом?

— Что же я должна сделать?

— Согласись с ними, что все это было бредом, слушайся их. Они выпустят тебя, и ты приедешь ко мне сюда, в Италию.

— Как в Италию? Мы — бедные люди.

Он засмеялся.

— Моя жена — бедна! Успокойся, это произойдет очень просто — без всяких чудес. Мои друзья устроят все самым прозаическим образом.

Помните, доктор, как на другой день я была кротка и послушна? И так благоразумна и тиха. Я так «здро» говорила, что пустили ко мне Костю.

Костя принес мне фруктов и притворялся очень веселым.

— Костя, — прервала я его рассказ о каких-то пустяках, — скажи мне откровенно, считаешь ли ты меня за сумасшедшую?

— Бог с тобой, Леночка: никто тебя не считает за сумасшедшую, просто нервы у тебя... Доктор говорит, что ты скоро поправишься.

— Да, я думаю завтра прийти в себя, — сказала я спокойно.

— Как? — вытаращил он глаза.

— Да так, поправлюсь. Вот увидишь, все как рукой снимет. Мне надоело, что вы все волнуетесь; наконец, бесспорно с моей стороны так огорчать маму... Я завтра поправлюсь.

— Лена! — сказал Костя с волнением, — неужели ты притворялась? С какой целью?

— Как тебе не стыдно это думать, Костя, — возмутилась я, — вот теперь мне придется притвориться... одним словом, я завтра поправлюсь.

— Значит, ты сознала, что все «это» был бред?

— Да, да, сознала — сама вижу, что говорила глупости. Знаешь, ведь я вспомнила, как я купила розу.

— А кольцо?

Я смутилась:

— Видишь, я про кольцо еще не вспомнила, но, верно, вспомню и про кольцо... Снов я больше не вижу...

— А этот человек?

— Полно, Костя, ведь это же была галлюцинация.

— А тогда, на мосту... и потом много раз...

— Случайность, Костя.

— Странная случайность, — пробормотал он.

Костя помолчал несколько минут и потом нерешительно спросил:

— Мне хотелось бы тебя спросить, Лена, что он тебе говорил?

— Да ведь это мне все казалось... Эти души Шарко, теплые ванны действуют удивительно.

— Да, да, конечно... но не можешь ли ты припомнить, повторить мне ваши разговоры?

— Да, право, я все забыла, Костя. Мало ли какую чепуху я рассказывала во время моей болезни.

— Гм... конечно... да... да... Ну, прощай, сестренка, рад, что ты поправляешься, — пойду обрадую маму.

Ночью я сказала «ему», как мне неприятно было обманывать Костю.

— Людей приходится обманывать, как детей. Они скорее верят обману, чем правде, только бы этот обман был преподнесен в привычной для них форме, и не верят истине, если она не соответствует их привычным понятиям.

Когда я посвящу тебя в тайны науки, тебе не придется обманывать: ты будешь заставлять их действовать по твоей воле. Ты уже теперь имеешь силу, которую люди прежде называли «чарами» — теперь зовут гипнотизмом, — жалкими урывками, которыми они пользуются. Я дам тебе власть более сильную, чем власть короля: ты будешь иметь рабов, сколько захочешь... если останешься моей рабыней.

На другой день пришли мама и Шура.

Они обе робко смотрели на меня.

Мама была так бледна и печальна, что я расплакалась.

Я целовала их и уверяла, что все прошло, что я совершенно спокойна, что я «поправилась».

Мама ушла сравнительно успокоенная и просветлевшая.

Как я была глупа, что не слушалась тебя, мой супруг, мой царь!

Вы помните, доктор, как мы с вами мило беседовали в тот вечер?

Сознайтесь, что вы с этого дня стали испытывать мою власть.

Мы говорили с вами долго и много о литературе, о политике, о театре.

Сначала вы наблюдали за мной, но потом увлеклись разговором.

Мне было ужасно смешно. Смешно, как взрослому человеку, когда он болтает с ребенком, подделяваясь под его понятия и слушая его детский лепет.

В разговоре вы ловко избегали касаться моей болезни, но потом не выдержали и спросили:

— А не скажете ли вы, Елена Петровна, куда вы девали это знаменитое кольцо?

— Право, не помню, дорогой доктор.

— Не вернули ли вы его по принадлежности?

— Может быть, — и я засмеялась.

Помните, в каком вы были затруднении?

Расспрашивать дальше нельзя, можно «сумасшедшую» опять навести на ее прежнюю манию, но смех мой задал вам задачу.

Отчего я засмеялась?

Над своими ли галлюцинациями или над вами, скрывая что-то?

Как я хохотала в душе!

Простите, но не одни вы — все казались мне какими-то ребятами: я уже много «знала».

Дня через три вы пустили ко мне маму, и она ушла такая довольная и спокойная. Как она жала вам руки и благодарила вас!

После нее явилась Шура.

Шуре вами даны были инструкции позондировать меня.

Я блестяще выдержала и этот экзамен.

— Скажи, Леночка, — робко начала Шура, — откуда тебе пришло в голову лицо, которое ты нарисовала?

Доктор, доктор! Давая поручения Шуре, вы не забыли и себя; вам хотелось узнать, не существовало ли реальное лицо, в которое я была влюблена.

— Представь, Шура, ведь я вспомнила. Я нарисовала лицо по картинке какой-то английской иллюстрации; я даже вспомнила, как я брала эту иллюстрацию в библиотеке, — отвечала я совершенно серьезно.

— Да?.. А как же ты показывала его Косте... несколько раз?

— Да мало ли похожих друг на друга людей! Он, наверно, преследовал разных лиц по моему указанию. Ты же сама знаешь, что мне «он» чудился даже там, где никого не было.

— Ах, как хорошо, — захлопала она в ладоши. — Как я рада, что ты поправилась!

И она зашебетала о своей любви к какому-то студенту, и я поняла, что возложенная вами на нее миссия окончена.

Я радовалась ее веселости, но мне она была немного жалка. Стоило отдавать свою любовь какому-то мальчишке. Я понимала теперь, почему я никогда не влюблялась, никогда ни один мужчина не казался мне достойным любви.

Я ждала «его»!

Любить «просто мужчину», хотя бы гения или монарха. Какая это мелочь перед «ним»!

А вы, доктор, в это время все более и более увлеклись

мною и даже просили моей руки у мамы.

У вас явилась потребность проводить все свободное время со мною.

Вы стали нервны — то очень веселы, то мрачны. А я? Я играла «пустяком, капелькой силы», данной мне для развлечения.

Я помню, что «настоящая наука» должна быть обставлена глубокой тайной!

Как трудно удержаться от желания попробовать свою силу!

Я уверена, что если бы самому серьезному человеку дали бы эту силу, в первую минуту он обязательно стал бы пробовать ее на пустяках.

Как верно это схвачено Уэллсом в одном из его рассказов.

В рассказе Уэллса один «простой» человек получил дар делать чудеса, и какая глупая путаница получается.

Уверяю вас, когда мне дана была ничтожная доля этой науки, на какие глупости я ее употребила! Заставила вертеться стулья в моей комнате, привела в отчаяние сиделку, заставляя скатываться простыни на кровати, которую она стелила, стучала в углах комнаты, но, когда кувшин с треском перескочил с умывальника на стол, я бросила эту игру, потому что сиделка чересчур перепугалась.

Когда она ушла, меня опять неудержимо потянуло испытать новую силу. Я заставляла подниматься на воздух разные мелкие предметы, поиграла на мандолине, не дотрагиваясь до нее, и, когда вы пришли, влюбила вас в себя, доктор.

Как видите, я была не умнее героя Уэллсова рассказа.

Нет, «эту науку» нельзя давать всем! Что бы за путаница вышла!

В эту ночь мне было стыдно взглянуть на «него».

Когда я вошла, он покачал головой.

Я стала раскаиваться, а он сказал мне:

— Это неудивительно: люди посерьезнее тебя — старцы, убежденные сединами, отказавшиеся от мира, — первое время делают вещи не умнее.

— Слушай, — сказала я ему, — отчего ты своей силой не уничтожишь все зло на земле?

— И моей силе есть предел. А позволь спросить тебя, знаешь ли ты законы, которыми управляется Вселенная? Может быть, все, что ты называешь злом, нужно для какой-нибудь высшей цели, высшего блага? Мало ли и среди людей совершается зла и преступлений, цель которых — дать счастье многим?

— А ты знаешь эту «высшую» цель?

— Знаю. Но тебе еще рано знать; не торопись, любовь моя, всему придет время, а ты пока играй стульями в твоей комнате. Только помни — не разменяй на мелочь данный тебе золотой.

— Нет, нет! Этого больше не будет! Ты прав: что за глупые фокусы, детская игра! Клянусь тебе — этого больше не будет!

Проснувшись, я задумалась: на что употребить данную мне силу? И все казалось мне таким мелким и ничтожным. Сила эта годна была только на мелкие фокусы, которые стоит показывать разве в балагане. Я решила просить у «него» еще знания, и он сказал мне:

— Ты уже прошла первую ступень, тебя уже не занимает поражать и удивлять людей, потерпи — и скоро будешь знать больше.

Инцидент с кувшином и простыней не остался незамеченным — сиделка была так перепугана, что боялась войти в мою комнату.

Сплетня дошла до вас, и вы во время нашей с вами прогулки по саду спросили меня:

— Что за чудеса, Елена Петровна, показали вы сегодня Маше?

— Вы верите в медиумическую силу, доктор? — спросила я.

— Конечно, нет. Это одно шарлатанство.

— Я тоже шарлатанила, дорогой доктор; конечно, глупо было пугать бедную Машу, но это я со скуки. Мне адски скучно: я привыкла работать, гулять... Да, невесело сидеть в сумасшедшем доме.

Вы тогда схватили мои руки, сжали их и стали уверять, что я совершенно поправилась.

Лицо ваше было смущенное, виноватое.

Вам было стыдно, что вы удерживаете в лечебнице уже здорового человека, но вам казалось ужасным расстаться со мной.

Мама и Шура навещали меня теперь каждый день, и мама уговаривала меня ехать домой, но я сама не хотела.

Мне здесь было удобнее — я не рисковала, что мне помешают «спать» ночью.

Я ждала того, что он мне обещал.

Мама в последний раз пришла ко мне очень веселая, хотя немного взволнованная.

— Представь, Леночка, какая счастливая случайность, — начала она, — доктор только что вчера советовал для полного укрепления твоих нервов пожить тебе где-нибудь в хорошем климате, переменить обстановку. Я задумалась, как это устроить, и вдруг получаю письмо от тети Лиды. Ты помнишь тетю Лиду?

— Очень смутно, мама. Я была такая маленькая, когда она уехала... Ну, ну, рассказывай скорей, — спросила я, ужасно заинтересованная. Значит, «он» устраивает мою поезд-

ку через тетю Лиду, с которой мы в продолжение многих лет только изредка переписывались.

— Муж Лиды умер с год тому назад, она поселилась теперь в Сорренто, купила там виллу и предлагает тебе или Шуре погостить у нее... Для тебя лучшего и не выдумаешь! Ты согласна?

— Пожалуй, но я совсем не знаю тетю Лиду.

— О, она тебе должна понравиться, она удивительно умная и образованная женщина. Может быть, она теперь изменилась, но в молодости она была ровная, добрая, правда, немного гордая и чересчур сдержанная, но мы были всегда с ней друзьями.

Она написала такое милое и ласковое письмо и, посылая пятьсот рублей, прибавляет, что если ни одна из вас не захочет приехать, то пусть эти деньги я приму «на булавки девочкам»... Да вот, прочти сама это письмо.

Я развернула письмо и сразу увидала на бумаге водяной знак, хорошо мне известный, — «его» знак.

Когда мама ушла, я положила перед собой письмо и... конечно, я не объясню вам, доктор, каким способом вызвала на бумаге между строками «родственного письма» иные строки:

«Царица, служанка твоя ожидает тебя с покорностью и трепетом. Не медли, дай скорей нам всем счастье поклониться тебе».

Костя пришел к вечеру, чтобы помочь мне перебраться домой.

Он был бледен и взволнован, поцеловал меня крепко и, тщательно заперев дверь, сказал:

— Лена, я пришел узнать правду.

— Какую правду, Костя?

— Ты сама понимаешь, о чем я говорю.

— Право, не понимаю.

— Ты не хочешь сказать мне прямо... позволь задать те-

бе несколько вопросов?

— Пожалуйста...

— Как ты перемещалась к нему? Летала или...

— Костя, да что ты говоришь! Ведь это же был сон, галлюцинации!

— Хорошо, хорошо... Но как? Ты что-нибудь пила? Или натиралась мазью? — задавал он мне торопливо вопросы.

— Ничего подобного.

— Он заставлял тебя поклоняться какому-нибудь изображению?

— Нет.

— Да, да, для каждого века, для каждого интеллекта у «него» другая манера, — заходил он по комнате.

— Что ты говоришь, Костя?!

— А требовал он, чтобы ты всецело отдала ему свою волю, свою душу?

— Да.

— Ага! А отреклась ты от Бога?

— Какие пустяки!

— Конечно, конечно. Мы сами, «интеллигентные люди», давно все отреклись от Бога! «Тому» теперь лафа!

— О чем ты говоришь? — спросила я, испуганная волнением Кости.

— Не могу, не могу, не хочу верить! Это ужасно! — вдруг закричал он, хватаясь за голову. — Неужели это правда?

— Что правда?

— Нет, нет, это, конечно, вздор... я страшно расстроил себе нервы, и мне в голову лезут ужасно глупые мысли... но твой бред... твой бред был ужасно похож на бред... средневековых ведьм... Лена, милая, конечно, все это — вздор, но ты попробуй помолиться. — Он, дрожа с головы до ног, сжал мою руку.

— Костя, родной, да успокойся ты. Я совершенно поправилась.

— Помолись, помолись, Лена.

— Да как же я буду молиться? Я и в детстве никогда не молилась, никто и не учил меня. Нянька заставляла повторять за собой непонятные слова, а в гимназии я стояла на

молитве и исполняла обряды, отбывая известную повинность. Смешно теперь заставлять меня вдруг молиться!

— Лена, Лена, ну прочти хоть «Отче наш», — с отчаянием, протягивая мне руки, снова зашептал он.

В эту минуту я почувствовала, что на мое плечо легла «его» рука и его милый, гармоничный голос произнес:

— Не волнуйся.

И в ту же минуту Костя как бы замер с протянутыми ко мне руками.

— Он все забудет, — снова услышала я голос, — не беспокойся за него. Он хотел приподнять завесу науки, но он слишком слаб для этого и мог бы кончить безумием.

Голос замолк, и Костя, опустя руки, весело сказал:

— Так собирай вещи, Леночка, а я пока пошлю за извозчиком.

Теперь, доктор, я хочу вам сказать, зачем я все откровенно рассказала вам.

«Он» находит, что вы можете быть ему хорошим слугой.

Подумайте об этом серьезно. Вы страдаете от безнадежной любви ко мне, «сохнете и вянете», как пишет Шура. Я сниму с вас эти чары, и вы снова будете веселы и счастливы. «Он» вам даст дар исцелять больных одним прикосновением, одним взглядом или словом.

Подумайте о пользе, которую вы принесете человечеству! Слава, богатство — это пустяки, мелочь, которые всегда приходят к человеку, имеющему власть. И богатство, и слава, конечно, будут уделом «великого целителя»: вам будут воздвигать памятники и осыпать вас золотом. Хотите?

Ну, конечно, хотите. Вы еще не верите сейчас, но вы поверите, потому что хорошие слуги нужны всякому господину, а мой господин желает иметь вас своим слугой.

Под рукописью другими чернилами и другой рукой написано:

«Не верю! Не верю... Никогда!!»



Евдокия Нагродская
ВОСПОМИНАНИЯ

— Я хочу отдохнуть! Подумай, все лето, всю осень я гастролировала в провинции. В феврале мне предстоит дебют на императорской сцене, и я хочу хорошенько подготовиться к дебюту, — Нина Васильевна говорила весело и оживленно, наливая мне тарелку супа.

С Ниной Васильевной или Ниночкой мы состояли в дружбе с приготовительного класса гимназии. Правда, мы теряли друг друга из виду иногда на несколько лет, но это не влияло на наши отношения.

После окончания гимназии она уехала в провинцию со своим отцом. Лет через пять она написала мне несколько писем из Италии, и только из этих писем я узнала, что она училась петь в Москве и сделалась певицей.

Завязавшаяся переписка скоро зачахла, и опять в течение нескольких лет я не имела от нее известий. Потом в газетах стали попадаться заметки о ней:

«Пела в Париже»... «Ездила в Америку»... «Потеряла бриллианты»... «Купила пантеру» и т. д.

Видевшие ее за границей рассказывали о ее успехах, победах и эксцентричностях.

Однажды я совершенно неожиданно получила от нее письмо.

Она писала, что приехала и живет в дачной местности в полчасовом расстоянии от Петрограда, где известный золотопромышленник Сонский предоставил в ее распоряжение свою великолепную виллу.

«Ты не можешь себе представить, какая здесь поэзия, — писала она, — очаровательный, роскошный дом, полный цветов, а вокруг деревья в инее, снег и тишина! Пожалуйста, не отказывайся приехать. Я пришлю на станцию автомобиль. Сонский приятный человек — я вас познакомлю потом, но этот день мы должны провести только вдвоем и вспомнить старое.

.

Встретила она меня преувеличенно восторженно, говорила без умолку.

— Боже мой, как я тебе рада! Ты не можешь себе представить, как я тебя люблю! С тобой связаны приятные и веселые воспоминания!

Замечала ли ты, что с одними людьми связываются веселые воспоминания, а с другими печальные? Вот, например, Верочка Плавнева... Ах, Боже мой, что же я молчу! Ведь Верочка живет здесь — ее муж тут чем-то на железной дороге! Вот отлично-то! Мы непременно пойдем сегодня к ней, ты ее не видала с выпуска? Неужели? Ее фамилия теперь Киренина, у нее куча ребят, а дочери уже пятнадцать лет! Боже мой, какие мы старухи!

Она расхохоталась, глядя в зеркало, где отражалась ее стройная фигура и красивое, совсем молодое лицо.

.

После обеда мы отправились к Верочке по снежным, пустынным улицам.

— Смотри, какое у нас отличное освещение, — воскликнула Нина Васильевна, — электричество! Как хорошо идти! Слышишь, как скрипит снег? Вера страшно обрадуется... Она, наверное, уложила детей и сидит одна — ее муж теперь на линии. Ты знаешь, ведь она тоже стремилась на сцену, но после одного трагического происшествия испугалась «житейских бурь» и вышла замуж. А ведь сначала, стремясь на сцену, хотела отказать своему Петру Ивановичу!

— А что это было за происшествие? — спросила я и спросила больше для того, чтобы слышать ее голос, потому что тишина покрытых снегом улиц, эти заколоченные дачи, окруженные белыми деревьями, странно подействовали на меня. Меня охватило какое-то оцепенение, и казалось, что мы будем идти бесконечно этой белой дорогой, слабо освещенной линией фонарей, уходящих в морозную даль.

Мне казалось, что тишина втягивает меня в какие-то таинственные недра, и только эта линия фонарей удерживает меня на пути.

А Нина Васильевна говорила:

— Это случилось со мной в ту зиму, когда я твердо решила стать артисткой. Мы тогда жили с отцом в Н. Ах, какой это скверный, захолустный городишко! Лето еще прошло сносно, я флиртовала и каталась на лодке, но зимой... Я умирала от скуки и умолила Веру приехать. Конечно, мы развлекались по мере возможности. Вообрази, танцы с гитлеровцами под разбитое пианино, игра в фанты и чай с ситным. Я твердо решила ехать в Москву. И вот, перед отъездом... Это было, как говорит Верочка, 27-го ноября. Верочка помнит число, а я совершенно забыла.

— Сегодня как раз 27-е ноября, — сказала я.

— Да что ты! Ха, ха, ха! Вот так совпадение. Ведь этому прошло уже шестнадцать лет. Признаться сказать, я совсем забыла об этом происшествии — это Верочка мне недавно напоминала о нем. У меня удивительное свойство все скоро забывать. Память у меня хорошая, но я просто не способна к воспоминаниям, да и к чему они? Когда жизнь так богата новыми впечатлениями, я всегда... Постой, куда же мы это зашли?

Она остановилась и, удивленно оглядевшись кругом, сказала:

— Я, верно, пропустила поворот в переулок, надо вернуться назад — тут такой-то овраг и фонарей больше нет.

Я лениво оглянулась тоже.

При слабом свете полускрытой тучами луны я увидела, что вокруг нас не было ничего, кроме занесенных снегом пустырей с торчащими кое-где плетнями.

— Это какие-то огороды... Повернем назад.

Повернувшись, она с недоумением сказала:

— Смотри, фонари потухли — верно, на электрической станции что-нибудь испортилось! Ну да ничего — мы шли все прямо — пойдем обратно.

Мы пошли.

Странное чувство безволия и оцепенения, охватившее меня, все усиливалось. Мне казалось, что темнота и тишина овладели мною, несли меня куда-то, а у меня не было сил сопротивляться.

Нина Васильевна, между тем, бодро шла вперед и со сме-

хом говорила:

— Заметь, Маша — уж такова моя судьба, жизнь моя кишит приключениями большими и маленькими, и стоит кому-нибудь попасть в мою компанию, как сейчас же с ним «приключится приключение». Смотри, вон там видны огоньки, идем на них. Там спросим у кого-нибудь, куда нам идти. Смотри, вот и улица и фонари. О, здесь уже фонари-то керосиновые, — прибавила она, поравнявшись с первым фонарем.

Чем больше мы подвигались вперед, тем больше мы видели освещенных окон.

— Я никогда не думала, что здесь в дачной местности живет зимой так много народа! Удивительно, почти все окна освещены. Хотела бы я знать, какая это улица.

Пройдя еще вперед, она замедлила шаги.

— Странно... очень странно! — пробормотала она.

— Что странно? — с трудом произнесла я. Мне было трудно говорить, смотреть, поворачивать голову — я могла только идти вперед и какой-то удивительно легкой походкой.

— Повернем направо, — тихо и боязливым шепотом сказала Нина Васильевна.

Мы повернули на более широкую улицу.

— Лавка Прусова! Не может быть... И церковь... и аптека напротив! — голос ее звучал взволнованно, и она крепко сжала мою руку.

— Что же это такое? Повернем сюда, за аптеку.

Она быстро повернула и остановилась перед ярко освещенной стеклянной галереей с маленьким подъездом на улицу.

Вбежав по ступенькам, она приблизила свое лицо к двери, чтобы прочесть фамилию, написанную на доске, потом повернулась ко мне.

При бледном свете фонаря я увидела ее лицо со странно расширенными глазами.

— Я хочу... я хочу знать, что же это такое, — проговорила она срывающимся голосом, — я сейчас позвоню туда!

Я смутно чувствовала, что я должна ей помешать, но не

было силы двинуться, я даже словно потеряла возможность говорить, а Нина Васильевна тем временем решительно дернула звонок.

По освещенной галерее мелькнула тень, и дверь отворилась.

Старик-лакей почтительно пропустил нас в маленькую переднюю.

— Это начинает становиться смешным! — воскликнула моя спутница, осматривая и переднюю и старика.

Я видела, что Нина бледна и губы ее дрожат.

Она сбросила шубку и повелительно произнесла:

— Раздевайся, пойдем дальше.

Я машинально разделась и пошла за ней через полутемный зал к ярко освещенной двери в другую комнату — очевидно, столовую. Проходя по гостиной мимо зеркала, я посмотрела в него, и мне показалось, что фигуры, отразившиеся в зеркале, совершенно на нас не похожи.

При нашем появлении в столовой из-за самовара поднялась бледная, худенькая старушка в черной наколке.

Увидав ее, Нина Васильевна отшатнулась, но потом, с каким-то ухарством махнув рукой, твердыми шагами подошла к хозяйке я, протянув ей руку, насмешливо сказала:

— Здравствуйте, Анна Ильинишна.

Старушка робко и как-то страдальчески улыбнулась.

— Вот как хорошо, что вы зашли, Ниночка. А Сережа пошел... пошел к вам — боялся, что вы и проститься-то не придете.

Нина стояла, пристально смотря на старушку, и лицо ее нервно подергивалось.

Печальные глаза хозяйки обратились на меня и, протянув мне руку, она сказала:

— Что же вы не садитесь, милая? Садитесь, пейте чай, замерзли, небось, — конец-то не ближний.

Я машинально опустила на стул.

Нина села рядом со мной и, положив локти на стол, продолжала всматриваться в лицо хозяйки.

— Мороз-то сегодня, словно крещенский, — медленно продолжала старушка. — Любочка беспокоится, что ябло-

ни не укрыли... А вы едете завтра?

Нина как-то дернулась и со злобной насмешкой произнесла:

— Да, да, еду!

Старушка тихо вздохнула и стала мешать ложечкой чай. Мне казалось, что она сдерживает слезы. Потом, словно пересилив себя, она подняла голову и ласково обратилась ко мне:

— А вы тоже на сцену хотите поступить? — Она заговорила со иной, очевидно, для того, чтобы прервать неловкое молчание.

— Да, я тоже... только я поступлю на драматические курсы, — ответила я машинально.

Я сознавала, что говорю какую-то нелепицу, но почему-то не могла ответить иначе. Нина резко захохотала.

— Маша! И ты тоже? Что это: меня морочат или это сон?

А старушка, словно не слыхав ее слов, заговорила:

— Что же, коли чувствуете призвание... Дай вам Бог успеха, а только я...

Она не договорила, дверь в комнату растворилась, и вошла высшая девушка с гладко причесанными волосами, закутанная в темный вязаный платок.

Она молча и неохотно подала руку Нине, но мне она ласково улыбнулась и сказала:

— Здравствуйте, Верочка.

Наступило опять тяжелое молчание.

Я внутренне странно волновалась, стараясь стряхнуть с себя это страшное оцепенение, но не могла и вдруг почувствовала, что говорю.

Я говорила уже несколько минут прежде, чем стала прислушиваться к своим словам, как к речи постороннего человека, и услышала, что рассказываю о поездке в какой-то монастырь и о том, что мать-игуменья велела вывести из церкви какого-то Ивана Игнатьевича.

Во время моего рассказа Нина вдруг вскочила и, ударив ладонью по столу, истерически крикнула:

— Замолчи! Замолчи! Это ужасно!

Но я почему-то совершенно не реагировала на эту вы-

ходку. Я продолжала свой рассказ, удивляясь, что это такое я рассказываю, а старушка и девушка слушали меня и тоже не обратили никакого внимания на Нину.

Выслушав мой рассказ, старушка обратилась к девушке:

— Ты бы, Любочка, велела подгреть самовар, а то Сережа, верно, сейчас придет.

Девушка встала и позвонила, вошла служанка.

— А-а! И Матреша явилась! Вое в порядке! — с хохотом крикнула опять Нина. И опять этот крик не произвел никакого впечатления.

Горничная унесла самовар, старушка вздохнула, а девушка, кутаясь в платок, говорила о незакрытых на зиму яблоках.

Часы мерно и хрипло пробили семь.

— Пойдем, Ниночка, — вдруг неожиданно для самой себя сказала я, — ведь нам нужно еще уложиться.

Нина быстро вскочила, но девушка заступила ей дорогу и резко спросила:

— Неужели вы не проститесь с Сережей? Стыдно, доведя человека до отчаяния, даже не хотеть с ним проститься!

— А-а, — захохотала Нина, — а вот посмотрим, что я вам буду отвечать. Ну-с, я согласна выйти замуж за вашего брата. Что? Ну, что? — застучала она кулаком по столу.

— Конечно, вы оберегаете себя от тяжелой сцены. Какая вы эгоистка, — укоризненно сказала девушка. — Сережа мучится, Сережа страдает! А мама? Посмотрите вы на маму! — скорбно добавила она.

— Так! Так! Слово в слово! — кричала Нина. — Ну, скажите теперь: «Бездушная кокетка!».

— Вы бездушная кокетка! — произнесла девушка возмущенно.

Старушка заплакала.

— Пойдите, теперь посмотрим, что вы скажете! Анна Ильинишна, Люба! Я согласна быть женою Сережи. Ага! Что? — и Нина топнула ногой.

— Что же, уезжайте, — пожала плечами девушка, — и если можете жить спокойно с сознанием, что вы разбили

жизнь человека, то Бог вам судья.

— А-а! Вы думаете, что я вам отвечу: «Все раны залечиваются». Ан нет! Я скажу... например, что очень люблю бегать на лыжах.

— Иногда раны залечиваются только смертью, — и я этого боюсь, — прошептала девушка, закрывая лицо руками.

Нина Васильевна опять топнула ногой и хотела что-то сказать, но вдруг лицо ее исказилось ужасом.

— Бежим! — крикнула она, схватив меня за руку. — Если все будет так, то и дальше... Скорей, скорей!

И она бросилась вон, увлекая меня за собою. В передней мы накинули шубки и выбежали на крыльцо. Но едва мы сделали несколько шагов, перед нами из темноты выросла фигура высокого молодого человека.

— Нина!

Голос его прозвучал таким отчаянием, что я замерла на месте.

— Да бежим, бежим скорей! — тащила меня Нина, — пойми, я не вынесу, не вынесу во второй раз! — кричала она с бешенством.

— Стой! Нам надо объясниться! — раздался его голос. Но Нина Васильевна бежала вперед, спотыкаясь и крича каким-то не своим голосом.

Теперь мое безволие исчезло. Мне некогда было думать о случившемся, я только старалась догнать Нину, черная фигура которой с развивающимися полами шубки мелькала в нескольких шагах впереди. Она бежала неровно, спотыкаясь, бросаясь из стороны в сторону, и казалось, что большая подстреленная черная птица мечется на белом снегу. Вот она шарахнулась вбок, споткнулась, вскочила, опять метнулась и вдруг прикинула к белой земле, раскинув полы шубки, как крылья. Я подбежала к ней.

Нина лежала неподвижно, ее бледное, искаженное лицо ярко освещал электрический фонарь.

Очевидно, порча фонарей была исправлена, потому что передо мной, уходя в морозную даль, ярко горела линия электрических фонарей.

Мне некогда было раздумывать, надо было постучаться в первый попавшийся дом и просить о помощи.

Я оглянулась... крутом были заколоченные дачи, окруженные белыми деревьями.

Я стала громко кричать.

Какие-то двое прохожих поспешили на мой крик. Один из них привел мне извозчика, другой помог мне довести бесчувственную Нину Васильевну до дома.

.

Только к полночи мы нашли доктора. Вызванный мною по телефону Сонский приехал около часа и привез другого доктора.

Нина Васильевна не приходила в себя, и только едва заметный пульс показывал, что она жива.

Видя волнение Сонского, я поняла, что от близок Нине Васильевне.

Ночь прошла без перемен, утром Сонский сменил меня у постели больной, и я только что хотела лечь отдохнуть, когда мне оказали, что меня желает видеть г-жа Киренина.

.

Я тотчас узнала Верочку. Правда, годи взяли свое, она сильно пополнела, но вьющиеся белокурые волосы и светлые кроткие глаза остались те же, даже круглые, полные щеки не утратили своего яркого румянца.

— Ах, Машенька, как я тебя рада видеть, — заговорила она, запыхавшись, — но при каких печальных обстоятельствах мы встретились! Что такое с бедной Ниночкой? Простудилась?

— Не знаю. Доктора еще ничего не могут определить. Мы вчера после обеда пошли к тебе, заблудились, попали к каким-то ее знакомым и...

Я остановилась.

Сидя ночью у постели Нины, я перебирала в уме все подробности нашего странного визита и, припоминая их, мне сделалось как-то жутко. Кто были эти Нинины знакомые? Отчего и она и я, мы вели себя так странно? Припоминая свое собственное поведение, мои слова, я удивлялась все больше и больше, и даже мне пришло в голову, что за вчерашним обедом какой-то яд попал в наше кушанье.

Но наши вчерашние собеседницы вели себя тоже очень странно? Или «это» было в воздухе всей этой местности? Может быть, как у Жюль Верна, какой-нибудь доктор Окс наполнил весь воздух одуряющим газом!

Я решила не рассказывать ничего, ведь я была случайной свидетельницей какой-то Нининой тайны и не хотела быть нескромной.

Чтобы переменить разговор, я стала расспрашивать Веру о ее житье-бытье.

Она сейчас же оживилась, заговорив о своем муже и детях.

— Я вполне счастлива, Маша, — я даже с ужасом вспоминаю, что когда-то чуть отказала Пете и не сделалась актрисой. Подумай сама: ну, годилась ли я для артистической карьеры? Вот Нина, это другое дело, — она создана блистать, покорять. Она может идти вперед, преодолевая все препятствия и даже не поддаваясь чувству жалости, отбрасывая со своей дороги людей, мешающих ей идти к намеченной цели. Я бы не могла так поступить, — меня загрызли бы воспоминания.

У меня есть свойство до того «живо вспоминать», если так можно выразиться, что я иногда переживаю прошедшее вновь, как настоящее. Я вижу прошлое наяву! Да вот, например, вчера вечером... Видишь ли, вчера было 27-ое ноября, — этот день мне очень памятен. В этот день случилось одно трагическое происшествие, после которого я бросила все мечты о сцене и вышла замуж за Петрушу.

Этому минуло шестнадцать лет, а я все с таким же ужасом вспоминаю этот день, и в годовщину его мне тяжело, грустно, и я служу панихиду о рабе Божьем Сергии...

А между тем, я не была героиней этой драмы, я была только свидетельницей, героиней была Нина, а она-то совсем забыла о ней. Когда мы с ней встретились здесь, и я спросила, вспоминает ли она о Рамольцеве, — она с удивлением спросила, кто это Рамольцев. Я в свою очередь удивилась, что она забыла Сережу, а она засмеялась: «Вот охота вспоминать этого сумасшедшего».

Вера задумалась и вздохнула.

— Мне Нина как раз собиралась рассказать вчера эту историю 27-го ноября, — сказала я, почему-то волнуясь, — не расскажешь ли ты мне ее?

— Конечно. Все это так врезалось в моей памяти, как будто это происходило вчера. Нина тогда жила с отцом в N., и мы с ней переписывались. Сначала она с увлечением описывала природу и свою любовь к Сереже Рамольцеву, потом в ее письмах начались жалобы на скуку, на серенькую жизнь. Наконец, она стала меня умолять приехать к ней погостить. Я приехала, тут Нина напомнила мне о ваших мечтах, о «широкой, красивой жизни артистки».

Ты знаешь, какое Нина всегда имела на меня влияние, она совершенно сбивала меня с толку, и мы решили ехать в Москву, где она должна была поступить в консерваторию, а я, за неимением голоса, хотя бы на драматические курсы. Отъезд наш был назначен, и мы ждали только возвращения из командировки ее отца.

А пока мы веселились. Устраивали пикники и импровизированные концерты.

Сергей ходил, как тень, за Ниной, страшно ее ревновал и торопил со свадьбой,

— Благодарю! Что я, дура, чтобы выйти за него замуж? Ты видишь, — он свяжет по рукам и ногам. Ах, скорей бы уехать! Только ты ему не проболтайся, а то наделает он мне скандалов. Ты тоже откажи Киренину. Смотри, как приедешь, так и откажи, — говорила Нина.

Отъезд наш был назначен на 28-ое ноября, а 27-го вечером мы отправились с прощальным визитом к Рамольцевым.

Нина знала, что Сергей уехал и вернется только через два дня, и потому торопилась уехать, чтобы избежать сцены прощанья. Наконец, она написала ему письмо, прося простить и забыть ее.

Но вышло так, что Сергей, словно предчувствуя что-то, бросил дела и вернулся.

— Пойдем, — решила Нина, — все равно объяснения не избежать. Знаешь, я начинаю его ненавидеть и покончу все сразу.

Мы не застали Сергея: приехав и прочитав письмо, он побежал к Нине.

У Рамольцевых мы сидели недолго, мать и сестра Сережи были так расстроены. Перед уходом Нина крупно поссорилась с Любой. Сергей нас встретил в нескольких шагах от их дома. Он стал умолять Нину остаться. Она сначала пробовала его убедить, потом вышла из себя, стала говорить резко и грубо и, наконец, крикнула:

— Отстань ты от меня! Я тебя никогда не любила, — у меня есть любовник, и я еду к нему в Москву!

Тут произошло нечто ужасное. Рамольцев выхватил револьвер и выстрелил. Нина отскочила в сторону, и пуля пролетела мимо нее.

Тогда Сергей выстрелил в себя и упал. Он промучился три дня и, не приходя в себя, умер.

Это происшествие так подействовало на меня, что я заболела, а Нина, хотя и очень расстроенная, все-таки уехала на другой день в Москву. Она об этом почти забыла, а я... я вспоминаю все это до несносности ярко.

Вот, например, вчера я не то задумалась, не то задремала и как наяву увидела, как мы идем с Ниной по занесенным снегом улицам народа N., как она звонит у подъезда Рамольцевых, я видела свет, падающий на снег из стеклянной галереи, видела, как Сидор отворяет дверь, видела даже, как я, проходя по гостиной, смотрюсь в зеркало... Ах, все, все, как было в тот вечер!

По мере того, как она говорила, холодный ужас охватывал меня, и я едва имела силы спросить:

— А где теперь мать и сестра Рамольцева?

— Мать давно умерла, а сестра вышла замуж и живет где-то на Кавказе, — отвечала Вера задумчиво, перебирая бахромку на скатерти.

— А не помнишь ли ты, что говорила тогда, за чайным столом? — спросила я таким взволнованным голосом, что Вера вздрогнула и посмотрела на меня с удивлением. — Ради Бога, припомни — это очень важно!

— Я говорила об одном господине, — которого игуменья монастыря...

Она не закончила, потому что у меня вырвался истерический крик.

Поспешно, путаясь, я передала ей наше вчерашнее приключение, стараясь не упустить подробностей.

Слушая меня, Вера все бледнела и бледнела и, наконец, схватив меня за руку, спросила испуганным шепотом:

— Что же это было, Маша?

— Не знаю, — таким же шепотом ответила я.

Нина Васильевна к вечеру пришла в себя. Она ровно ничего не могла вспомнить с того момента, как мы вчера заблудились.

Дебют ее на Мариинской сцене прошел блестяще.

Евдокия Нагродская

РОКОВАЯ МОГИЛА

По наследству от дальнего родственника мне досталась земля в одной из средних губерний. Я отправился туда, чтобы ввестись во владение и по дороге подумывал, не обновить ли мне дом, не завести ли хозяйство, чтобы иногда уезжать в «свой тихий уголок», когда сутолока столичной жизни слишком утомит нервы, но, приехав на место, я отказался от этого проекта.

Хотя земля была «клад», по выражению моего приказчика, но она была ужасно плоска. Река — тоже клад, судоходная, — текла безнадежно прямо и в таких низких и не живописных берегах! Дом был старый, но не старинный и нисколько не поэтический, так что я решил как можно скорей продать все это.

Я был женихом Нади Ромовой, был в нее безумно влюблен и мне не хотелось сидеть в деревне хотя бы лишние сутки.

— Продать можно, — сказал приказчик, — вот ваша соседка г-жа Горланова уже давно меня спрашивала, она на наши луга зарится. Вот съездите к ней, да смотрите — не продешевите, она дама-делец, — именье-то свое все округляет. Дождется случая и скупает за бесценок. Поезжайте завтра, она с хлебом почти убралась, — не равно в Петербург уедет.

Я отправился.

Усадьба г-жи Горлановой так же, как и моя, стояла на безнадежной плоскости. Это был такой же неуклюжий старый дом в один этаж с мезонином, но он был окружен большим садом — почти парком — и теперь, в ярких осенних красках, этот сад был очень красив.

Въехав на двор, я увидел несколько подвод, нагруженных мешками с зерном, которые, очевидно, собирались куда-то отправлять. За этой отправкой наблюдала какая-то высокая женщина в сером ватерпруфе, с черным платком на голове, которая, едва заметив меня, быстро убежала в дом.

Босая, растрепанная баба через минуту отворила мне дверь, и я с крыльца, через темную переднюю, по пестрому половику прошел в гостиную. Это была почти пустая комната с какой-то сборной мебелью, крытой пеньковой материей.

Я попросил доложить о себе и вручил бабе карточку.

Баба скрылась, а вместо нее в комнаты вплыла полная особа, лет сорока, и представилась мне, как компаньонка г-жи Горлановой.

— Я — Анна Семеновна Прутикова, а Лидия Сергеевна сейчас придет, присядьте.

Анна Семеновна старалась меня занимать разговором о том, о сем и, заметив взгляд, которым я обвел комнату, сказала:

— Здесь была прежде отличная мебель, — старинная, с бронзой,, дом был полон старинными вещами. Кто продавал именье, в этом ничего не понимал. Лидия Сергеевна купила всю обстановку за триста рублей, а один клавесин барон Брек у нее за шестьсот купил. Говорят, за каждую вещь антиквары в Петербурге прямо дрались. А вот и Лидия Сергеевна.

Я поднялся и слегка вскрикнул, пораженный. В квадрате двери, ведущей из сада, стояла высокая, красивая, очень худая женщина, одетая в какой-то белый хитон, с охапкой желто-красных веток клена в руках. Я вскрикнул не оттого, что она появилась, а потому, что в Петербурге, в литературно-артистических кружках, я часто встречал г-жу Горланову, но знал ее под именем Лидии Андал.

Она была мне известна, как автор книги стихов туманно-эротического содержания и как исполнительница античных танцев.

— Неужели это вы, Лидия Сергеевна?! — воскликнул я, пораженный.

— Как видите, — улыбнулась она, откидывая движением головы прядь золотистых волос, упавшую на лоб. — Я рада видеть вас... может быть, больше, чем всякого другого... Анна Семеновна, дайте нам чаю.

Если бы я не был женихом и не так любил Надю, — я, может быть, влюбился бы в Лидию в этот день. Она была умна, образована, интересна и совершенно иная, чем в Петербурге, — словно другая женщина сидела передо мной. Что-то робкое, беспомощное было в ее движениях, голос звучал тихо, и на лице было какое-то странное выражение страдания.

— Я слышала, что вы женитесь на Наде Ромовой? — спросила она.

— Да.

— Как это странно... — она встала и сделала несколько шагов по комнате.

— Почему странно? — спросил я.

— Нет, нет, это я так сказала... — произнесла она, оставаясь.

— Я завидую всем, кто может любить, не боясь призрака прошлого, — быть во власти его страшно... Этот призрак так силен... так властен...

— Надя слишком молода, а у меня, слава Богу, нет «призраков прошлого», — сказал я, смеясь, и вдруг вспомнил, зачем я приехал, и поспешил изложить свое дело.

Она выслушала меня внимательно до конца, потом рассмеялась.

— Неужели вы думаете, что я занимаюсь всем этим? Делами ведаёт Анна Семеновна, она любит меня и блюдет мои интересы, я ей дала как бы опеку над собой в этом отношении; я сама ничего не понимаю в житейских делах. Я пришлю ее завтра к вам, вы и поговорите с ней... Как она решит... А вы приезжайте опять вечером, я прочту вам мою новую поэму... Странную... непонятную для других... но вы ее поймете, я чувствую это... Здесь я сама перерождаюсь и пою другие песни. Я удаляюсь сюда, чтобы, как Антей, прикоснувшись к матери-земле, встать с новыми силами... Мое искусство — моя жизнь, но искусство — требовательный любовник; оно требует всех ваших сил, всех нервов... А здесь у искусства есть соперник, это — «призрак прошлого», — здесь он властвует и требует моей души.

Она говорила, словно в экстазе, закинув руки на затылок, словно поддерживая массу золотистых волос, готовых рассыпаться, и действительно, едва она опустила руки, ее длинные волосы рассыпались по ее плечам, но она не заметила этого и продолжала говорить:

— Пойдемте в сад... Этот сад наполнен воспоминаниями, и теперь, осенью, они встают... Там есть могила... Но нет... я не смею говорить... Вы единственный человек, кото-

рому я покажу эту могилу и пред которым я приподниму уголок покрывала...

Мы шли медленно под красно-желтыми деревьями... шли по ковру из опавших красно-желтых листьев... Мы шли в надвигавшихся осенних сумерках, и красно-желтая полоса заката горела в потемневшем небе.

Стройная женщина в белой одежде, опираясь на мою руку, вела меня вглубь парка, к какой-то одинокой могиле...

Это была, действительно, могила...

Маленькая насыпь почти сравнялась с землей, и полурасколотая плита, покрытая кое-где зеленым мхом, покосилась. Из трещины поднималось несколько длинных травинок. Я наклонился, чтобы прочесть надпись, но Лидия тихо сказала:

— «Не ищите имени — камень нем». Здесь стоит только одно слово: «Амог».

Голос ее был и тих и печален.

— Кто же здесь похоронен? — спросил я.

— Не спрашивайте... вы один видели меня здесь, такую слабую и беспомощную. Я, может быть, сделала вам зло — эта могила роковая... Не раскаиваетесь ли вы, что пришли сюда со мной... Но одному вам я хотела рассказать о тех нитях, что связывают меня... с... но нет, теперь это невозможно... Я прошу только сохранить мою тайну... Простите меня.

Она закрыла лицо руками и опустила на могилу.

На другой день Анна Семеновна явилась ко мне для переговоров. Я продал имение очень дешево — мне было неловко торговаться, а Анна Семеновна решительно объявила, что не может позволить «обидеть» Лидию Сергеевну.

Приказчик ахнул и стал было уговаривать меня подождать, но я даже не стал с ним разговаривать, дал ему доверенность и поторопился уехать потому, что я чувствовал, что Лидия произвела на меня слишком сильное впечатление, и не так она сама, как вся таинственность ее речей и поведения.

Анна Семеновна передала мне от нее записку, где стояло три слова: «Я жду вас». Но я не поехал, извинившись

вежливо-официальным письмом.

Возвращаясь в Петербург, я в вагоне подумал:

«Хорошо, что я уехал — может быть, и вправду эта могила — роковая? Кто знает? Есть многое в природе, друг Гораций и т. д.»

— Так вот где это таинственное убежище Лидии Андал! — сказала, смеясь, Надя, когда я рассказал ей о моей встрече, конечно, умолчав о подробностях. — Что, она знает, что ты — мой жених?

— Знает, — отвечал я, сжимая ручки моей невесты. Все «призраки прошлого» моментально рассеялись, едва я увидел милое личико моей Нади, хотя в душе оставалось что-то неприятно-тревожное, будто в самом деле призрак прошлого.

— Ты не увлекся ею? — опять смеясь, спросила Надя.

— Какой вздор...

— Говорят, что она — роковая женщина и сотнями побеждает сердца... но, знаешь, один раз, — лукаво прищурилась Надя, — я отбила у нее поклонника, даже, злые языки говорят, любовника... Помнишь, два года тому назад приезжал в Петербург знаменитый скульптор N.? Я, право, не старалась, он мне совсем не нравился, и вдруг он мне сделал предложение... Я только потом узнала, что разрушила все планы Лидии Андал.

Лидия, вернувшись в Петербург, два раза писала мне, прося прийти, но я не пошел. Свадьба моя с Надей должна была состояться в январе.

Однажды я шел по набережной. Мимо меня проехал автомобиль и вдруг остановился. Меня окликнули — я подошел — это была Лидия.

— Умоляю вас, сядьте сюда, ко мне, — взволнованно произнесла она, торопливо отворяя дверцу автомобиля, — мне нужно сказать вам два слова, от этого зависит моя жизнь.

Я повиновался.

Мы ехали несколько минут молча.

Она сидела, прижавшись в углу, закутанная в меха, бледная, красивая — пристально смотря на меня.

— Ну, что вы скажете, Лидия Сергеевна? — шутливо начал я, желая прекратить это неловкое молчание.

— Я хочу вас просить об одолжении, даже о милости... Будьте завтра на концерте в пользу -ского общества! Я танцую... Но будьте один... мне это надо... страшно надо — необходимо... от этого зависит многое. Вспомните могилу! Именем лежащего в ней заклинаю вас!

— Зачем же так просить, Лидия Сергеевна? — удивился я. — Я приду на концерт.

— Ах, это еще не все! Я умоляю вас на другой день после концерта поехать со мной туда, в Никоново... на могилу. Ведь всего четыре часа по железной дороге, а там три версты на лошадях от станции... Заклинаю вас!

Она схватила мои руки и смотрела мне в глаза расширенными глазами.

Я смутился.

— Лидия Сергеевна, ведь концерт будет 23 декабря — значит, 24-го, в сочельник, я должен ехать с вами, а этот день я привык проводить в семье.

— Боже, Боже мой! Что же мне делать? — воскликнула она с отчаянием. — Поймите же, что это единственное средство спасти меня! Вы молоды, вы храбры, вы сильны, и вы отказываетесь спасти человека... Сжальтесь надо мной!

Она в каком-то экстазе прижалась ко мне, осыпая поцелуями мои руки. Смущенный, потрясенный, я согласился.

В Никоновке нас ждали. Дом был протоплен, стол накрыт.

Было около девяти часов, когда мы, скрипя полозьями, подъехали к занесенному снегом дому.

Лидия переоделась в тунику из легкой материи, в которой она накануне танцевала свои античные танцы, на ее распущенных волосах белел венчик из нарциссов.

Надо сознаться, она была странно хороша в этом фантастическом наряде, почти обнаженная.

Глаза ее блестели, щеки горели, все движения были нервны, и ее нервность сообщалась мне.

Шампанское, которое мы пили, не веселило нас, мы все время молчали. Она поминутно вздрагивала, к чему-то прислушивалась и взглядывала на часы.

— Чего вы ждете? — спросил я равнодушно.

— Молчите, — шептала она испуганно.

Я чувствовал, что мои нервы совсем расшатались, я хотел было подняться с низкого дивана, на котором мы сидели, — как вдруг она, схватив мою руку, прошептала:

— Пора, пора... приготовься защищать меня, призрак встал из могилы... слышишь, он отвалил плиту... он идет.

Я жутко прислушивался, но слышал только отдаленный лай собак.

— Милый, милый, милый, — шептала она, обнимая меня, — охвати меня крепче... защити меня!

— Лидия Сергеевна, да скажите, что это все значит?

Я сам был испуган. В этом пустом доме, занесенном снегом, наедине с этой женщиной, которая казалась безумной, я начинал чувствовать, что меня охватывает ужас.

— Слушай... слушай... — шептала она, прижимая к моей груди.

Я, действительно, услышал — словно скрип полозьев по снегу. Потом где-то стукнула дверь. Шаги. Да, шаги я уже слышал ясно... Они приближались... Дверь распахнулась. Я вскочил, готовый защищаться от опасности, естественной и сверхъестественной, но... только тихо ахнул.

Передо мной, в шубке и шапочке, стояла Надя, а за ней ее брат-студент.

— Как вы сюда попали, Надя? — воскликнула Лидия. — Надя, милая Надя, дитя, дитя мое, ради Бога, не подумайте чего-нибудь дурного.

— Я ничего не думаю, а я вижу, — гордо сказала Надя. — Я получила анонимное письмо, приглашавшее меня сюда... Брат мой не советовал мне ехать, но я настояла, и очень довольна. Прощайте.

Она повернулась и вышла.

Свадьба моя расстроилась. Вся жизнь изломалась. Надя не хотела слушать никаких объяснений. Лидия не приняла меня, когда я пришел к ней, чтобы требовать от нее

объяснительного письма к моей невесте и выслала мне записку: «Могила эта — роковая для всякого, кто хотя раз приблизится к ней».

Я уехал служить за границу.

Прошло несколько лет. До меня дошли слухи, что Надя вышла замуж. Ни ее, ни Лидии я больше не встречал. Встретил я в каком-то курорте Анну Семеновну, которая состояла компаньонкой при больной даме.

Анна Семеновна мне несколько осветила «загадочную» Лидию Андал, так как долгое время жила у нее в качестве ширмы, за которой воздушная Лидия пряталась, совершая свои коммерческие сделки.

— А что это была за могила в парке, в Никоновке? — спросил я.

— Это в углу парка, у речки-то?

— Да.

— Это еще бабушка прежних владельцев похоронила там свою любимую болонку Аморку, — ответила спокойно Анна Семеновна.

Владимир Ленский

ЭЛЮЛИ

Голубое северное лето. Погода стоит необычайная для Петербурга: безоблачно, знойно, ночи ясны, и зори ночные заливают все небо светом... Моя квартирная хозяйка, со всеми своими чадами, домочадцами и прислугой, перекочевала на дачу. Я остался один в квартире. Сегодня — первый день моего одиночества..

В три часа дня я кончаю мою службу, наскоро обедаю в ресторане — и лечу домой. Господи Боже мой, какое наслаждение — ехать домой, зная, что там тебя ждут пустые, безмолвные комнаты, в которых, в течение многих часов, не услышишь ни человеческого голоса, ни шагов, ни даже шороха платья!..

Я неврастеник. Я весь издерган суетой большого города, бухгалтерией, бессонными ночами. Естественно, почему я так радуюсь тишине и одиночеству. Но пустота моей квартиры недолго радует меня. Во дворе до позднего вечера раздаются голоса, крики, музыка шарманки, граммофонов. И я хожу по комнатам в тоске и не нахожу себе места...

Вот уже десять часов, — а ночь не темнеет; внизу, во дворе, сумерки, а небо над крышами ясно и прозрачно, светит и светит. Слава Богу — во дворе становится тихо. Но во мне еще все дрожит, и голова горит, как в угре...

Я зажигаю на моем письменном столе лампу и сажусь писать стихи. В конторе — я бухгалтер, дома — я поэт. Никто не знает, что я пишу стихи. Я не посылаю их в журналы, не гонюсь ни за славой, ни за гонораром. Я пишу для себя, повинуюсь лишь потребности к лирическим излияниям...

Я пишу об одиночестве, о сладкой отраде ночной тишины, о мечтах, посещающих меня в моем уединении, о любви к неведомой женщине, которой я никогда не видел. Проходит два часа, я кончаю и встаю из-за стола. Кто пишет стихи, тот знает это блаженное состояние поэта, опьяненного музыкой собственных рифм, когда он повторяет их про себя и не может насытиться ими...

Во дворе уже все спят, окна закрыты, огни потушены. Я оглядываю с высоты шестого этажа весь двор-коробку, — всюду темно и тихо. Но тут я замечаю, что вправо от меня, в боковом корпусе, ниже этажом, одно окно раскрыто, и на

его подоконнике, высунувшись головой на железный карниз, лежит женщина в белом, совершенно неподвижно, точно спит. Меня это удивляет: это квартира по моей лестнице, № 20, которая пустовала уже два месяца. Теперь, по-видимому, в ней появились новые жильцы.

Я наклоняюсь из своего окна и, затаив дыхание, смотрю на белую женщину. Я только что писал о любви к неведомой женщине, и этот милый призрак как будто вызван моими стихами к жизни. Меня это волнует. Мне хочется дать ей знать о себе, и я, прерывающимся шепотом, посылаю ей вниз мои новые стихи:

Кто ты, что ночью клонишь к изголовью
Волну душистых, ласковых кудрей?..
Ты — сон весны, зажженный юной кровью!
Приди, приди — и будь всю ночь моей!..

Я умолкаю от переполняющего меня чувства. Проходит минута, и вот — она шевелится, приподнимается, и ко мне поворачивается белое, едва заметное в темноте окна лицо с большими темными впадинами глаз. Она смотрит на меня не больше одного мгновения, но этот миг длится бесконечно долго; мы впились друг в друга глазами и застыли, и время как будто остановилось. Потом она тихо опускает голову, кладет ее на протянутую на карнизе обнаженную руку и снова погружается в безмолвную неподвижность.

Во дворе все молчит, а над крышами бесшумно и светло летит ночь.

Это странно, непонятно — я влюблен в эту незнакомую, таинственную женщину. Мне даже не приходит в голову, что я вижу ее в первый раз. Я давно знаю и люблю ее в своих мечтах и много стихов моих посвящено ей. И я начинаю с ней разговор так, как будто продолжаю нашу давнюю беседу, похожую скорее на то, что я разговариваю сам с собой, потому что она не отвечает мне, и я говорю один.

Я рассказываю ей о том, что чувствую, глядя на нее в эту белую ночь. Мое сердце переполнено любовью, которую я только в незначительной доле излил в стихах. И я

открываю ей мое сердце, в котором происходят невероятные вещи.

— Я не знаю, кто вы, я в первый раз вижу вас, и в то же время мое сердце давно принадлежит вам. Что вы думаете об этом? И что вы скажете на то, если я предложу вам прийти ко мне?.. Я сейчас открою дверь на лестницу, и вы поднимитесь одним этажом выше. Я не зажгу света, и мы будем сидеть в тех же сумерках белой ночи, но уже не разделенные пятиэтажной пропастью, а тесно прижавшись друг к другу... О, вы должны прийти! Я вас жду. Я вас люблю!..

Она молча смотрит на меня. Еще мгновение — и она, ничего не ответив мне, соскальзывает с подоконника, и окно тихо закрывается.

Я иду в переднюю и открываю дверь на лестницу. Потом сажусь в кресло у стола и принимаюсь ждать. Я сомневаюсь в том, что она придет, и мечтаю об этом. Боже, что было бы со мной, если бы вдруг сейчас скрипнула дверь и она, как тень, проскользнула в мою комнату!

Моего слуха вдруг коснулся тихий шорох, и я срываюсь с места, как сумасшедший. В полосе света, падающей с освещенной лестницы в переднюю, я вижу скользящую в дверь тень, и у меня в руках бьется теплое женское тело в легком платье, с накинутой поверх шелковой шалью.

— Боже, вы пришли?!

Она отворачивает от меня лицо, пряча его на моем плече от моих поцелуев, которыми я осыпаю ее. Ее шея, плечи, руки девически нежны; она легка, как ребенок, я несу ее на руках в комнату...

Меня душит волнение. Мы сидим на диване, прижавшись друг к другу, погрузившись в сладкое полужабвение, полное неизъяснимого очарования желанной близости. Ее маленькие руки холодны и дрожат в моих руках. Я целую их и называю ее — Эллоли. Мне однажды снилась женщина с этим именем, которую я любил во сне. Это была она, я теперь уверен в этом. Какое чудо: она пришла ко мне из сновидения!..

Эллоли кладет свои руки мне на плечи и смотрит мне в глаза тихо и серьезно. Ее грудь, близко около моей груди,

поднимается и опускается. Меж темных, полусомкнутых ресниц тускло поблескивают глубокие зрачки. Она вдруг совсем сомкнула веки — и ее губы коснулись моих губ. Нежные, обнаженные руки охватили мою шею, она так сильно прижалась губами к моим губам, что я задыхаюсь и почти теряю сознание. В глазах у меня мелькают красные круги. Я падаю навзничь и увлекаю ее за собою. Боже! какое блаженство и какое страдание!..

Она отрывается и, приподнявшись, смотрит на меня своими жуткими темными глазами, точно хочет удостовериться — жив ли я еще. Мгновение я лежу бездыханный, не могу схватить воздуха сжатым, пересохшим горлом.

Но Эллоли уже нет около меня. Белея в сумерках, она, как призрак, плывет к двери, волоча по полу темную шаль. Я не могу двинуться с места. Только протягиваю руки и со стоном говорю ей:

— Не уходи... Будь моей, Эллоли!..

Она оборачивается в дверях, кивает мне головой — и исчезает.

— Завтра... — слышится откуда-то тихий, точно где-то далеко звучащий голос.

Ночь отходит. В окно сияет предутреннее небо. На карнизах воркуют голуби, кричат воробьи. Свежий утренний ветер холодом обвевает мне лицо и руки...

Я болен, на службу не иду, целый день лежу на диване и думаю о том, что случилось со мной ночью. Я не могу поверить, что это было на самом деле, а не во сне. А между тем, ощущение поцелуя Эллоли еще живет во мне, горит в моем мозгу и на губах; оно временами становится почти невыносимым — у меня перехватывает дыхание и холодеет лицо от внезапно покрывающей его бледности. «Она сказала — “завтра”», — снова и снова приходит мне в голову, и по мере того, как идет время и приближается час ночи —

мною овладевает нервное возбуждение и все во мне начинает дрожать...

К вечеру слабость моя проходит, и я опять представляю собой один кусок нервов. Я уже не могу лежать, и не хожу, а бегаю по комнате, без цели тыкаясь во все углы. В девять часов раздается звонок. Эллоли?..

Нет, это не Эллоли. На пороге стоит молодая девушка, Таиса, моя сослуживица. Она пришла провести меня; я сегодня не был в конторе, и они все там обеспокоились — не заболел ли я. Я, однако, думаю, что девушка просто воспользовалась случаем, чтобы побывать у меня. Она знает, что я равнодушен к ней; проходя мимо нее в конторе, я всегда на минуту задерживаю свой взгляд на ее белокурой головке и нежной белизне шеи и груди, выглядывающих из выреза блузки. Ей не больше девятнадцати лет; у нее розовое лицо, голубые глаза, свежие, малинового цвета, губы и прекрасные пушистые волосы. И при этом она великолепно сложена и обладает парой маленьких, нежных ручек и парой прелестных, стройных ножек, всегда обутих с изяществом настоящей столичной модницы.

Таиса снимает шляпку и, по-видимому, надолго располагается у меня. Она слегка кокетничает со мной, и ее кокетство понемногу начинает действовать на меня, несмотря на досадное чувство, вызванное несвоевременностью ее прихода. Я не могу спокойно смотреть на ее колени, сжатые под легкой, белой летней юбкой, на ее тонкие ноги в белых чулках и белых туфлях, на молодую грудь и круглые плечи, едва прикрытые прозрачной блузкой, сквозь которую видны кружева лифа и белая, как молоко, кожа нежного девического тела.

И в то же время я сижу, как на иголках, нетерпеливо ожидая ее ухода. Я болтаю с Таисой, смеющейся и дразнящей меня своим тонко пахнущим телом, и думаю с тоской: «Уже наступила ночь, скоро придет Эллоли, а у меня заперта дверь, и здесь сидит Таиса!..»

Я прислушиваюсь к умолкающему на дворе шуму и представляю себе, как Эллоли открывает свою дверь и тихо поднимается по лестнице. Найдя мою дверь запертой,

она освобождает из-под темной шали свою белую, обнаженную руку и нажимает пальцем кнопку звонка... Я вдруг ясно слышу звук задребезжавшего в кухне звонка и срываюсь с места, забыв о Таисе и обо всем на свете. Отпираю дверь, на лестнице горит электричество, и никого нет...

«Странно», — думаю я в недоумении, возвращаясь в кабинет. — Звонок был так ясно слышен, а на площадке перед дверью никого нет!»

В темном кабинете я натываюсь на Таису, которая собирается уходить. Я беру ее за руки и нервно сжимаю их.

— Вы слышали звонок, Таиса?

— Пустите, мне больно! — говорит она, вырывая свои руки.

В сумерках белой ночи ее лицо кажется совсем белым, а глаза темными впадинами. Вся она издает тонкое, свежее благоухание, присущее очень молодым девушкам. Я вдыхаю этот аромат, и у меня от него кружится голова. На моих губах горит ощущение вчерашнего поцелуя. Я надвигаюсь на Таису, ни слова не говоря. Она испуганно отступает, со страхом глядя на меня, потом бросается за письменный стол и останавливается у раскрытого окна, беспомощно оглядываясь по сторонам. Она тихо, полным ужаса шепотом говорит:

— Что с вами?.. Вы совсем с ума сошли!..

С последними словами она уже бьется в моих руках...

— Будь моей, я тебя люблю... — бормочу я, теряя рассудок, умирая от любви.

Она борется, но скоро слабеет и уступает. Ее голова закидывается назад от бешеной силы моего поцелуя. Она только тихо стонет, задыхаясь под сжавшими ее рот моими губами...

За окном раздается легкий вскрик, или, скорее — сдавленный стон боли. Холодная дрожь бежит у меня по спине, и я отрываюсь от Таисы. Еще держа ее в объятиях, я смотрю через ее плечо в голубоватый сумрак двора — и то, что я там вижу, наполняет мою душу безграничным отчаянием.

Эллоли стоит у самого карниза окна на коленях, откинувшись грудью назад, точно собирается ринуться вниз, в темную пропасть каменного двора-колодца. Она видела, как я целовал Таису! Боже, дай ей сил перенести это!..

Оттолкнув от себя девушку, я закрываю глаза рукой, чтобы не видеть то, что должно свершиться. Таиса, плача, бежит в переднюю. Я стою неподвижно и жду, не дыша, с остановившимся от ужаса сердцем. Неужели ты *это* сделаешь, Эллоли?..

Со звоном захлопывается окно. Слава Богу! Я отрываю руку от глаз и вижу мелькнувшую за стеклом белую тень Эллоли. Она исчезает в сумраке комнаты, и теперь кажется, что черные стекла окна покрывают пустоту жилища, в котором никого и не было. Никого не было...

Таиса ушла, оставив дверь на лестницу открытой; у меня нет сил пойти затворить ее. Я сижу в кресле у стола, совершенно убитый: я ничем не могу оправдаться перед Эллоли, и она не может простить меня!..

Но, Боже мой, я вчера сказал ей: «Будь моей, Эллоли!» И она ответила: «Завтра...» И вот, это «завтра» пришло — и все пропало. Она не придет и никогда не будет моей.

Сумеречный час ночи подходит к концу. Но в комнате все еще оваяно серой мглой, точно траурным газом. Сейчас наступит утро — и все будет кончено. Можно запереть дверь и не ждать. Эллоли нет и не будет...

Я поднимаюсь с кресла и вижу — на пороге стоит Эллоли. Она молчит и смотрит на меня большими глазами, жутко темнеющими на белом, как бумага, лице. Я дрожу всем телом.

— Эллоли!.. — говорю я, не веря своим глазам. — Боже, ведь это ты!..

Она молчит, и я вижу, как ее глаза наполняются влагой, и крупные слезы скатываются одна за другой по ее лицу, на грудь, на пол.

— Не надо слез, Эллоли... Ведь ты пришла, значит — простила...

Она тихо качает головой, поднимает край своего платка и закрывает плачущие глаза. Потом поворачивается и

бежит, волоча по полу темную шаль.

Никого нет. Ничего не слышно... Я лежу у порога моей комнаты, припав лицом к полу, где она стояла и плакала. Стояла и плакала... Мои губы касаются этих нескольких соленых капель — единственной горькой радости, оставшейся мне от Эллоли...

Днем швейцар приносит мне почту, и я справляюсь у него, кто живет теперь в двадцатом номере. Швейцар удивленно смотрит на меня.

— Там никто не живет уже два месяца.

— Но теперь, теперь! — раздраженно говорю я. — Ведь квартира уже сдана?..

— Нет, она никому не сдана, она заперта, и в ней никто не живет.

Я смотрю на него, ничего не понимая. «А Эллоли? — хочу я сказать. — Ведь я сам видел ее там, только еще этой ночью!..»

Но я ничего не говорю. Швейцар уходит и, затворив за ним дверь, я со стоном сжимаю пальцами стучащие виски и качаюсь как пьяный. Боже, что же это было?..

Кто ты, Эллоли?..

Владимир Ленский

НОЧЬ СЕВЕРНОЙ ВЕСНЫ

Я поселился в Финляндии, в глухом и диком месте, у озера, среди елей и сосен — и жил там одиноко, как отшельник. Безлюдье, свежий шум деревьев, влажные испарения земли и, куда ни посмотришь, небо и зелень — успокаивали мои сильно расстроенные нервы, вливали в мое тело покой и тишину глубокого уединения. Я отдыхал и как будто выздоравливал после тяжелой, долгой болезни. Много ходил по лесу, лежал на траве под солнцем, катался по озеру в лодке. Чувствовал, как прибавлялись силы, восстанавливалось душевное равновесие и росла с каждым днем жажда жизни. Но в душе, где-то глубоко, гнездилась по-прежнему тоска, незаметная днем. И с наступлением ночи я становился тих и грустен, как поляны под легким туманом или как дымящие паром глубокие ляги. И возвращался домой уже весь налитый сном, смутными, белыми грезами таинственно светящейся ночи. Спал чутко и тревожно, часто просыпался и, подняв голову, смотрел на раскрытые окна, погружаясь взором в бледную синеву негаснущего неба, прислушиваясь к свежему шелесту берез, охваченных холодным ночным дыханием северной весны...

Так я прожил две недели. И однажды утром я получил известие о твоей смерти, мой милый, дорогой друг, заставившее меня памятью вернуться к недавнему прошлому и снова мучительно пережить его в воспоминании. Твоя смерть наполнила меня печалью, налила мое тело тяжестью угнетения, омрачила мою душу тенью скорби. Я бродил целый день по холмам, в недоумении и грусти, часто уставал и садился отдыхать и потом снова брел с усталостью в душе и в теле.

На закате я сидел на высоком холме, по склону которого стояли тонкие, доверху голые сосны и молодые темно-зеленые ели с острыми вершинами. Между стволов, как сквозь редкий частокол, светилась холодная гладь озера, казавшаяся опрокинутым небом, а выше, сквозь черные узоры хвоев, переливалось огненным золотом заходящее солнце. Его острые, тонкие лучи тянулись ко мне и слепили глаза, заливая их слезами, — брали, как теплые, женские пальцы, за горло, щекотали и сжимали его. И я заплакал, наконец, о

тебе, мой бедный друг, о твоей грустной, неведомой мне смерти. Мне казалось, что я стал совсем, совсем одинок на земле...

Там просидел я до ночи и не заметил, когда она наступила. Заря не гасла, и белесоватый свет стоял на полянах и отражался в озере. Но я узнал ночь в неподвижности сосен и елей, в синеватом отливе травы на холмах, в смутных, тающих контурах лесных отдалений. Я дрожал от холода; возвращаясь домой, промочил в сырой траве ноги. И каждый шорох в ветвях, всплеск в озере, шелест в траве — заставлял меня вздрагивать и испуганно оглядываться. Нервы натянулись и дрожали, как струны, и мне казалось, что ты идешь то рядом со мной, то позади меня, торопясь и прячась от моего взгляда. Я бодрился и старался не думать об этом, но невольно ускорял шаги и боялся смотреть по сторонам...

Около моей дачи, окруженной со всех сторон высокой, черной стеной елей и сосен — мне почудилось в белесоватом сумраке — кто-то метнулся из под мохнатых ветвей елей на поляну и, смутно промелькнув в открытой калитке, исчез во дворе, в тени тихо шелестевших берез. У меня задрожали колени и сильно забилося сердце. Я остановился перед калиткой и долго размышлял: вернуться в лес, к озеру и там переждать до утра или идти в пустой дом, куда, несомненно, кто-то уже проник... Озноб прохватывал мое тело ледяными струями дрожи, от которой начинали стучать зубы. «Ну что ж, — подумал я, — мне необходимо согреться и, наконец, давно пора спать...»

Я занимал весь верхний этаж, где было три комнаты — кабинет, столовая и спальня и еще большая, стеклянная терраса. В нижнем этаже помещалась моя старая кухарка, проводившая во сне все те часы, в которые ей не приходилось стряпать или убирать мои комнаты. Пересилив страх, я поднялся по наружной скрипучей лестнице и засмеялся своему страху, увидев на дверях нетронутый замок. Но тотчас же мой смех сменился ужасом, окатившим меня с головы до ног холодным потом. Мне послышались за дверью шаги и я заметил сквозь стекла, в тускло освещенной ночным

небом террасе, большую тень, проплывшую из одного конца в другой и пропавшую в дверях комнаты, где был мой кабинет. «Ага! — подумал я. — В кабинете раскрыто окно, из которого он вылезет и спустится вниз по березе, близко стоящей у окна. Прекрасно, пусть спускается. У меня вовсе нет желания ловить его...»

Я нарочно медлил отпирать замок, чтобы дать время предполагаемому вору вылезть в окно и спуститься по березе на землю. Когда прошло время, достаточное даже для самого неловкого вора, чтобы проделать это, я стал отпирать замок. Руки сильно дрожали и ключ долго не попадал в замочную скважину. Отперев, наконец, дверь, я вошел на террасу и остановился, вслушиваясь в тишину комнат. Во всех трех комнатах были раскрыты окна, как я оставил их, и слышно было только, как шумели во дворе от ночного холода высокие березы...

Я прошел террасу, стараясь не стучать ногами — колени мои дрожали и сердце билось бешеным темпом — и, подойдя к двери кабинета, остановился, вытянул шею и, заглянув туда, обмер. Ты сидел у письменного стола сбоку, в глубоком кресле, откинув голову с длинными до плеч волосами на спинку, глядя на меня в упор неподвижными, стеклянными глазами. Левая часть лица была в тени, правая освещалась по линии лба, носа, губ и подбородка из окна зеленоватым светом белой ночи. На ручках кресел лежали, тоже освещенные, бледные, тонкие кисти рук...

«Не может быть... галлюцинация...» — лихорадочно билась у меня в голове одна и та же мысль, в то время как руки, ноги — все тело оцепенело и лишилось способности двигаться, как это часто бывает во сне, когда приснится что-нибудь страшное. «Нужно только подойти к столу — и я увижу, что ничего нет», — думал я, припоминая все, что когда-то читал о призраках, — и не мог двинуться, не мог оторвать взгляда от знакомого и страшного в своей мертвой неподвижности лица со стеклянными глазами. «Зачем... как ты пришел?» — хотел спросить я, но язык одеревенел и не шевелился во рту...

Я не помню, как я подошел к столу и опустился в другое кресло. Мы сидели друг против друга и ты смотрел все в ту же сторону, на дверь, мимо меня, не меняя позы и не снимая белых рук с ручек кресла. «Вот, я заговорю — и он исчезнет», — пронеслось у меня в голове и я с усилием прошептал:

— Не хочешь ли, чтоб я зажег лампу...

Но ты не исчез, не шевелился и ничего не ответил. Только по тонким, фиолетовым губам проскользнула твоя обычная, загадочная усмешка. Твое бритое молодое лицо, с синеватым налетом на верхней губе и подбородке, стало строгим, непроницаемым. Бледные веки опустились на глаза, губы сжались, брови сдвинулись. Казалось, ты спал, погрузившись душой в тяжелый, темный сон, или приготовился долго, внимательно слушать какой-то мрачный рассказ. И это выражение внимания в твоем лице внушало мне говорить и оправдываться в чем-то перед тобой. И, повинуясь этому внушению, я заговорил нервно, быстро, боясь остановиться, чтоб не потерять нити стремительно бежавших мыслей, торопясь высказать то, что лежало на моей душе камнем и мучило меня. Ты сидел неподвижно и слушал с закрытыми глазами. Изредка вздрагивали твои тонкие губы и по ним неуловимо скользила непонятная усмешка...

— Признаюсь, я не думал, что увижу тебя когда-нибудь после того, как узнал, что ты умер, — говорил я почти шепотом, наклонившись к тебе и чувствуя на своем лице и руках легкий холодок, казалось, исходивший от тебя, — но ты, пожалуйста, не подумай чего-нибудь... я очень, очень рад, что вижу тебя... Тем более, что мне представляется возможность рассказать тебе все, как было. Я чувствую, что должен рассказать, потому что ты не все знаешь... Я буду краток, уверяю тебя, и думаю, что закончу за долго до утра, когда тебе, вероятно, нужно будет исчезнуть... Мне необходимо начать с моего первого знакомства с Викторией. Я много раз просил тебя познакомить меня с ней, но ты почему-то уклонялся от этого и даже избегал говорить о ней со мной. Я познакомился с ней без тебя в саду, на музыке. Она сама подошла ко мне и просто сказала:

— Я вас так давно знаю по рассказам ваших друзей, что мне странно не быть с вами знакомой.

Весь тот вечер мы прогуляли в саду, вдвоем. Виктория была жизнерадостна, остроумна и как-то особенно ярко красива при электрическом освещении эстрады. Она посматривала на меня немного сбоку, как смотрят голуби, с любопытством и некоторой робостью. Мы знакомились друг с другом, задавая вопросы, игравшие роль щупальцев, которыми мы зондировали душу один у другого. Я еще не понимал, в чем была сила странного очарования Виктории, но ясно чувствовал, что эта девушка может завладеть моей душой, разумом, всеми моими чувствами и помыслами. Поздно ночью мы возвращались из сада. Виктория притихла, всю дорогу грустно молчала и, когда я взял ее об руку под локоть, она прижала мою руку к своей груди и приникла ко мне плечом и бедром...

Это было накануне того утра, когда, помнишь, ты решил, наконец, привести ко мне Викторию, чтобы познакомить меня с ней. Не дожидаясь, конечно, уже ненужного представления, мы с Викторией тогда поздоровались как старые знакомые. Ты сделал удивленное лицо и, как-то странно скривив рот, как будто желая улыбкой подавить и скрыть свое волнение, сквозь зубы проговорил:

— Вот как! Вы уже знакомы? Тем лучше...

— Да, мы вчера познакомились... в саду, — сказал я, бросив на Викторию беглый взгляд.

Она кусала губы, видимо, сдерживая смех... Я не знаю, что хотел ты сказать последними твоими словами. Помню только, что мы все трое смущенно засмеялись и спешили изгладить впечатление этой фразы.

Утром меня поразила и очаровала еще больше, чем накануне вечером, красота египетского лица Виктории, именно египетского, потому что такая прямая линия лба и носа, такое резкое очертание тонких губ и такой миндалевидный разрез глаз, такая матовая бледность лица и чернота густых волос — были только у египтянок и притом — древних, хранивших чистоту расовых линий и красок. Она была почему-то нервно настроена, много смеялась быстрым,

отрывистым смешком, торопила ехать куда-то за город, в лес и заражала меня и тебя такой же нервной веселостью, заставлявшей и нас часто, отрывисто смеяться. Она вся как будто лучилась напряженной непрерывной возбужденностью тела, и я, попав в круг этих лучей, сразу зажегся и потерял голову...

Мы второе ушли в темный, сосновый лес, который тихо стоял далеко от города, в горячем зное полдня. Среди стволов сосен, под зеленой тенью хвоев, мы притихли и долго шли молча, как будто забылись и в этом забытии потеряли друг друга. На голове у Виктории, ты, вероятно, помнишь, был белый шарф из прозрачной материи; серое газовое платье мягко облекало ее красивое, женственное тело с невысокой грудью и лирообразными бедрами, и сквозь рукава светились тонкие белые руки. Она шла впереди нас, изредка, вполоборота, оглядываясь по-голубиному, и я, с дрожью в теле, ловил эти короткие черные взгляды. Ты же старался незаметно опередить меня и нагнать Викторию, и когда тебе удалось это — ты взял ее об руку, и вы пошли вместе. Я в некотором отдалении шел за вами и видел сон, жгучий сон любви, в котором солнечным центром была Виктория. Как видишь, я не скрываю, что любил Викторию...

В лесу было тихо и пахло разогретой солнцем хвоей. На открытых песчаных холмах, часто попадавшихся среди леса, солнце обливало тебя и Викторию ярким потоком света, и тогда вы оба казались мне прозрачными, нездешними существами, светившимися в лесных прогалинах моего сновидения. Я всходил за вами на холм — а вы уже сбегали с него и углублялись в темную чашу. И я торопился нагнать вас настолько, чтобы только видеть белый шарф Виктории, который давал возможность длиться моему сну. Но в душе у меня была тревога. Я чувствовал, что с нами что-то должно случиться. Кроме того, я видел по твоей спине и затылку, что у тебя есть какое-то затаенное, недоброе ко мне чувство. Мне нужно было оставить тебя с Викторией вдвоем, уйти из леса и вернуться домой. Но я не мог этого сделать, потому что попал в круг лучей, исходящих от Виктории, как от солнца, и они влекли меня за нею...

Налетел ветер и протяжно, торжественно загудел в вершинах сосен. В беззвучии дремавшего под солнцем леса это было так неожиданно, что я остановился, поднял лицо к вершинам и заслушался их непонятной, жутко-величественной музыкой. И вдруг ветер сорвался с вершин и бросился вниз — и, подняв с ближнего холма пыль, закружил ее и понесся на меня. В одно мгновение я был окружен, ослеплен золотым, горячим вихрем зноя, пыли, резкого запаха сосновых игл, и мне казалось, что я вместе с ним кружусь, отделяюсь от земли и куда-то лечу, лечу... Вихрь пронесся дальше и скрыл от моих глаз тебя и Викторию. Но вот, Виктория пробирается сквозь его пыльную завесу, белый шарф одним концом бьется над головой, платье трепещет и полощется у ног — и она бежит ко мне, как будто с ужасом в больших черных глазах, схватывает обеими руками мою руку выше локтя, приникает к ней лицом и волнуемой грудью дрожит и тяжело дышит... Что между вами произошло? Я ничего не понимал и не знал, как ее успокоить... А ветер опять взвился кверху, и там снова протяжно загудели вершины сосен...

И тогда я услышал твой громкий, злой хохот, от которого у меня дрожь побежала по спине. Ты стоял в отдалении, прислонившись спиной к сосне, с черным лицом и растрепанными вихрем волосами и хохотал, широко раскрывая рот и сверкая белками закатившихся глаз. Виктория со страхом в лице смотрела на тебя и жалась ко мне.

— Я не пойду дальше, — шептала она, — пойдем отсюда...

Мы повернулись и пошли назад. Обернувшись, я крикнул тебе:

— Мы идем домой!

И потом, уже не оборачиваясь, я слышал, как ты шел за нами, в таком же отдалении, как прежде шел я за тобой и Викторией...

Скоро, еще в лесу, мы потеряли тебя из виду. Я привел Викторию к себе, и мы вместе обедали, в моей столовой, залитой оранжевым светом заходящего солнца. Как-то особенно празднично сияла белоснежная скатерть и сверкали бокалы с красным вином, а букет темных роз, купленный

нами по дороге и поставленный посреди стола в высоком, узком бокале — придавал столу и всей комнате вид теплой, интимной уютности. Виктория, уже оправившаяся после лесной прогулки, была, как и утром, нервно весела и смеялась таким же частым, коротким смешком. Она много пила вина, и ее миндалевидные глаза блестели жутким, тусклым огнем, прятавшимся под темными ресницами полуопущенных век. От ее долгих, пристальных, как будто гипнотизировавших взглядов я лишался воли, и мной овладевало непонятное беспокойство. Мне казалось, что ты имел на Викторию какие-то права, и я не хотел нарушать их. Я опускал глаза и старался не замечать ее возбуждения, и в то же время весь дрожал от мысли о возможности обладания этой красивой, страстной девушкой.

К концу обеда возбужденность Виктории, казалось, достигла высшей степени. Она тяжело дышала, говорила с трудом, часто и нервно смеялась, поднося ко рту смятый в комочек розовый, шелковый платок и, умолкая на минуту и бледнея, в изнеможении откидывалась на спинку стула и закрывала глаза. После обеда мы перешли в кабинет, и Виктория прилегла на софу.

Я сидел к креслах, у окна, и от моего взгляда, которым я жадно впивался в нее, не скрылась намеренность ее движения, завернувшего юбку и открывшего одну ее ногу до колена. Я увидел маленькую, с крутым подъемом ногу, туго обтянутую мягкокожим черным ботинком и голень, до половины одетую, как у детей, в ажурный шелковый чулок. От края черного чулка до колена нога была голая, и кожа на ней, розовая, атласная, без одного пятнышка, как будто светилась на темно-зеленом бархате софы. Женские ноги, и в особенности колени волнуют и трогают меня до щемящей боли в груди своей детской, нежно-беспомощной красотой. Ты знаешь мою слабость: я готов до потери сознания целовать колени женщины и ничем больше не посягнуть на ее тело, которое в эти минуты я боготворю, как святыню. Но колено Виктории, этой странной девушки, которая, казалось, всегда была окружена знойным воздухом страсти, ее колено раздражало только мою чувственность, которая

требовала всех радостей, заключенных в ее девически-нежном теле. Я не мог больше бороться с искушением, забыл о тебе и о твоих, предполагаемых мною, правах на Викторию. Кровь бросилась мне в голову и застучала в висках. Шатаясь, я подошел к ней и, опустившись на ковер, припал губами к ее колену...

Она не шевелилась, как будто спала, закрыв глаза, закинув руки за голову. Лицо ее было бледно и прекрасно; на белом высоком лбу лежал черный, круглый завиток волос; губы полураскрылись, обнажив нижний ряд чудесных белых зубов. Казалось, она не чувствовала моих прикосновений, не слыхала моих поцелуев. Я открыл и второе колено и жадно целовал их, тесно прижатых друг к другу, то впиваясь в них, то едва касаясь их теплой, бархатистой поверхности воспаленными губами. И, опьянившись тонким, едва уловимым запахом их кожи, смешанным с духами окружавшего их кружевного белья, я порывисто поднялся и начал расстегивать дрожащими руками на ее груди кофточку. Виктория как будто теперь только проснулась и быстрым, испуганным движением руки отстранив мои руки, поднялась и откинула на ноги юбку. Потом застегнула кофточку и, как ни в чем не бывало, встала с софы и, потягиваясь, утомленным голосом проговорила:

— Я устала... мне хочется спать...

Я почувствовал к ней острую ненависть и, отойдя к окну, пробормотал, стоя к ней спиной:

— Пойдите в спальню и лягте...

Она ушла в соседнюю комнату и затворила за собою дверь. Я услышал звон запираемого в дверях замка и потом легкий шорох платья, которое она, по-видимому, снимала с себя...

И тогда я вспомнил о тебе и облегченно вздохнул. Слава Богу, что между мной и Викторией ничего не произошло! Я могу смотреть тебе в глаза по-прежнему открыто и сохранить наши дружеские отношения, которыми я дорожил больше, чем ты думал. Нужно подальше быть от этой девушки и стараться держать себя в руках. О самой Виктории я не знал, что думать. Я был в недоумении, не понимал ее поступка, — она мне казалась то развращенной и

легкомысленной, то странной и загадочной...

Наступил вечер, и на стеклах раскрытых на улицу окон горел красный свет заката. Веяло в окна вечерней свежестью; из католической церкви, стоявшей на площади перед моими окнами, доносились бархатные аккорды органа и тонкие серебряные дисканты детей-певчих. Все это навело на меня тихое, мирное настроение. Я взял со стола первую попавшуюся под руки книгу, — это была «История живописи» Рихарда Мутера, — раскрыл ее наугад и, начав читать с половины страницы, увлекся и забыл обо всем на свете.

Читал я, по-видимому, долго, потому что когда ты окликнул меня с тротуара и я выглянул в окно, воздух в улице был уже густо-синий, и на небе, прямо передо мной, горела яркая первая звезда вечера. В костеле служба давно окончилась, и он был заперт, тих и сумрачен.

— Ты один? — спросил ты, стоя под моим окном и стараясь незаметно, через мое плечо, заглянуть в комнату.

Я забыл о том, что Виктория была в моей спальне, и радуясь, как всегда, твоему приходу, беззаботно отвечал:

— Конечно, один! Заходи...

И вот, ты вошел в комнату и, почему-то избегая смотреть мне в лицо, подал мне руку и молча прошелся раза два из угла в угол. Потом прилег на софу и закрыл глаза, и у тебя тогда было такое же неподвижное, мертвенно-бледное лицо, как сейчас. Прошло несколько минут в глубоком молчании. Я сидел в кресле, у окна, смотрел на твое лицо, и тогда, не знаю отчего, мне пришло в голову, что ты непременно умрешь от своей руки, кончишь самоубийством. Какие-то особенно страдальческие складки около губ, впалости глаз и заостренность носа указывали на это...

За дверью в спальне послышался торопливый шелест шелка, шорох платья, звуки осторожных шагов. Ты быстро поднялся, сел и, прислушавшись, взволнованно прошептал:

— У тебя Виктория.

Я уже при первом шорохе вспомнил о ней, смешался и ответил не сразу:

— Она, видишь ли, обедала у меня... и потом... ей захотелось отдохнуть... от прогулки...

Я заметил, как сверкнули твои глаза злым, недоверчивым блеском и, еще больше смутившись, пробормотал:

— Ты, пожалуйста, не подумай чего-нибудь... Это было бы с твоей стороны...

По твоим губам проскользнула твоя обычная, загадочная усмешка.

— Я ничего не думаю, — тихо сказал ты и, поднявшись с софы, взялся за шляпу.

В дверях щелкнул замок, — и на пороге появилась Виктория. В сгустившихся сумерках виден был только бледный овал ее лица с темными пятнами глаз, окруженный черным матом волос. Она в нерешительности стояла в дверях, чувствуя, что между нами что-то происходит. Ты подал мне руку и мельком, словно пустое место, окинул ее беглым взглядом и широкими шагами вышел из комнаты. Спустя минут десять, ушла и Виктория. Она, видимо, была чем-то смущена, расстроена, и во всем ее существовании чувствовалась глубокая, тихая подавленность...

На другой день ты пришел ко мне бледный, с лихорадочно горевшими глазами, весь нервно передергиваемый какой-то внутренней болью. По твоему лицу я угадал, что ты не спал и промучился всю ночь. Наш разговор, как ты помнишь, был короток и странен. Ты сухо, отрывисто спросил:

— У тебя ничего не было с Викторией? Скажи правду.

— Ничего, клянусь тебе.

— Я не верю... не может быть...

— Как хочешь...

После небольшой паузы, ты попросил, уже мягче и спокойнее:

— Дай мне твой револьвер.

— Не могу... не дам...

— Даю тебе слово: я не убью ни тебя, ни ее.

— Но себя...

Ты поколебался и тихо ответил:

— Не знаю... — потом решительно прибавил: — Если ты не дашь — я все равно достану, когда мне нужно будет... Но если ты мне друг...

Я вынул из ящика стола револьвер и подал его тебе со

словами:

— Раньше, чем сделать что-нибудь непоправимое, обдумай хорошо... Опять повторяю тебе и клянусь: между мной и Викторией ничего не было...

Ты взял револьвер и ушел, не сказав больше ни слова — и только из передней я услышал твое короткое, нервное: «Прощай», в звуках которого мне послышалась дрожь сдерживаемых слез...

Весь тот день я провел в страхе, что кто-нибудь из знакомых придет и сообщит мне весть о твоей смерти. Меня мучило угрызение совести за мой необдуманный поступок с револьвером. Если бы ты покончил с собой в тот день — я считал бы себя виновником твоей смерти и мучился бы этим всю жизнь. Но ты пришел вечером того же дня и принес револьвер обратно.

— Еще не время, — сказал ты, смущенно отворачиваясь и кладя оружие на стол. — Я подожду...

Постояв молча с минуту, ты, словно про себя, в глубокой задумчивости проговорил:

— Я все же не верю ни тебе, ни ей...

И ушел, сгорбившись и понутив голову...

На другой день утром я уехал. Мне грустно было расставаться с тобою, оставлять тебя с твоим тяжелым подозрением, рассеять которое я не мог. Но еще грустнее было покидать город, где жила Виктория. Я должен был сделать большое усилие, чтоб оторваться от нее мыслью и чувством. Всю дорогу на моей душе лежала тоска большой, вознаградимой потери...

Уже в Петербурге я получил из того же городка, от знакомого тебе Сергея Торского, письмо, объяснившее мне многое. Оно у меня, кстати, лежит здесь, в боковом кармане. Я тебе сейчас прочту его... Вот что он пишет:

«Дорогой друг. Я близок к сумасшествию, или к самоубийству, или к убийству человека... которого люблю. Этот человек — Виктория Сенилова. Она сама — сумасшедшая, и в этом — ее дьявольское очарование и мой ужас. Ее беспрерывное возбуждение, действующее даже на расстоянии, доводит меня до иступления, раздражает до физической

боли. Я никогда не встречал женщины, у которой все линии тела, все очертания форм и лица были бы настолько женственно-чувственны, как у Виктории. Это воистину дитя сатаны, носительница греха и преступления... Она изводит меня, медленно сжигает на огне страсти, раздувая его и не давая удовлетворения. Она позволяет мне делать с ней все, что я хочу, до последней грани — и тут вдруг строго произносит свое проклятое *нет*, которое повергает меня каждый раз в бездну отчаянья, муки, ненависти к ней и ко всему миру... Недавно я пришел к ней вечером — и она вышла ко мне, представь себе, совершенно голая и сама зажгла лампу. Красный абажур, накинутый ею на лампу, окружал ее тело горячим пурпурным облаком, в котором я задышался, бредил, умирал... Что было со мною в этот вечер — не стану тебе рассказывать, да я и сам плохо помню. Это был мучительный, чувственный угар, сладострастный бред, какой бывает в периоде долгого воздержания, инквизиторская пытка любви с нечеловечески жестокой казнью, заключавшейся в последнем слове “нет”... Целую неделю после этого вечера я пролежал в постели в нервном расстройстве, сопровождавшемся припадками, истерикой, обмороками. И сейчас похож на тень прежнего меня, на выходца с того света... Что это за девушка? Объясни мне, ради Бога! Я ничего не понимаю. Извращение ли тут играет роль, сильно повышенная чувственность рядом с отвращением к любви, или это стремление к сильным ощущениям, выражающимся крайним возбуждением и наслаждением чужими страданиями? А может быть, просто игра, спорт?.. Все мои знакомые помешались на ней. Евгений Стар недавно застрелился: я знаю наверно, что причиной его смерти была Виктория. Доктор Лудин уехал на лодке в Днепр и пропал без вести; лодку нашли пустой. Здесь также не обошлось без Виктории, потому что последние дни своей жизни он ходил за ней шаг за шагом и имел вид человека, обреченного на смерть. Со мной, вероятно, будет то же, если судьба, вернее — Виктория не сжалится надо мною. Посоветуй, что мне делать и возможно скорей, иначе будет поздно. Я не ручаюсь за себя...»

В постскриптуме прибавлено: «Счастлив тот, кто мог вовремя взять себя в руки и, вырвавшись из душной атмосферы, окружающей Викторию, уехать за тридевять земель. Подозреваю, что ты принадлежишь к этим счастливым. А для меня это уже невозможно: поздно...»

Я спрятал письмо в карман и посмотрел на тебя. Было уже совсем светло; в доме и за окном, во дворе и в лесу, стояло полное беззвучие... Твое лицо слабо озарилось усмешкой, — и ты вдруг раскрыл глаза. Они были холодны и тусклы и не видели меня. Ты как будто смотрел внутрь себя, обдумывая и стараясь что-то понять. И вот, твои губы дрогнули и зашевелились. Я услышал шепот, похожий на слабый шелест листьев:

— Я умер через месяц после Сергея...

— Так и ты стал жертвой Виктории!.. — прошептал я, в волнении поднимаясь с кресла.

Ты также поднялся и тут я заметил на левой части твоего лица, бывшей все время в тени, струйку запекшейся крови, вытекшей из черной ранки на виске.

Ты не ответил на мой вопрос, только усмехнулся своей загадочной усмешкой и пошел из комнаты. В недоумении и жутком безмолвии я последовал за тобой. Мы прошли террасу, спустились по лестнице вниз. Здесь ты остановился и протянул мне руку, глядя куда-то мимо меня. Я пожал твою холодную, безжизненную руку, которая, после пожатия, бессильно упала и повисла. Ты стал удаляться от меня, как будто отделившись от земли и плывя над травой, — я заметил, что ты становишься все прозрачней и сквозь твоё тело виднелись деревья. Как легкое облако, ты ударился о забор моего двора, прошел сквозь него и, удаляясь к лесу, растаял в белом воздухе раннего утра...

Я вернулся в кабинет и в изнеможении опустился у стола в свое кресло. Мысли путались и заволакивались туманом. Я засыпал — и уже не понимал, приходил ли ты ко мне или мне это снилось... Только ясно слышал влетавший в комнату с ветром шум деревьев и во сне подумал: «Это безрезь шумят от утреннего холода...»

Дмитрий Цензор

ТАЙНА



I

Я опить записываю мою историю, теперь с новым смыслом и новыми оттенками. Я стремлюсь постигнуть одну тайну и, кажется, никогда она не будет мною разгадана. Но я только в этих воспоминаниях нахожу больную и счастливую отраду для себя.

Теперь мне 60 лет. Уже состарившись, я получил неожиданное наследство и могу совсем бросить врачебную практику, чтобы устроить свою жизнь так, как мне захочется. И я купил за городом этот небольшой дом с липовым садом и поселился здесь, вдали от всего, что прежде составляло содержание опостылевшей мне городской жизни. Только иногда я приезжаю в город на какой-нибудь выдающийся концерт, потому что до сих пор страстно люблю музыку.

Я совсем один в комнатах. Кроме меня, домашней прислуги и большой дворовой собаки, никого нет в этом доме. Я нахожу особенное упоение бродить по молчаливым комнатам, где, кажется, по вечерам притаились внимательные, немного враждебные тени. Мне жутко и сладостно-больно от моих воспоминаний, когда я часами просиживаю неподвижный в кресле, у лампы с низким абажуром, глядя в черное окно, за которым царит осенняя ночь. Здесь иногда слышно, как воет ветер, освобожденный от препятствий, и шум тоскующих лип врывается в открытую форточку. Хорошо мне здесь.

Но я хочу сказать, главным образом, о Клавдии. Она — тайна, и моя душа тщетно стремится ее постигнуть. О, что значат все объяснения человеческого разума и логики! Я столько раз трепетал от непонятного страха и волнения, я

стоял близко-близко, и в мою жизнь она была кинута неведомо кем и откуда. Мне ничего не нужно. Я до конца моей жизни буду вспоминать и спрашивать, не надеясь получить ответ.

II

Ну, вот. Это было 30 лет назад. В семье моего единственного друга, Леонида Клейна, родилась девочка, и ей дали имя Клавдия. Я помню, она тогда была крошечная и очень слабенькая девочка. Когда я смотрел на нее, мое сердце сжималось непонятной грустью и жалостью к этому маленькому существу, пришедшему в жизнь неведомо откуда и за чем. Я брал ее на руки, смеясь, глядел в ее светлые глазенки и чмокал губами; а она махала передо мной сжатыми кулачками и серьезно таращила на меня слишком умные и пугливые глаза.

Тогда мне исполнилось тридцать лет, всего года два, как я окончил медицинский факультет. Мои родители умерли, когда я был ребенком, детство мое и юность протекли тускло за книгами, и вышел я необщительным, хмурым человеком. Нет, я очень люблю людей. Но шли они как-то все мимо меня, сторонились меня, — не знаю, почему. Может быть, потому, что в молодости я был очень некрасив.

Единственным другом был у меня Леонид. Я знаю, он искренне любил меня, нас еще в гимназии связывала самая светлая дружба. Он был старше меня, рано женился на тихой провинциальной девушке, и Клавдия родилась у них через много лет после свадьбы. Я бывал у них каждый день, девочка росла на моих глазах. Когда она стала ходить и лепетать, я возился с нею целыми часами, забавляя ее разными штуками, и на все она смотрела как-то особенно серьезно и важно, никогда не улыбаясь, словно всегда решала своей детской душой глубокую задачу. Она оставалась очень бледной и худенькой девочкой.

Когда я приходил, ей шутя кричали: «Кавочка, иди: дядя Ника, твой жених, пришел!» И она тотчас же плелась ко мне на своих слабеньких кривых ножках и доверчиво становилась между моих колен.

Я очень подробно помню все. В моих воспоминаниях нет моментов более и менее важных. Все одинаково значительны, во всех таится глубокий смысл неразгаданного чуда. Да, только чудом кажется мне появление этой девочки на свет в ту пору моей жизни. Крошечная невеста моя, светлоглазая Кавочка!... Я был одинокий и хмурый человек и приходил к моему другу, как сирота, ищущий тепла и привет. И вот судьба послала нам маленькую Кавочку. Мы все так любили ее.

Да, мне было очень тяжело. Ведь каждому хочется немного своего счастья. Ведь правда же, всем оно нужно. Мне шел четвертый десяток лет, а у меня не было подруги. Никто нежными и теплыми руками не касался моих волос и не клал свою пушистую головку ко мне на грудь. Холодно и неприютно было в моей холостой квартире. Никто не выглядывал из дальней комнаты, когда прислуга отворяла мне дверь.

Кавочка подросла. Ее мать и отец были ко мне очень добры, и я грелся у чужого уюта. Ей было уже три года, и она называла меня: «дядя Ника». И когда ее спрашивали: — кто твой жених? — она серьезно отвечала, широко открывая свои светлые глазки: «Дядя Ника мой жених». Ах, невеста моя, крошечная, светлая! Спасибо, спасибо тебе! Я теперь за все благодарю тебя, потому что обнимаю все твое существование одним взглядом.

III

В то время я получил командировку на побережье Ледовитого океана. Я уехал в тундры, и работа увлекла меня надолго. Там, у дикой и суровой тайги, среди самоедов и зырян, я совсем огрубел и отвык от широкой жизни и го-

родских людей. Я прожил в этом краю несколько лет. Все время я переписывался с Леонидом и знал, что Кавочка подросла и стала учиться. Она в конце письма подписывала детскими каракулями: «Привет дяде Нике». Я с благодарными слезами целовал эти буквы. Моя маленькая невеста помнила обо мне...

В бесконечные северные ночи, когда темно-синие снега были полны невыразимым безмолвием, и луна и звезды приближали душу к вечности, — тогда глубокое одиночество будило во мне жадные мечты.

Я думал о прекрасной, нежной девушке, ласковой и светлой — она прикасается руками к моим волосам, целует меня тихими поцелуями. Сердце мое останавливало биение, и сладкий холод проходил по моему телу. Я думал о своем некрасивом лице и представлял себе, как эта девушка любовно смотрит в мои глаза и говорит мне слова, полные неизведанного счастья... И вот в моей душе расцветала странная фантазия. Я представлял себе Кавочку взрослой девушкой, желанно красивой. И думал о том, что когда-нибудь она станет моим добрым другом. Как будто я был уверен, что так должно случиться. Я благодарил судьбу за то, что она послала мне надежду. Ведь я никогда еще не любил ни одной женщины, и мечта об этом волновала меня и прогоняла сон от моих глаз. Мне не стыдно сознаться в этих смешных чувствах, — они были чисты, клянусь в этом перед своей совестью и перед святой памятью моей Клавдии!

Дальше. Итак, я совсем отвык от человеческого общества. Но в один снежный день мне мучительно захотелось теплоты, родного домашнего уюта. Я покинул север и вернулся в этот город. Я приехал зимой, в оленьей дохе, обросший и постаревший. В семье Леонида меня встретили, как близкого и любимого. Потом привели ко мне бледную девочку с белыми волосами и синими глазами. Она была совсем тоненькая, и кожа на ее лице просвечивала. Сначала она смотрела на меня пугливо и не узнавала, а потом, когда узнала, очень застыдилась и убежала.

Ах, как скоро мы подружились. Она была очень тихенькая, молчаливая девочка. Глупеныш мой милый! Ну, что

за удивительные вопросы она мне задавала! Она спрашивала меня, например: «Дядя Ника, почему, если вы такой страшный, я вас не боюсь?» Она серьезно, с таинственным видом рассказала мне, что ночью к ней приходит белый человек и зовет ее. Кто это, и куда он ее зовет?..

Я бы мог многое сказать о том, что я думаю и что теперь открылось моей душе. Но зачем? Это ведь важно для меня самого и, кроме того, я никогда не смогу передать то неуловимое и значительное, что я видел и замечал. Уже тогда я чувствовал, что совершается тайна, но моя душа была бессильна охватить ее и постичь.

Положим, я — суеверный человек. Я ведь был доктором, почти ученым, и все-таки трезвая наука не могла заглушить во мне голос предчувствий, с детства звучавший во мне. Вот почему я смотрел на Кавочку с трепетом жуткого ожидания. Я чувствовал, что таинственное стережет ее. С первых же дней ее появления на свет она уже принадлежала кому-то. И я знаю, что у меня нет власти над ее жизнью, и мне было больно и страшно от этого.

IV

Сегодня особенно ветреная и шумная ночь... Хорошо, пусть шумят осенние деревья, — я люблю слушать их жалобы. Сейчас трепет проходит по моему телу, как будто я чувствую возле себя дыхание страха. Теперь я хочу вспомнить об этом случае. Страх стоит за моей спиной.

Я жил на тихой улице, в старом доме с глухим садом, — я всегда селился в таких домах. Очень поздно. За окном плачет сырая, снежная оттепель. Я потушил огонь и лег спать.

Было очень тихо в доме. Прислуга спала далеко. Мокрый снег прилипал к темному окну, и ветер свистел в саду. Я стал забываться, тяжелая дремота сковала меня. Вдруг по моему телу проходит холодная дрожь. Сквозь сон я слышу свое имя, кто-то говорит мне: «Дядя Ника...» Я дрожу, я знаю, чей это голос, и не могу проснуться. Наконец я откры-

ваю глаза и смотрю в темноту расширенными от ужаса глазами. Посредине комнаты, смутно выделяясь из темноты, стоит Кавочка в одной рубашке, из-под которой видны худые голые ножки. Она говорит совсем, совсем тихо, слова еле достигают до моего сознания: «Дядя Ника, за мной пришел белый человек...» Несколько мгновений я лежу оледенелый, с неподвижным взглядом. И вот я больше не вижу перед собой Кавочку... Дрожа, я достаю спички, зажигаю огонь. Все вокруг обычно, как прежде, только форточка открыта, ее мечет ветер, и в комнату врывается струя холодного воздуха...

Я вскакиваю, одеваюсь и, охваченный жутким предчувствием, среди ночи кидаюсь к Леониду. Там я застаю всех на ногах. Мне с отчаянием сообщают, что хотели послать за мной. Кавочка внезапно очень серьезно заболела. Она лежала в беспамятстве, в сильном жару, никого не узнавая, и бредила о загадочном «белом человеке».

Я был потрясен, я никому не сказал о том, что было со мной в эту ночь. Зачем я сказал бы, кто поймет? Это было так страшно и так значительно...

В продолжение двух месяцев я дни и ночи просиживал у постельки больной Кавочки, стараясь вырвать мою маленькую невесту из рук неведомого. Она была уже не здесь, она соприкасалась уже с таинственным миром. И опять совершилось чудо: я отнял ее у смерти. Она приходила в сознание, стала узнавать окружающих и меня.

До сих пор я не знаю, что это была за болезнь. Доктора определили опасную простуду, я тоже присоединился к их мнению, — но в глубине души я что-то знал, для чего нельзя найти объяснений и что не сказал бы никому в жизни.

Конечно, мне хотелось потушить мои предчувствия, раскусок требовал себе жертв. Когда Кавочка выздоровела, я старался улыбнуться над своими бреднями и убедить себя в том, что видел страшный сон, случайно совпавший с болезнью девочки. Хорошо, я убедил себя, Кавочка выздоровела, моя маленькая невеста вернулась ко мне. Но дальше все так же значительно, каждый шаг, каждая мелочь отмечены все тем же знаком.

Кавочка выздоровела и стала еще тоньше, прозрачнее, молчаливее. Она все смотрела куда-то перед собой своими широкими, бледно-синими глазами, будто видела такое, что мы никогда не увидим. Она не отзывалась на обращения, и приходилось дотронуться до ее плеча, чтобы она очнулась. Она молчала без улыбки и только иногда задавала странные, неожиданные вопросы, на взгляд окружающих, не имевшие никакого смысла.

Когда пришла весна, я уехал на юг, за границу, где все уже было в полном цвету. Я не люблю весну. Мне больно и беспокойно весной. Ах, какое тяжкое одиночество испытываю я весной, особенно вечером, когда небо немного зеленое! И какие мучительно-грустные тени заполняют всю землю и дорожки скверов!.. И какие запахи идут от земли и растений! Куда деться, куда спастись от неутолимой тоски? Мое лицо становится весной еще уродливее, и я завидую каждому юноше, идущему рука об руку с женщиной по заглохшей и призрачной улице.

V

Я уехал за границу, потом поселился в одном провинциальном городе, где заведовал больницей, и опять несколько лет не виделся с моим другом и его семьей. В эту пору мы редко переписывались, какие-то жизненные течения отвлекли меня от пути, который определила мне судьба.

И вот я получаю однажды письмо от жены Леонида. Она пишет мне, что мужу была сделана опасная операция, и он умер. Она осталась одна с Кавочкой и нуждается в дружеской поддержке. Нужно также привести в порядок дела мужа.

Я быстро собрался и приехал к ним. Смерть друга произвела на меня тяжкое впечатление. Но Кавочка поразила меня. Я увидел высокую, стройную, худенькую девушку с мягкими, светлыми волосами и очень большими серыми глазами на прозрачно-бледном лице. Она была вечно се-

ррезна и задумчива и смотрела всегда так, будто молилась на невидимый образ. Какая-то грустная жуть проникала в сердце от этих необыкновенных глаз.

Я остался жить с НИМИ, стал для них незаменим. С Клавдией мы проводили многие часы, мы были очень дружны, но душа ее была молчалива и далеко от меня. Непонятной она была для всех. Из института ее пришлось взять за малоуспешность и странное поведение. Ночью она любила сидеть у окна и смотреть в темноту расширенными, видящими что-то тайное глазами. На вопросы она не отвечала и сама задавала неожиданные вопросы, приводившие в недоумение и беспокойство.

Она всему верила, все чудесное, тайное и страшное было для нее чем-то действительно существующим. Сложив под передником на груди руки, тихо ходила она по комнатам, молясь глазами на невидимый образ, всматривалась в черные тени, прислушивалась к молчаливым углам. Мать привыкла к ней, жалела ее и своим простым умом не придавала значения ее странностям. А я каждый раз вздрагивал от неодолимой жути, когда Клавдия останавливала на мне свои огромные глаза.

VI

Бывало следующее.

Клавдия подходит ко мне и тихо говорит:

— Дядя Ника, — я сегодня буду плакать. Я видела во сне много-много рыбы... Будет несчастье...

— Ах, глупенькая! При чем тут рыба? Какие смешные бредни! Рыба, виденная во сне, и несчастье... Какое отношение это может иметь между собой?..

— Непременно случится что-то, я знаю, — говорит Клавдия настойчивым шепотом, поднимая большие глаза на невидимый образ. — Когда папу отправили в больницу — никто не знал, что он умрет, а я знала. Ночью тогда к нашему окну приходила кошка и царапалась в стекло.

Я не мог смеяться. Да, она знала то, что для нас было скрыто. Холодный страх помимо сознания проходил по моему телу.

К вечеру умерла канарейка, которую Клавдия страстно любила. Она безутешно плакала, целовала крошечное мертвое тельце и шептала:

— Умерла ты, птичка моя ненаглядная! Я знала, что ты умрешь, — недаром я видела столько рыбы во сне...

Вот какая она была странная... Что же мне объяснять еще? И разве нужно, чтобы все это было объяснено?

Ну, хорошо. Так жили мы втроем. Мать Клавдии болела и очень мало смыслила в жизненной практике. А Клавдия была моим единственным светлым и загадочным другом, с которым я проводил дни и вечера, находя в этом еще неизведанное счастье. Мы прочли вместе много книг. Все прочитанное Клавдия понимала по-своему и делала неожиданные, поражающие глубиной выводы. Ну, да что я буду подробно об этом писать. В этом ли дело!..

А произошло вот что.

Ей исполнилось семнадцать лет. Ее характер ничуть не изменился. Но необычайно расцвела ее красота. О красота моя таинственная! Разве она была для земли? Ее давно уже нет и, может быть, она всегда была только сном, прозрачным и нежным, через который просвечивала святая тишина... Какому невидимому образу молились твои вечно пораженные, большие глаза?

Один раз, — это было весною в сумерки, — она сказала мне просто:

— Послушайте, дядя Ника... Я вас очень люблю. Вы мне самый близкий и дорогой человек.

Да, она так сказала. Я похолодел, а она положила голову ко мне на грудь и печально говорила:

— Ах, дядя Ника, я скоро умру, я опять вижу «белого человека». Мне хочется любить... Я люблю вас, дядя Ника...

Потрясенный до самой глубины, охваченный жутью, дотронулся я до светлой головки. Я едва мог произнести:

— Кавочка, мой единственный смысл... что ты говоришь?..

Она подняла головку и, обняв мою шею, поцеловала меня в губы. Она поцеловала меня, старого урода. Никогда ни одна чистая женщина не целовала меня. Нездешняя моя, кто послал тебя в мою жизнь?

Я вскричал:

— Кавочка, я седею, и я очень некрасивый! Кавочка, мой прекрасный сон, что ты делаешь? Посмотри на меня, видишь, какой я некрасивый!.. Опомнись, моя девочка!

А она целовала меня много раз. У нее были сухие и холодные губы. У нее было нежные-нежные пушистые щеки. У нее руки были такие тонкие, а пальчики такие холодные и влажные...

Все это правда, все это было. Она любила меня, старого, некрасивого человека, она говорила, что я ей дороже и ближе всего, даже мамы. Ах, что же это такое? Не брежу ли я? Я помню, как неожиданно изменился мир. Я не спал ночи и молился заре. Как стучало мое сердце, когда ночь выводила тени из пристанищ на весеннюю улицу! В 47 лет счастье может быть таким же сказочным, как в ранней юности. Я это знаю, потому что любил в первый раз...

Она ласкалась ко мне, целовала меня, теребила мои поседевшие волосы и, молясь на невидимый образ, говорила:

— Вы совсем не старый, вы хороший и молодой, все видите и понимаете... У меня с вами одна душа... И неправда, что вы некрасивы. Вы красивый, у вас такое необыкновенное выражение лица, оно делает его прекрасным, потому что вы очень любите меня, я знаю...

Больше жизни! Больше счастья! Больше правды и Бога! Можно ли любить больше? Ты знала это.

Клавдия стала моей женой. Случилось чудесное: она стала моей женой. Давно ли я видел ее крошечной девочкой, и вот она моя на всю жизнь. Она пришла ко мне, когда я уже постиг всю глубину и всю боль, когда тело и душа дряхтели. Она воскресила меня. Что же это за чудо такое?..

Мы венчались ранней осенью, на нас глядели двусмысленно и шептались. Старик и юная девушка! Но что нам до этого? Мы-то знали, нас тайна великая и святая связала, и

глаза наши были полны чистых и благодарных слез.

Нежная моя, глубоко любимая жена! Я навсегда помню твоё святое «да», сказанное пред аналоем. Ты сказала «да», — ты закрепила решение Бога и судьбы.

VII

Сбылась мечта, наяву совершился чудесный сон. Давно-давно ждал я подругу, в одинокие ночи звал ее, неведомую. На моих глазах, час за часом расцвела она для меня. Ее светлые волосы похожи на волосы сказочной женщины, которая из-за моря приплыла к одинокому отшельнику. Ее глаза до сих пор молятся на невидимый образ, и от этого она кажется пришедшей на землю из Божьей страны.

Вот она ходит по комнатам, задумчивая и тихая, а кожа у нее прозрачная-прозрачная. Она сидит около матери, прижавшись головкой к ее руке, и потом идет ко мне и обнимает мою шею, припадает к груди, томится томлением непонятным.

Вот она останавливается посреди комнаты, не видя смотрит перед собой.

— А почему мы такие задумчивые? А почему мы остановились посреди комнаты? Кавочка?

Я целую милую голову. Клавдия вздрагивает и, очнувшись, жмется ко мне:

— Я забыла, зачем шла. Забыла...

Так идут дни. Как это больно — быть счастливым. Как больно. Что делать, как быть с таким огромным счастьем?..

— Сегодня я видела во сне воду. Вечером будет дождь...

Вечером небо покрывается тучами, и становится темно от ливня. Я трепетно обнимаю ее, я боюсь чего-то, как будто она принадлежит не мне.

— Клавдия, о чем ты постоянно думаешь? Ты всегда молчишь, ты никогда не расскажешь, что у тебя в душе... Мне страшно от этого, Клавдия!

Она, закутанная в шаль, прижимается ко мне. Дорогое мое существо! Вот уже пять месяцев, как ты моя. Может быть, я только во сне это вижу?..

— А почему мы, дорогая женушка, в окно так долго смотрим? Что мы видим там в темноте? Кавочка? Слышишь?..

Она медленно поворачивает голову. Глаза ее расширены, и лицо бледно. В стекло стучит сухой снег.

— У меня будет девочка. У меня будет мертвая девочка. Послушай тут...

Она берет мою руку и прикладывает к своему боку. Я чувствую, что там вздрагивает что-то трепетное, живое...

— Кавочка, родная моя!..

Я без конца ласкаю ее, бережно и любовно, я целую ее так, чтобы мои поцелуи были тихи и целомудренны. Мне жутко, холодное и болезненное предчувствие сжимает мое сердце. Мертвая девочка! Почему мертвая? У нас будет ребенок, маленькое, дорогое существо, которое мы будем любить без границ, потому что все происходящее с нами необыкновенно, совсем необыкновенно. О, это большая тайна — все, что происходит с нами.

Сменяется день за днем, давит огромное счастье, и тревога ни на минуту не покидает сердце.

За окном уже копошится огромная черная августовская ночь, и шум деревьев полон жалобы, полон страха перед близкой осенью. Клавдия одна любит ночью уходить в сад. Я умоляю ее не ходить, я хочу за нею последовать, а она, вскинув на меня глава, такие большие на похудевшем лице, говорит:

— Нет, не ходи со мной. Я хочу быть одна, я люблю быть одна...

Что же это? Я возвращаюсь в комнаты, хожу взад и вперед, высовываюсь в окно и, глядя в черную ночь, зову:

— Клавдия! Кавочка! Ты скоро домой? Иди же, радость моя!..

— Я сейчас, — отвечает она из глубины сада. Очень жутко шумят деревья. Уже начинают осыпаться листья.

Вот она приходит однажды из сада ночью. Лицо ее необычайно бледно. Я в испуге хватаю ее холодные руки.

— Я встретила в саду «белого человека», — говорит она.
— Там, в аллее...

— Вздор! — кричу я. — Здесь не может никого быть! Сад закрыт со всех сторон!.. У тебя воображение, ты нездорова!..

Я беру лампу, обхожу весь темный сад. В глубине аллеи лампа от ветра тухнет, и я, охваченный внезапным страхом, возвращаюсь домой.

— Там никого нет, тебе померещилось, дорогая моя. Пойди сюда, мой маленький, глупый ребенок...

Я обнимаю ее крепко, крепко. Нет, никто не смеет, никто не отнимет ее! Она, вздрагивая, говорит шепотом:

— Я уж очень давно его не видела... Он пошел ко мне, а потом скрылся за деревом в темноте!

— Больше я тебя не пущу в сад ночью! Слышишь, моя дорогая?..

Уже пожелтели деревья. На траве лежат они цветными ворохами и от порыва ветра осыпаются с веток вместе с каплями от ночного дождя. Нам не нужно ехать в город. Нам здесь хорошо. Мать Кавочки привезла из города акушерку. Она уже несколько дней живет здесь. Мы ждем со дня на день.

Иногда Кавочку схватывают страшные боли, и она лежит обессиленная и бледная и слабо нам улыбается. Я не сплю, я, как безумный, хожу из комнаты в комнату, за дверью прислушиваюсь к ее дыханию.

VIII

И вот приходит эта страшная ночь. О, я никогда не забуду ее! И то, что произошло тогда, выжжено в моей памяти острым раскаленным клинком. Страшная, безумная ночь!

Весь дом полон воплем, стоном, отчаянной мольбой, безнадежным криком о помощи. Кричат стены, все предметы, весь насторожившийся, испуганный дом. Кричит огромная черная ночь, невидимое небо, все деревья, что ме-

чутся и извиваются в невыносимой муке. Страшным голо-
сом кричит мое облитое кровью сердце.

Это Клавдия стонет, вопит и мечется. Это моя дорогая,
моя нежная, моя любимая подруга извивается от муки и
молит о смерти. Это мое счастье — Кавочка — испытывает
нечеловеческие страдания. За что, за что?

Я рву волосы, кидаюсь из комнаты в комнату. Я вбегаю
в ней, но тотчас в страхе убегаю назад — я не могу вынести
ее ужасного, искаженного лица и безумного взгляда, кото-
рый она вонзает в мое сердце. Акушерка на бегу шепчет
мне:

— Не пугайтесь, успокойтесь, может быть, Бог даст, все
еще будет благополучно...

Мать Клавдии беспомощно суетится около, ломает ру-
ки и смотрит на меня с открытой ненавистью. В чем я ви-
новат, Господи, в чем я виноват? Спаси, пощади, если у Те-
бя есть над нами власть!

А вопли и стоны растут, они разрывают ночь и сердце и
мозг. Страшно, Господи, страшно! Ты должен, Господи!

С искаженным лицом выбегает ко мне мать Клавдии:

— Идите, она зовет вас... Послушайте, что она говорит...
Идите...

Я вхожу. Вопли мгновенно стихли. Клавдия лежит совер-
шенно бледная и неузнаваемая. Ее огромные глаза распы-
рены от ужаса, и помертвевшие губы что-то шепчут.

Я наклоняюсь к ней. Она поднимает руку и, протянув
ее по направлению к окну, говорит еле внятно, так, что ни-
кто, кроме меня, не слышит:

— Там... Посмотри, в окне... Белый человек, он стоит и
ждет...

Я бессознательно крикнул и посмотрел в сторону ее ру-
ки. Там, в окне, чернела ночь... И не знаю... может быть,
мне показалось... Не знаю, не знаю! Разве я мог что-нибудь
сознавать, разве я жил тогда, разве я не помешался от горя
и ужаса?..

И умерла моя Клавдия, родила мертвую девочку и умер-
ла.

Она знала. За ней пришел белый человек. Кавочка знала больше, чем я, ей многое было открыто...

IX

Ну вот, я опять записал эту историю. Нет, нет, — я опять не сказал самого главного и значительного...

Умерла моя Кавочка.

Когда мне было тридцать лет, пришла она сюда крошечным существом, пришла из неведомого мира, выросла, расцвела, совершила предначертанный круг и снова ушла неизвестно куда, оставив меня дальше тосковать и мучиться.. Моя таинственная гостья!

С тайным миром соприкасалась твоя душа. Ты принадлежала не нам. Кто-то на время отпустил тебя к нам погостить. Ах, недолго ты была в гостях у этой жизни.

Может быть, ты приснилась мне? Твои глаза молились неведомой высокой святыне, и я любил тебя, потому что ты была моим чудом, моей молодостью, моим счастьем, единственной моей. Кто же сжалился над моим одиночеством и отпустил тебя сюда, чтобы ты наполнила дивным смыслом чужую одинокую жизнь? Я остался жить. Я, может быть, еще долго проживу, — у меня крепкое тело. И я помню о моем радостном сне. Где же ты, гостья моя святая? Я теперь верю во многое, над чем раньше смеялся.

Ты была моей любимой и женой, и вся твоя жизнь — осколок великой тайны. Я теперь совсем один, как до того часа, когда ты родилась. Но я помню все, и мое одиночество блаженно. И когда я разгадаю тайну, над которой уже много лет трепещет моя душа, — тогда я захочу умереть.

Мне хорошо здесь, в этом загородном доме, где тихо и сумрачно. И такие внимательные тени наполняют углы. А осенний шум листьев за черными окнами сгущает мои воспоминания, и властный страх сковывает мои члены, как тогда, в ночь твоей смерти.

Тишина. Прислуга спит, во всем доме переливается тревожная дрема. Ночь огромным черным лицом припала к окну. В открытую форточку тянет струей влажного осеннего ветра.

Хорошо мне здесь, в моем позднем одиночестве. Страшно и радостно мне праздновать годовщину твоей смерти, моя возлюбленная и жена, моя гостья таинственная!..

Дмитрий Цензор

ПРОФЕССИЯ ГОСПОДИНА ЗЕМБА

Илл. С. Лодыгина

ПРОЦЕССЪЯ ГОСПОДИНА ЗЕМБА

Эту историю рассказал наш добрый знакомый Александр К., человек, не лишенный странностей, знавший много необычайного.

Дина Лейферт была озадачена, когда господин Земба сделал ей предложение. С начала лета, в продолжение двух месяцев, он ежедневно посещал их дачку на берегу озера. Земба приехал из столицы и жил недалеко от Лейфертов, тихих провинциалов, являясь к ним каждый день после завтрака, чтобы предложить молодой девушке прогулку по окрестным холмам или покататься на лодке. Старики благосклонно относились к нему, — он был всегда серьезен, молчалив, имел ум, склонный к философии. Дину здесь в безлюдье развлекало присутствие этого высокого человека с чисто выбритым лицом и с добрыми глазами.

Она не сразу дала свое согласие и у себя в комнате продумала весь вечер. Когда вошла мать — Дина упала к ней на грудь и расплакалась. Ей шел уже двадцать шестой год, она была привлекательной отзывчивой девушкой с мечтательным сердцем; но почему-то до сих пор ее светлые волосы и прекрасное сложение не привлекли никого, кто захотел бы навсегда соединить с нею свою судьбу.

— Он, кажется, хороший, — говорила она сквозь слезы, — он никогда не говорил мне о своей любви, но, должно быть, любит меня, если хочет на мне жениться.

— Может быть, тебя ждет с ним счастье, — вздыхала мать. — Он производит впечатление вполне солидного и порядочного человека. Только, — чем он занимается, откуда

идут источники его доходов? Это необходимо выяснить. Во всяком случае, я пока не вижу причин отказать ему.

— Я чего-то боюсь, мама... Сегодня, думая о его предложении, я все время испытывала странную тревогу...

— Все это, детка, пустяки. Конечно, к такому серьезно-му вопросу невозможно относиться легкомысленно и твоя тревога вполне понятна. Это было и со мной, когда я девушкой собиралась вступить в новую жизнь. Однако, я жила благополучно.

На следующий день Земба явился к Лейфертам за окончательным ответом. Старики встретили его с важно-сосредоточенными лицами, Дина была немного бледна. Госпожа Лейферт, сложив руки на животе, сказала, когда Дина зачем-то незаметно вышла из комнаты:

— Господин Земба, мы охотно доверяем вам судьбу нашей дорогой дочери, тем более, что до сих пор вы производили на нас очень выгодное впечатление и казались человеком, чуждым легкомыслия и непрочных увлечений. Но вам должна быть понятна забота родителей о своем ребенке... Мы чувствуем к вам самое глубокое доверие... Но ведь мы провинциалы, мы ничего не знаем, а вы живете в столице, далеко от нас, и, конечно, нас интересует будущая жизнь нашей дочери, — в каких условиях, в какой обстановке она будет жить. Скажите же, господин Земба, какими вы располагаете средствами, что вы делаете? До сих пор мы как-то не касались этого вопроса: он не представлял для нас интереса, нам достаточно было знать, что вы серьезный и деликатный человек и умеете своим присутствием доставить удовольствие нашей любимой Диночке...

— Вы совершенно правы, — прервал ее господин Земба с вежливым поклоном. — Забота о своем ребенке составляет обязанность родителей, и я охотно сообщу вам о моих средствах к жизни: у меня имеется некоторый капитал, оставшийся мне после единственного моего родственника, и, кроме того, мне приносит доход маленькое техническое предприятие, к которому я отношусь с большой любовью...

Старики Лейферты и вернувшаяся в комнату Дина многозначительно переглянулись и, вполне удовлетворенные

услышанным, сочли не деликатным расспрашивать подробнее. Лейферт прервал Зембу с обычной для него простосердечной прямоотой:

— Да что тут разговаривать, все ясно, и, несомненно, наша дорогая Дина будет счастлива с таким мужем. А нам остается только благословить их. Распорядись-ка, старуха, чтобы скорей подали обед, и к нему бутылочку хорошего вина...

Ни Земба, ни Лейферты не имели большого круга знакомых и близких, и поэтому решено было повенчаться тут же в местном приходе, после чего муж увозил молодую жену к себе в столицу, а старики возвращались в свой родной городок, с которым их связывали дела.

Молодые совершили маленькое свадебное путешествие, продолжавшееся целый месяц. Дина не расспрашивала мужа о его прошлой жизни, вполне доверяя ему. Она упивалась новизной своего положения и прелестями первых дней супружества; ей стало казаться, что она действительно нашла свое тихое счастье в лице господина Зембы. Он бывал молчалив, нежен и внимателен. Дина стала чувствовать к нему привязанность.

Однажды, лаская жену и любуясь ее фигурой, он сказал:

— Ах, Дина, какой у тебя великолепный скелет!

При этом лицо его выражало искренний восторг, и глаза жадно скользили по всем изгибам ее фигуры. Дина посмотрела на него с удивлением и подумала:

«Почему он говорит о моем скелете?!»

Лицо мужа хранило странное выражение, и ей почему-то вдруг стало не по себе. Она не могла себе отдать отчета в этом ощущении. И не раз во время путешествия, в минуты самых страстных ласк, Земба упоминал о прекрасном, соблазнительном скелете жены, приводя ее этим в глубокое смущение.

Через месяц молодые приехали в столицу. После свадебного путешествия, полного самых приятных впечатлений, после всех живописных городков, пейзажей и романтических перемен места, — столица поразила Дину и ошеломила своей величиной, несмолкающим шумом, многоэтаж-

ными зданиями и стремительным движением, в котором, казалось, можно было каждую минуту попасть под колеса или заблудиться. День был облачный, серый, и над городом висела мгла от фабричных труб. Сердце Дины сжалось от непонятного предчувствия, она стала молчаливой и унылой. Муж, пока они ехали домой, рассказывал о достопримечательностях города, называл улицы, площади, памятники и наиболее выдающиеся магазины. Они приехали к небольшому зданию на отдаленной тихой улице — это был дом господина Зембы. В подъезде их встретил большой рыжий человек с одним глазом, взлохмаченный и заспанный, — это был слуга Зембы, оставшийся при квартире в отсутствие хозяина.

Дине не понравилась обстановка ее будущей жизни, и чувство грусти усилилось в ней. Комнаты были низкие, какие-то мрачные, с темными обоями, старыми портьерами и старой, высокой, неудобной мебелью. Когда остались одни, муж нежно обнял ее, а Дина сказала, что нужно будет переставить мебель и изменить мрачный тон квартиры; на это муж ответил, что отныне она здесь хозяйка и от нее зависит придать какой угодно вид и уют уголку их счастья.

Оправившись, они поехали в ресторан пообедать и вернулись домой в сумерки. Дина устала от впечатлений столетнего дня и прилегла на диван отдохнуть. Земба поцеловал жену и сказал:

— Отдохни, дорогая. А мне необходимо на час заехать по очень нужному, безотлагательному делу, я скоро вернусь.

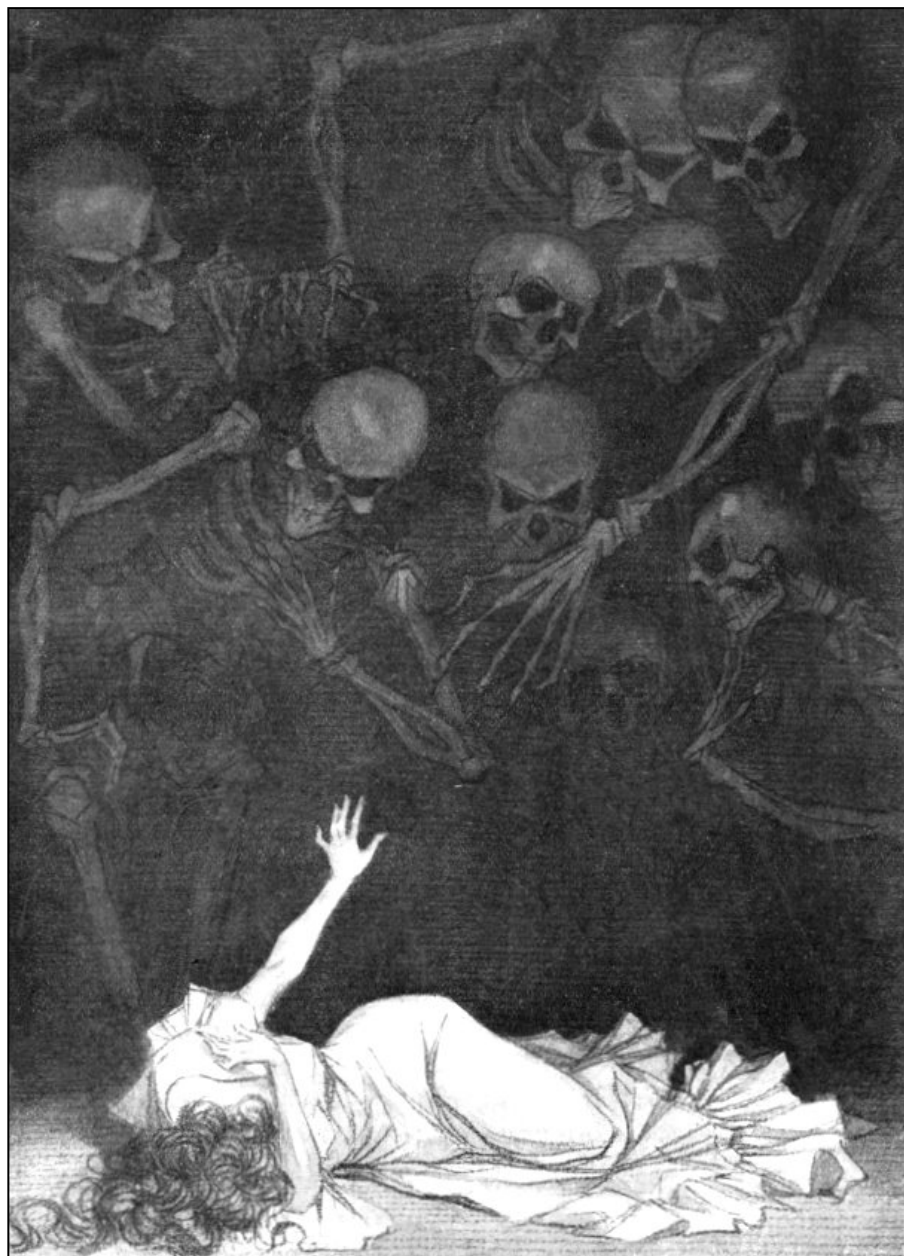
Он ушел, и Дина, оставшись одна, предалась мечтам о будущей жизни. Она думала о том, как устроит квартиру, как будет вести хозяйство, и мысли ее обратились на мужа. Что-то в его характере оставалось для нее непонятным и вызывало чувство неловкости. Но все же ей казалось, что жизнь ее будет здесь протекать в мире и довольстве и это сознание наполняло ее покоем удовлетворенных надежд. В любовной преданности и деликатности мужа она успела убедиться; наружности же господин Земба был приятной и привлекательной. Чего же большего нужно для семейного счастья?

Так раздумывая, осматривала она комнату, в которой отдыхала. Размышляя о предметах хозяйственного характера, соображая о некоторых удобствах, ей захотелось подробнее сейчас же осмотреть квартиру. Она встала с дивана и, переходя из одной комнаты в другую, внимательно все оглядывала и делала соображения в духе вполне естественной женской домовитости. Заглянула в кухню, где дремал рыжий слуга ее мужа. Отворив какую-то дверь возле черного хода, она вышла в темный коридор, где сразу почувствовала странный тяжелый запах. Любопытство, смешанное с необъяснимой тревогой, заставило ее пройти дальше по темному коридору и в конце его она разглядела две закрытые двери. Она толкнула одну из них, — дверь бесшумно открылась. Дина всмотрелась в полумрак большой комнаты, тускло освещенной, и отчаянный крик дикого, нечеловеческого ужаса вырвался из ее груди.

Большая квадратная комната с низким потолком и черными стенами слабо освещалась маленьким окном из ниши у потолка. Из этой зловещей полутьмы, из всех углов, ото всюду на Дину смотрели... мертвецы.

Они впивались в Дину пустыми дырами глаз, смеясь беззвучным смехом, протягивали к ней костлявые руки со скрюченными пальцами, кривили костяные фигуры с белыми полосами ребер, поднимали высохшие ноги и, казалось, готовы были взяться за руки и закружиться в адском танце вокруг бедной женщины, посмеившей проникнуть в тайну. Вся комната была полна их непередаваемо ужасных гримас, выходцы загробной жизни беззвучно хохотали над новой жертвой. Казалось, — сейчас должна разверзнуться земля и поглотить Дину в преисподнюю.

Перепуганный слуга и возвратившийся домой Земба, прибежавшие на душу раздирающий крик, нашли Дину в глубоком обмороке на полу, в темном коридоре у раскрытых дверей страшной комнаты. Растерявшийся, полный отчаянья Земба перенес жену на постель и немедленно пригласил доктора, которому долго не удавалось привести Дину в чувство. Доктор заметил, что этот глубочайший обморок может иметь очень дурные последствия для здоровья



молодой женщины.

Наконец, Дина очнулась. Она долго лежала с закрытыми глазами, тяжело дыша. Земба в тревоге наклонился над ней. Вдруг она открыла глаза и увидела над собой лицо мужа, взволнованное, растерянно улыбающееся. Она в страхе сомкнула веки и застонала:

— Прочь, прочь, уходите, ужасный человек!..

После этого выкрика она снова впала в тяжелое забытие и стала бредить. Она кричала, простирая перед собой руки и с глазами, полными ужаса, молила мертвых не трогать ее, не брать ее с собой, и клялась, что неповинна в их трагической таинственной судьбе. Она никого теперь не узнавала. Земба, ломая руки, осторожно подходил к постели больной, прислушивался к дикому бреду и лицо его выражало искреннее страдание. Иногда он злобно шипел своему рыжему слуге:

— Дьявол побрал бы тебя, проклятого бездельника! Как ты смел держать дверь незапертой? Какое несчастье! кто мог ожидать, что в мое отсутствие она заглянет туда... Бедная Дина!..

— Надо было раньше рассказать госпоже, — с сатанинской усмешкой огрызался рыжий, моргая единственным заспанным глазом. — Конечно, молодой, неопытной даме такие вещи непривычны с первого раза, — это вы должны были понять...

Дина долгое время пролежала в сильнейшей горячке.

Наконец, в болезни произошел перелом, Дина затихла и однажды вечером в первый раз к ней вернулось сознание. Она с удивлением осматривала предметы, стараясь припомнить, где она находится. Но когда увидела возле себя кротко улыбающееся лицо мужа, — вдруг вспомнила все и задрожала всем телом, кутаясь с головой в одеяло.

— Дина, дорогая моя, ты очнулась! — воскликнул Земба. — Как я счастлив, моя неоцененная жена!

Но Дина в страхе съежилась и глядела на мужа широкими недружелюбными глазами. Доктор посоветовал не трогать ее, — пусть она хоть немного оправится от болезни.

Через несколько дней господин Земба сидел у ее постели и со слезами на глазах спрашивал:

— Дина, моя, бедная жёнушка, что же это случилось с тобой? Скажи, успокой меня, несчастного. Отчего ты вдруг заболела?..

Она вздрагивала, глядя на него с отвращением, и не в силах была выговорить ни слова. Наконец, с трудом произнесла:

— Мертвецы... Они там? Какую ужасную тайну вы скрываете, господин Земба?

— Бедняжка, я виноват в том, что допустил несчастье. Я должен был предупредить, сознаться тебе, и если бы пришел на несколько минут раньше — не случилось бы этой беды... Послушай, — сказал он, печально улыбнувшись, — узнай эту тайну, так испугавшую тебя...

И, виновато взглянувши в напряженно-вопросительные глаза жены, смущенно продолжал:

— Я просто не успел тебе раньше рассказать, как-то не пришлось... Дело, видишь ли, в том, что я... изготавливаю скелеты... Да не пугайся же, это очень обыкновенная вещь. У меня фабрика скелетов, — я очень люблю это дело, оно приносит мне приличный доход, и ты случайно попала в помещение, где у меня хранится большой запас готовых скелетов. Там есть великолепные экземпляры, достойные украсить кабинет любого ученого, аудиторию, клинику. Таких скелетов не сыщешь во всей стране, я положительно горжусь своим предприятием. Когда поправишься, Диночка, я все тебе объясню и покажу все наше производство, — котлы, в которых трупы вывариваются, сушильни костей, мастерскую, где скелеты очищаются, собираются и скрепляются и все остальное. Я уверен, что ты заинтересуешься и, как я, полюбишь это хорошее дело...

И он самодовольно поцеловал ошеломленную, забившуюся в подушки жену.

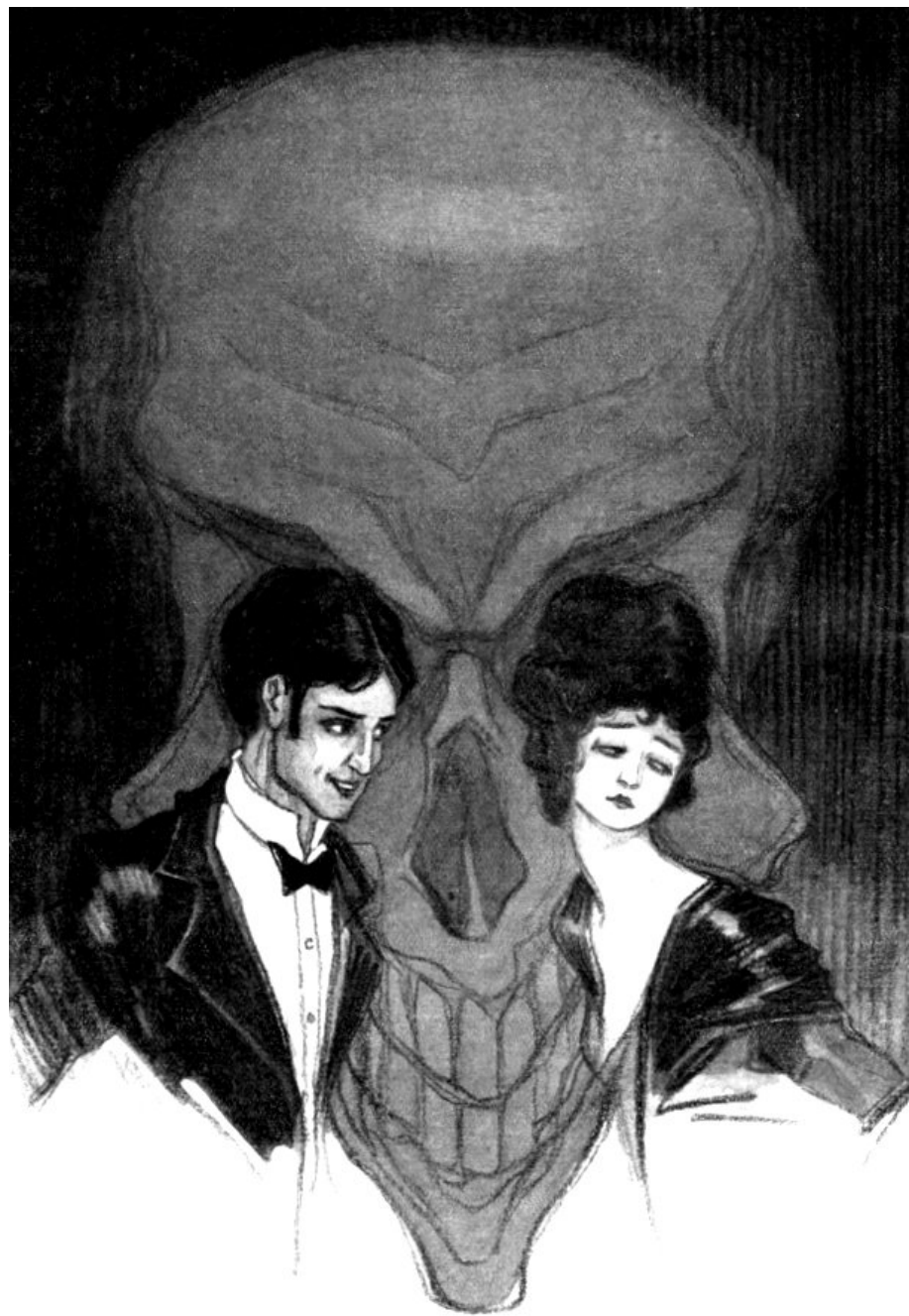
Дина оправилась от своей внезапной болезни, но стала хиреть с каждым днем. Она сделалась рассеянной, молчаливой и пугливой, подолгу неестественно задумывалась, страшно похудела и от ее великолепного сложения ничего

не осталось. Земба по-прежнему относился к жене с нежным вниманием, он искренне любил ее и жалел, не понимая причин ее упорного болезненного состояния. С трудом удалось ему уговорить ее посмотреть фабрику, и однажды Дина, преодолев себя, согласилась посмотреть на это «ужасное» дело. Земба водил ее по разным помещениям, объяснял всю технику, и Дина чуть не падала в обморок от отворачивания и непобедимого страха. После крайнего усилия воли решила она переступить порог ужаснувшей ее комнаты. Она убедилась, что там, действительно, был большой запас обыкновенных человеческих скелетов, вид которых и теперь заставлял ее содрогаться. Муж рассказывал истории некоторых из них. Этот скелет принадлежал почтенному человеку, очень религиозному, благотворителю, попавшему под трамвай. Вот скелет молодой красивой женщины, вытащенной из реки, — ее имя осталось неизвестным. А это скелет приятеля, выпрошенный у него перед самой смертью.

— Славный был парень, — заметил со вздохом Земба, — добряк и весельчак... Не один вечер провели мы вместе в дружеской беседе и в холостых развлечениях... А вот великолепный скелет молодого красавца, богато одаренного, любимца женщин; он получил неожиданное наследство, все проиграл и пустил себе пулю в лоб. Череп немного попорчен, но этот недостаток искупается остальными достоинствами необыкновенно красивого скелета.

Здесь были скелеты стариков и молодых, высоких, низеньких, сильных и крепких и изысканно изящных фигур. Женщины, атлеты, ученые, бродяги, рабочие, алкоголики, умершие под забором, и никому не ведомые самоубийцы без роду и племени, — все они стояли здесь занумерованные, лишённые жизненной индивидуальной оболочки, страшно похожие один на другого, улыбающиеся одной улыбкой, словно этому костлявому обществу кто-то рассказывал смешной и пикантный анекдот и оно заливалось дружным беззвучным хохотом.

Земба говорил о них с беспечным увлечением и с выражением хвастливого самодовольства. Он пристрастно отно-



сился к своему любимому делу и не мог понять ощущений жены. Она иногда вздрагивала и прерывала мужа:

— Уйдем, ради всего святого, отсюда, я больше не могу, мне страшно...

Он только пожимал плечами, снисходительно улыбаясь этому детскому страху, и весело говорил:

— Но я уверен, что ты в конце концов заинтересуешься этим делом и полюбишь его. Что касается меня, то меня очень удовлетворяет моя профессия. И, знаешь, как это ни странно, от близости с моими скелетами я понял смысл многих вещей и научился истинно здравому отношению к жизни и смерти...

Но бедная пугливая Дина не могла привыкнуть и полюбить это дело. Хотя она ничем не обнаруживала угнетенного состояния души, но втайне мучилась тоской, отравившей ее с тех пор, как она вступила в дом мужа.

Солнце, зелень, впечатления большого города, ее собственная жизнь и отношения с мужем, все потускнело — потеряло смысл и привлекательность от близости этих веселых мертвецов. Господин Земба уходил из дому по делам, а она бродила по своей мрачной, постылой, населенной унылыми призраками квартире, боясь углов, темноты и тишины. В помещения, где вырабатывались и хранились скелеты, она никогда больше не заглядывала, с тайным страхом посматривая на проклятые двери, содрогалась от холодного отчаяния. Она была слишком слаба, пуглива, полна предрассудков и суеверий. Ей снились кошмарные сны, — незнакомые мертвецы приходили по ночам и требовали свои скелеты, без которых они не находили успокоения в загробной жизни. Когда в комнате бывало темно, к ней из глухих углов протягивались костлявые руки и голый желтоватый череп подмигивал, ужасно скаля обнаженные челюсти. Весь дом населился привидениями и галлюцинациями, и иногда ей казалось, что она сходит с ума.

Родителям она не писала обо всем этом, боясь их испугать и огорчить. Когда они приехали погостить к молодой чете и выслушали жалобы дочери, то были сначала неприятно поражены и озадачены. Но вскоре отец рассудил:

— Что же, впрочем, тут особенного?! Всякое дело — есть дело, если оно приносит хороший доход. Не преступник же твой муж.

А мать, сочувствовавшая дочери, вздохнула и прибавила:

— В общем, твой муж, несмотря на постоянное общение с мертвецами, очень милый и любезный человек...

Эти рассуждения не успокоили Дину. Жизнь ее была отравлена, но она не смела жаловаться мужу на свою тоску, он только посмеялся бы над ее ребячеством. Ему удалось заинтересовать своей фабрикой тестя, и тот, уезжая, был очень доволен, высказав на прощание мысль, что всякое серьезное и честное дело требует к себе внимания, уважения и сочувствия.

Горькое, тяжелое чувство зарождалось в сердце Дины. Это чувство разрасталось все больше в укор и неприязнь. А муж глядел на нее любящими глазами, ласкал ее и не замечал, что она чахнет, — ее страшная худоба как будто даже особенно пленяла его. Чем больше она худела, тем нежнее и ласковее становился он.

Он с трогательной теплотой говорил, похлопывая жену по костлявой спине:

— Ах ты, скелетик мой милый...

Дину передергивало от этой странной любезности, а он был вполне счастлив. С особенным профессиональным сладострастием чувствовал он под тонкой кожей крайне истощенной жены великолепный скелет.

Дина зачихала, до последнего дня не умея привыкнуть к тоскливой обстановке своей жизни и к мужу, чьи руки, казалось, всегда хранили запах мертвечины. Ее простая, наивная душа не выдержала постоянного страха, тоски и отвращения.

Когда Дина умерла, господин Земба много и горько оплакивал незаменимую потерю. Потом, успокоившись, как будто даже просветлел и принял решение.

Он осторожно и тщательно в своей фабрике выварил труп жены. Давно Земба не видел такого стройного и пропорционального скелета. Он долго любовался им с гордо-



стью и нежной печалью и сказал с глубоким вздохом:

— Дорогая моя Дина, мне очень тяжело расставаться с тобой. Но я хочу, чтобы достойная участь постигла тебя после смерти. Ты послужишь, моя незабвенная жена, возвышенной цели: я предназначаю тебя на пользу науки.

И господин Земба за хорошую цену продал скелет своей жены в местный университет.

КОММЕНТАРИИ

Все включенные в антологию произведения, за исключением отдельно отмеченных случаев, публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.

Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. В случаях недоступности качественных копий те или иные произведения публиковались без иллюстраций либо же иллюстрации воспроизводились частично.

В оформлении обложки, фронтисписа и на с. 6 и 245 использованы работы С. П. Лодыгина.

Издательство сердечно благодарит С. Никитина за предоставленные сканы ряда публикаций.

М. Кузмин. Из писем девицы Клары Вальмон к Розалии Тютель Майер

Впервые: *Золотое руно*. 1907, № 1.

Рассказ М. А. Кузмина (1872-1936) — поэта, писателя, переводчика, критика, композитора и одной из ключевых фигур Серебряного века — был написан для объявленного журн. *Золотое руно* литературно-художественного конкурса на тему «Дьявол» и, как гласит ред. примечание, получил первую премию «по отделу художественной прозы».

С. 12. «Любви утехи длятся миг единый...» — Автоцитата из стих. «Любви утехи», вошедшего в авторский сб. Кузмина *Сети: Первая книга стихов* (1908).

М. Кузмин. Тень Филлиды

Впервые: *Золотое руно*. 1907, № 7/9.

С. 14. ...*Филлиды* — Филлида — в античной мифологии фракийская царевна, невеста или жена афинского царя Демофонта, сына героя Тесея. В горе от долгой отлучки Демофонта на родину повесилась и была превращена в миндальное дерево. Пространное послание Филлиды к Демофонту стало частью «Героид» Овидия, а само имя Филлида распространилось в идиллической поэзии. Впрочем, в «Элегиях Филлиды», приведенных ниже в рассказе, Кузмин следует не Овидию, а поэтике собственных *Александрийских песен* (первая публ. 1906).

С. 19. ...*каракаллу* — Каракалла — длинный галльский или германский плащ с капюшоном; за любовь к этому одеянию «Каракаллой» был прозван римский император Цезарь Марк Аврелий Север Антонин Август (188-217).

С. 20. ...«*Катамит*» — от лат. *catamitus*, любимый, любимец.

С. 21. ...*Филона* — Речь идет о еврейском эллинистическом философе и богослове Филоне Александрийском (ок. 20/25 д. н. э. — ок. 50 н.э.)

С. 23. ...*собачьеголовая богиня* — Намек на александрийский синкретизм: гибрид египетского проводника умерших Анубиса, изображаемого с собачьей (шакальей) головой, и греческой богини преисподней, магии и колдовства Гекаты, тесно связанной с собаками.

Н. Марков. Мирта и Серапион

Впервые: *Огонек*. 1908. № 32, 10 (23) августа.

С. 31. ...*музей Гиме* — ныне Национальный музей восточных искусств. Основан промышленником Э. Гиме в 1889 г.

В. Светлов. Хоровод

Впервые: *Аргус*. 1917. № 3.

В. Я. Светлов (наст. фам. Ивченко, 1860-1934) — писатель, историк и критик балета, театральный критик, либреттист. К литературе обратился после службы в кавалерии, опубликовал множество бытовых и исторических романов, сб. рассказов, популярных очерков и т. д., в 1904-1917 гг. редактировал журн. *Нива*. Во время Первой мировой войны служил добровольцем в Дикой дивизии. В 1916 г. женился на балерине В. Трефиловой, вместе с кот. в 1917 г. эмигрировал и обосновался в Париже, где Трефилова открыла балетную школу, а Светлов продолжал писать книги о русском балете, выходившие на франц. и англ. языках.

С. 39. *Я скакал изо всей силы перед Господом в льняном эфоде...* — Парафраз 2 Цар.6:14.

С. 47. *...св. Григория Назианского, Богослова* — Григорий Богослов (ок. 329-389) — архиепископ Константинопольский, христианский богослов, один из Отцов Церкви, автор многочисленных писем, стихотворений и «Слов».

С. 48. *...св. Цецилия* — римская мученица III в., в католической церкви с XVI в. — покровительница церковной музыки.

Ю. Слезкин. Сказка о наслаждении и тихом счастье

Впервые: *Аргус*. 1914. № 19.

Ю. Л. Слезкин (1885-1947) — весьма популярный до революции и в 1920-е гг. беллетрист. Сын генерал-лейтенанта, служившего в предреволюц. годы в Отд. корпусе жандармов. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Повесть *В волнах прибоя* (1906) о революции 1905 г. попала под арест и едва не привела писателя в тюрьму. Прославился благодаря многократно переиздававшемуся роману *Ольга Орг* (1914). В годы Гражданской войны побывал в Чернигове, «белом» Харькове, Росто-

ве, Владикавказе (где сблизился с М. Булгаковым). В нач. 1920-х гг. в Москве был одним из основателей лит. кружка *Зеленая лампа*. С конца 1920-х г. несколько лет был отлучен от печати; положение изменилось с письмом Сталину (1933) и переходом Слезкина на соцреалистические позиции. Автор многочисленных романов, сб. рассказов, пьес. В числе произведений — памфлет-мистификация *Кто смеется последним* (*Дважды два — пять*, 1925) под псевд. Жорж Деларм.

Ю. Слезкин. Полудница

Впервые: *Русская мысль*. 1909. № 4.

Ю. Слезкин. Леший

Впервые: *Русская мысль*. 1909. № 4.

И. Бунин. Железная Шерсть

Впервые в авторском сб. *Темные аллеи* (Париж, 1946) с датировкой «1.5.44».

Поздний рассказ русского классика и лауреата Нобелевской премии по литературе И. А. Бунина (1870-1953), основанный на фольклорных и сказочных источниках, включен нами в антологию как произведение автора, осознанно работавшего в парадигме Серебряного века.

Б. Садовской. Леший

Впервые: *Золотое руно*. 1906. № 7-9.

Б. А. Садовской (наст. фам. Садовский, 1881-1952) — прозаик, поэт, критик, литературовед, мемуарист-мистификатор. Сын ни-

жегородского инспектора Удельной конторы. Учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Публиковался в ведущих символистских журналах, занимая при этом консервативно-монархические позиции. Страдал сухоткой спинного мозга вследствие перенесенного в молодости сифилиса и лечения препаратами ртути, с 1916 г. был частично парализован. С конца 1920-х гг. жил в квартире, расположенной в одной из келий Новодевичьего монастыря. Автор романов, многочисленных сб. стихов, новелл, критич. статей, малопрятная личность и весьма одаренный писатель, не чуждый фантастике.

С. 82. *О. Г. Гладковой* — О. Г. Гладкова — нижегородская знакомая Садовского и предмет его ухаживаний в 1905 г.

Б. Садовской. Ламия

Впервые: *Золотое руно*. 1907. № 5.

С. 88. «*Хорошо ль тебе, девица...*» — Цит. из стих. К. Бальмонта «*Хорошо ль тебе, девица...*», вошедшего в сб. *Будем как Солнце* (1903).

Б. Садовской. Ильин день

Впервые в авторском сб. *Морозные узоры: Рассказы в стихах и прозе* (Пб., 1922); с учетом эпиграфа и стилистич. правки впервые в авторском сб. *Лебединые клики* (М., 1990).

С. 93. *Всякую голову мучит свой дур* — Неточная цит. («Всякому голову...») из песни 10 *Сада божественных песен* (1753-85) украинского философа, поэта и педагога Г. П. Сковороды (1722-1794).

С. 93. ...*Эккерман* — И. П. Эккерман (1792-1854), немецкий литератор и поэт, секретарь и друг И. В. Гёте (1749-1842), автор трехтомных *Разговоров с Гёте в последние годы его жизни, 1823-32* (1836-1848).

Б. Садовской. Двойник

Впервые в авторском сб. *Морозные узоры: Рассказы в стихах и прозе* (Пб., 1922) под загл. «Анекдот»; с учетом смены заглавия, эпиграфа и стилистич. правки впервые в авторском сб. *Лебединые клики* (М., 1990).

С. 104. *И вот он глянул к нему вновь за ширмы* — Цит. из повести Н. В. Гоголя (1809-1852) *Портрет* (1833-1842).

Ю. Юркун. Двойник

Впервые в авторском сб. *Рассказы, написанные на Кирочной ул., в доме под № 48* (Пг., 1916).

Ю. И. Юркун (при рожд. Йозас Юркунас, 1895-1938) — писатель, художник-график, спутник жизни М. Кузмина. Литовец по происхождению. Дебютировал в 1914 г. при содействии Кузмина романом *Шведские перчатки*. Опубликовал роман *Дурная компания*, указанный выше сб., рассказы в периодике. В нач. февраля 1938 г. был арестован по «ленинградскому писательскому делу» и в сентябре того же года расстрелян. Реабилитирован в 1958 г.

С. 112. *Л. А. Каннегиссеру* — Л. А. Каннегиссер (1896-1918) — поэт, был близок к Кузмину, Юркуну, Есенину и др. литераторам. Будучи юнкером Михайловского артиллерийского училища, пытался в 1917 г. защищать Зимний дворец во время штурма. 30 августа 1918 г. застрелил председателя Петроградской ЧК М. Урицкого и в октябре был расстрелян. Ю. Юркун привлекался к следствию по делу об убийстве Урицкого и три месяца провел в заключении.

Ю. Юркун. Побрякушка

Впервые в авторском сб. *Рассказы, написанные на Кирочной ул., в доме под № 48* (Пг., 1916).

С. 116. *Т. Г. Шенфельд* — писательница, адресат двух посвящений И. Северянина. Печаталась под псевд. «Краснопольская». В 1910-х гг. опубликовала несколько романов и рассказов, в т. ч. «Над любовью» (с описанием кабаре «Бродячая собака») в том же 3-м вып. альм. *Петроградские вечера* (1914), где был напечатан и рассказ Юркуна «Серебряное сердце». В нач. 1920-х гг. эмигрировала.

Ю. Юркун. Клуб благотворительных скелетов

Впервые в авторском сб. *Рассказы, написанные на Кировной ул., в доме под № 48* (Пг., 1916).

С. 120. ...*Джемса Энзора* — Д. Энзор (Энсор, 1860-1949) — бельгийский художник, живописец и график, создатель фантастических и гротескных картин.

С. 121. *Как в легенде русской господина Афанасьева «об Ное праведном»* — Речь идет о легенде, включенной фольклористом А. Н. Афанасьевым (1826-1871) в кн. *Народные русские легенды, собранные А. Н. Афанасьевым* (1859); наряду с искаженными библейскими сказаниями легенда включает народные сказания, истории о дьяволе и т. п.

С. 123. «*Разбитая ваза... Апухтина*» — «Разбитая ваза: (Подражание Сюлли-Прюдому)» — стихотв. А. Н. Апухтина (1840-1893), положенное на музыку несколькими композиторами.

С. 127. ...*en face* — лицом, в анфас (*фр.*).

С. 129. ...*Катон... Карфагена* — Речь идет о древнеримском политике и писателе Марке Порции Катоне Старшем (234-149 д. н. э.); согласно Плутарху, Катон имел обыкновение завершать любые свои речи ставшей крылатой фразой «Карфаген должен быть разрушен».

С. 130. ...*Климента Марота* — Имеется в виду известный французский поэт и гуманист Клеман Маро (1496-1544).

С. 133. ...*думских часах* — часах на пожарной колокольне петроградской Городской Думы.

С. 133. ...*магазине Александра* — Т. е. в торговом доме «Александр» на Невском проспекте.

С. 135. ...*Сомова* — К. А. Сомов (1869-1939) — русский живописец и график-«мирискусник»; состоял в любовной связи с М. Кузминым. В 1923 г. выехал на выставку в США и с 1925 г. жил в эмиграции во Франции.

Ю. Юркун. Неизвестная машина

Впервые в авторском сб. *Рассказы, написанные на Кирочной ул., в доме под № 48* (Пг., 1916).

С. 142. *Г. Иванову* — Г. В. Иванов (1894-1958) — поэт, прозаик, критик, мемуарист, после эмиграции в 1922 г. один из крупнейших поэтов русского зарубежья. В 1917 г. совместно с Ю. Юркуном входил в лит. кружок М. Кузмина «Марсельские матросы».

В. Франчич. Маленький Нгури

Впервые: *Аргус*. 1913, № 11.

В. А. Франчич (1892-1937) — поэт, беллетрист, драматург. Дебютировал в 1910 г. *Сборником стихотворений*, в 1910-х гг. опубликовал в «тонких» петроградских журналах ряд фантастических и приключенческих рассказов, написал (частью в соавторстве) несколько фарсов. Участник Гражданской войны, с 1919 г. в эмиграции. Умер в Париже. Посмертно изданы сборник эссе (на фр. яз.), роман *Красная Голгофа* (на нем. яз., 1938).

В. Франчич. Стась-горбун

Впервые: *Аргус*. 1915, № 5.

В. Уманов-Каплуновский. Тень человека

Впервые: *Всемирная панорама*. 1915, № 298/1, 2 января.

В. В. Уманов-Каплуновский (наст. фам. Каплуновский, 1866-1939) — поэт, писатель, переводчик. Выпускник юридического факультета Петербургского университета. Служил в Кабинете Е.И.В., был секретарем кружка поэтов «Вечера Случевского». Выступал с очерками, рассказами, переводами западнославянской поэзии.

Е. Нагродская. Галера Петра Великого

Впервые: *Синий журнал*. 1914. № 40.

Е. А. Нагродская (урожд. Головачева, 1866-1930) — писательница, поэтесса, автор детективных, любовных и мистико-фантастических романов, рассказов. Дочь писательницы и мемуаристки, гражданской жены Н. Некрасова А. Панаевой. До революции прославилась романом *Гнев Диониса* (1910), воспринятым как эротический. Интересовалась мистикой, спиритизмом, в эмиграции была активна в масонских ложах; наиболее значительное произведение эмигрантского периода — трилогия *Река времен* (1924-26).

Е. Нагродская. Невеста Анатоля

Впервые: *Полон: Литературный сборник* (Пг., 1916).

С. 191. ...*ma chère* — моя дорогая (фр.).

Е. Нагродская. Он

Публикуется по авторскому сб. *Аня; Чистая любовь; Он; За самоваром* (СПб., 1911).

С. 215. У Гофмана есть рассказ «Стихийный дух» — Имеется в виду рассказ Э. Т. А. Гофмана (1776-1822) «Der Elementargeist» (букв. «Дух-элементаль», 1821); переводился на русский яз. также как «Огненный дух».

С. 215. «Avez vous ... crayon» — У вас есть перочинный нож? Нет, месть, но у моей сестры имеется карандаш (фр.).

С. 223. ...«Sale e Tabacchi... Merceria...» — «Табачная лавка»... «Галантерея» (ит.).

С. 239. ...в рассказе Уэллса — Речь идет о рассказе Г. Уэллса «Человек, который мог творить чудеса» (1898).

Е. Нагродская. Воспоминания

Впервые: *Огонек*. 1917. № 32, 20 августа (2 сентября).

С. 256. ...доктор Окс — персонаж повести Ж. Верна *Une fantaisie du Docteur Ox* (1872), который освещает городок во Фландрии газом, вызывающим небывалые явления. Повесть переводилась на русский яз. под назв. «Причуда доктора Окса» и «Опыт доктора Окса».

Е. Нагродская. Роковая могила

Публикуется по авторскому сб. *У бронзовой двери* (Пг., 1914).

Рассказ, пародирующий штампы неоготических «ужасов» (уединенная усадьба, несчастная красавица, роковая могила, призраки и т.п.), в действительности не столь невинен, как может показаться: могила и впрямь оказывается роковой, а в образе героини Лидии Анбал некоторые исследователи усматривают карикатурное изображение писательницы Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (1866-1907), жены Вяч. Иванова.

В. Ленский. Эллоли

Впервые: *Пробуждение*. 1918, № 3.

В. Ленский — литературное имя поэта и писателя В. Я. Абрамовича (1877-1932). Выпускник Харьковского университета с дипломом помощника провизора, до 1901 г. служил в аптеках юга России, где и дебютировал. С 1905 г. жил в Петербурге, издал модернистский альм. *Проталина*, выступал с многочисл. рассказами, опубликовал десяток романов, в т. ч. неоготический *Черный став* (1917). После революции публиковал рассказы, либретто, сказки в стихах. В 1930 г. был арестован по обвинению в причастности к «антисоветской нелегальной группе литераторов “Север”», приговорен к десяти годам лагерей. Умер в Соловецком лагере.

В. Ленский. Ночь северной весны

Впервые: *Пробуждение*. 1908, № 3.

С. 288. ...*Рихарда Мутера* — Р. Мутер (1860-1909) — немецкий искусствовед, профессор истории искусств в университете Бреслау, чья пятитомная *История живописи* (1899-1900) пользовалась в свое время большой популярностью.

Д. Цензор. Тайна

Впервые: *Нива: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения*. 1914, сентябрь.

Д. М. Цензор (1877-1947) — поэт, прозаик. Сын портного. В 1900-х гг. учился в петербургской Академии художеств и на филологическом факультете Петербургского университета. Входил в многочисленные художественные объединения, тяготел к символизму. Автор сб. стихов *Старое гетто* (1907), *Крылья Икара* (1908), *Легенда будней* (1913) и др. В 1910-х гг. издавал журнал *Злато-*

цвет, редактировал *Альманахи стихов, выходящие в Петрограде*. В советские времена публиковал в основном детские, сатирические и агитационные стихи.

Д. Цензор. Профессия господина Земба

Впервые: *Аргус*. 1915, № 10.

Оглавление

М. Кузмин. Из писем девицы Клары Вальмон к Розалии Тютель Майер	8
М. Кузмин. Тень Филлиды: (Египетская повесть)	14
Н. Марков. Мирта и Серапион: (Египетская легенда II века)	26
В. Светлов. Хоровод: Христианская легенда	33
Ю. Слезкин. Сказка о наслаждении и тихом счастье	54
Ю. Слезкин. Полудница	66
Ю. Слезкин. Леший	72
И. Бунин. Железная шерсть	77
Б. Садовской. Леший	81
Б. Садовской. Ламия	86
Б. Садовской. Ильин день	92
Б. Садовской. Двойник	103
Ю. Юркун. Двойник: (Рассказ в одном письме)	111
Ю. Юркун. Побрякушка	115
Ю. Юркун. Клуб благотворительных скелетов	118
Ю. Юркун. Неизвестная машина	141
В. Франчич. Маленький Нгури	148
В. Франчич. Стась-горбун	164

В. Уманов-Каплуновский. Тень человека	178
Е. Нагродская. Галера Петра Великого	185
Е. Нагродская. Невеста Анатоля	188
Е. Нагродская. Он	205
Е. Нагродская. Воспоминания	246
Е. Нагродская. Роковая могила	260
В. Ленский. Эллоли	269
В. Ленский. Ночь северной весны	278
Д. Цензор. Тайна	293
Д. Цензор. Профессия господина Земба	310
Комментарии	324

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.